

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ

ЮНОСТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

Евгений Николаевич Чириков

Юность

«Юность» носит отчасти автобиографический характер.

Начало романа — юность героя, его первые переживания, учение, его первая любовь к белокурой Зое. Всё это, видимо, списано с натуры. Романтика переживания сочетается у Чирикова с чувством юмора, ирония, часто над самим собой, типична для повествовательной его манеры. Автобиографична и та часть романа, где описывается жизнь в тюрьме. Тут сказывается опыт политического «преступника», испытавшего все фазы тюремного сидения, допросы жандармов, а также всю «романтику» заключения, которое, как это ни странно, становится даже привлекательным в воспоминаниях почти всех, подвергшихся в свое время политическим преследованиям в эпоху царской охранки.

Евгений Чириков

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евгений Николаевич Чириков родился в Казани, в 1864 году, в семье безземельного дворянина Симбирской губернии. Из шести детей семьи Чириковых Евгений был вторым.

О раннем детстве писатель вспоминает в своих, не целиком опубликованных записках, с большой нежностью.

«До десятилетнего возраста я прожил частью в селах, частью в маленьких городах Казанской и Симбирской губерний, на Волге. Пред моими глазами, с первых моментов пробужденного сознания, развернулась огромная светлая водяная дорога, с манящими в даль синими контурами гор, с безграничным простором лугового и лесного Заволжья».

Семья Чириковых жила исключительно на средства, добываемые отцовской службой. И Чириков, с типичным для этого писателя юмором, рассказывает: «нашим первоначаль-

ным воспитателем и педагогом были не специалисты этого дела, а матушка-Волга, улица, общение с детворой всех классов и сословий. Условия нашей детской жизни складывались таким образом, что самим собой осуществлялся завет Некрасова»:

*Жизни вольным впечатленьям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремленьям
В ней проснуться не мешай.*

Уже первые шаги гимназиста Чирикова на пути литературном отразили эти, его жизни, «вольные впечатления». Два стихотворения гимназиста Чирикова были напечатаны в 1882 году в «Волжском сборнике» и оба они посвящены Волге.

Но Чириков не считал дату напечатания стихов началом своей литературной карьеры. Стихи ведь пишут все, особенно в ранней молодости. Началом своей литературной деятельности Е. Чириков считает 1887 г. 7 января этого года в казанской газете «Волжский вестник» появился первый рассказ будущего пи-

сателя под названьем «Рыжий». Полученные за рассказ 13 рублей 50 копеек были первым литературным гонораром Чирикова. «В те времена это была в нашем семейном хозяйстве значительная сумма», — пишет Е. Н. в своих воспоминаниях.

Восьмидесятые годы недаром представляются нам переходной эпохой в жизни русской литературы. Ушли в лучший мир властители дум — Тургенев и Достоевский. Жил Лев Толстой, но отрицание им всего великого созданного не способно было повлечь за ним молодежь, еще не остывшую в своем активном народолюбии. Антон Чехов еще прятался на задворках литературы, печатал свои юмористические рассказы в «Будильнике» под маской Чехонте. Жили еще идейные вожди русской общности Чернышевский и Михайловский. За ними следовала молодежь, у них она черпала духовные силы для служения народу, к ним обращалась с просьбой:

*На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!*

Еще не зажигалась на литературном небе

звезда Горького.

Об одной из встреч с Николаем Чернышевским рассказывает в своих воспоминаньях Е. Н. Чириков.

За участие в студенческих волнениях Е. Н. был арестован, просидел полгода в одиночном заключении и был сослан на три года в Царицын, нынешний Сталинград.

«В то время, — пишет Чириков, — как я служил смотрителем керосиновой станции, будущий Максим Горький, а тогда Алеша Пешков, служил весовщиком на железной дороге.

Весной я покинул Царицын, уехав оканчивать ссылку в Астрахань. Здесь в редакции газеты я впервые увидел Николая Гавриловича Чернышевского. Он тогда только вернулся из сибирского заточения».

«Старость, — пишет далее Е. Н., — не сделала особенных перемен в этом типичном образе. В то время студенческая молодежь всеми правдами и неправдами добивалась личного свидания с Чернышевским, чтобы спросить автора популярного романа „Что делать“, что именно ей, русской молодежи, делать для

блага народа, ибо прежняя вера в террор начала пропадать и фундамент народнической идеологии дал уже много трещин».

Такой же вопрос задал Чернышевскому и юный писатель Чириков.

Чернышевский в ответ привел в пример мужика, которому он однажды захотел помочь донести вязанку дров и, когда вязанка рассыпалась, мужик, вместо благодарности, обрушился на своего помощника с бранью: — Да чорт мне в твоей жалости! Не смыслишь в этом деле, так нечего и соваться.

И Чернышевский, прямо глядя в глаза собеседнику, сделал строгий вывод:

— Говорить и писать мы все умеем, да часто беремся не за свое дело. Учиться надо, тогда самому ясно будет, что делать.

Ответ Чернышевского, не тот, который он дал в своем романе, а личный, молодому Чирикову, стал как бы заветом писателя на всю жизнь. Может быть и без этой знаменательной встречи Чириков остался бы тем же, на всю жизнь, пытливым студентом в универсальной школе жизни. Уже тогда начинающий Чириков понимал свое назначение, как

созвучное биение своего писательского сердца с пульсом общественной, бытовой и политической жизни своей родины, но тем значительнее кажется нам сейчас приведенный разговор Чирикова с тем, который более четверти века был властителем дум русской интеллигенции, особенно молодежи.

Поставленный вопрос «Что делать?» был не личным делом Чирикова, а задачей его народного и общественного служенья. Уже с самого начала своей литературной деятельности Чириков уяснил себе роль, какую ему суждено играть на русской литературной улице. Это была роль серьезного и вдумчивого ученика жизни. Чернышевский только подтвердил правильность поставленной писателем себе задачи. Вот почему Чириков-публицист жил той же вдохновенной творческой любовью к своему делу, как и Чириков-беллетрист. Поэт уживался в нем с драматургом, и эта пытливость и разнообразие литературной формы создали живой, на всё откликающийся и во всё вникающий образ писателя Евгения Чирикова.

Образы провинциальной жизни, печатав-

шиеся за подписью Чирикова в журналах: «Жизнь» и «Русская мысль», становились событиями литературного дня. Надо помнить условия общественной и журнальной жизни того времени. Несмотря на цензуру, печать оставалась единственной трибуной для выражения настроений русского общества. Ничто не могло заменить мыслящему обитателю России времен царствования Александра Третьего газеты или журнала. От писателя требовалась особенная способность наблюдать и изображать факты столичной и провинциальной жизни так, чтобы, преодолев все цензурные рогатки, донести картину нравов до сердца читателя.

Е. Н. Чириков-публицист научился видеть жизнь, наблюдать быт эпохи. С иронической улыбкой, тонкой и умной насмешкой, а подчас и с гневным словом, он вытаскивал на свет Божий провинциальных монстров, живых, реальных Держиморд, уцелевших от тлена российских Сквозник-Дмухановских, щедринских Головлевых, гоголевских Чичиковых и Хлестаковых, которые в конце девятнадцатого и начале двадцатого века благополучно

пользовались своими сословными и бюрократическими привилегиями перед остальным населением.

Чириков-бытописатель оставался однако художником по характеру своего литературного дара. Есть что-то общее между сказочным стилем Чирикова и русским эпосом Островского. Оба они раскрывают наивно-торжественные лейтмотивы русской сказки, оба придают ей театральный характер.

И Чириков, бытописатель в рассказах и очерках, становится фантастом и поэтом-сказочником в своих театральных феериях.

Поскольку русский эпос роднит Чирикова с Островским, постольку его беллетристика художественно созвучна Чехову. Начиная с девяностых годов, Е. Н. проявляет необычайную творческую энергию, пишет разнообразно и ярко, откликается на повседневность в своих очерках, а в рассказах развивает темы социальные, психологического и морального порядка: пишет о любви, ревности, неудовлетворенности жизнью, обо всем том, что близко и понятно человеку, не скованному партийной или групповой догмой.

Волга научила Чирикова познать и полюбить природу. Жизнь стала для него широкой и полноводной рекой, на необъятных просторах которой живут маленькие люди, со своими горем и радостями, торжеством и поражениями, полноценным здоровьем, и страданиями физическими. Все они — объекты его писательской наблюдательности, всех их надо понять, изучить, а, главное, любить, ибо без любви нет творчества.

И больше всего понимает и ценит, и крепче всего любит Чириков молодежь. К ней обращен его писательский взор, на нее он возлагает свои надежды художника, трибуна, гражданина и сына своей родины.

К началу Первой мировой войны Чириков уже автор пятнадцати томов собрания сочинений, изданного Московским Книгоиздательством.

В это собрание вошли почти все первоначальные сочинения Чирикова, повести: «Студенты приехали», «Чужестранцы», очерки под общим названием «Тихий омут», пьесы и трилогия, первая часть которой «Юность» является содержанием настоящей книги.

Пьесы Чирикова также отражают много-
сложность и пытливость его художественно-
го воображения, как и все другие его произве-
дения. Ряд пьес, собранных в одном томе под
названием «Провинциальная комедия» отра-
жает, как в зеркале, быт девяностых годов, ту
рутину провинции, которая получила свое
завершение в пьесах Чехова. «Иван Миро-
ныч» — комедия Чирикова, написанная им
для Художественного Театра, не сходящая со
сцены в течение многих лет, — живая карти-
на семейного разлада, ставшего проблемой
начала нынешнего века и получившего отра-
жение в пьесах почти всех драматургов того
времени, начиная с Найденова, Чирикова,
Горького и кончая Андреевым. Это, пожалуй,
самая пессимистическая пьеса Чирикова. В
драме Чириков резче и определеннее в своем
желании запечатлеть зло, царящее в жизни,
от которого каждый, не застывший в камен-
ном футляре политической реакции, стре-
мился освободиться. Такова пьеса Чирикова
«Еврей», имевшая громадный успех на про-
винциальных сценах России. Кто не помнит
Орленева в роли Нахмана в этой пьесе? Это

был обнаженный нерв, какое-то пророческое предвидение трагедии, разыгравшейся через несколько десятков лет, и такой же пламенный протест против угнетения и насилия. Проповедь добра, противопоставление светлого идеала правды черной лжи, борьба ангела с дьяволом, чистоты с грязью — любимый творческий мотив Чирикова. Художественное разрешение этот прием получил в романе «Юность».

«Юность» носит отчасти автобиографический характер.

Начало романа — юность героя, его первые переживания, учение, его первая любовь к белокурой Зое. Всё это, видимо, списано с натуры. Романтика переживания сочетается у Чирикова с чувством юмора, ирония, часто над самим собой, типична для повествовательной его манеры. Автобиографична и та часть романа, где описывается жизнь в тюрьме. Тут сказывается опыт политического «преступника», испытавшего все фазы тюремного сидения, допросы жандармов, а также всю «романтику» заключения, которое, как это ни странно, становится даже привлекательным

В воспоминаниях почти всех, подвергшихся в свое время политическим преследованиям в эпоху царской охраны. В наши дни, когда жестокость аппарата сыска дошла до предела, имеющего подобие себе только в истории испанской инквизиции, подобные описания «ужасов» царского застенка кажутся просто умилительными. Моментами начинает казаться, что ведется допрос не студента, не юнца-революционера, а самого жандармского полковника, а ответы подследственного звучат больше обвинительной речью прокурора, на которую следуют робкие ответы смущенного представителя власти.

С большим интересом читаются описания перестукивания арестантов, тот внутренний быт тюрьмы, который описывался большею частью протокольно, не считая разумеется книги Достоевского, и который у Чирикова изложен в форме художественно-беллетристической. Всё рассказанное Е. Н. Чириковым о пребывании в тюрьме списано с натуры. Это видно из того, что один из сидящих в тюрьме, близкий друг автора, даже назван его настоящим именем. Это один из «преступ-

ников» — Касьянов.

Но бытовая картина романа «Юность» является только фоном для психологически сложной темы развертывающихся в романе событий.

В образах двух героинь «Юности» автор утверждает борьбу добра со злом, светлой облагораживающей силы любви со «зверем из бездны», разъедающим душу и поражающим героя, доведя его до полного морального разложения. Убедительность романа в отсутствии условных героев, выдуманных или сочиненных фигур. Черное, описанное в романе, действительно черно, белое же ослепительно в своей чистоте. Краски художника натуральны, переживания жизненны. Роман «Юность», сквозь годы, прошедшие после его написания, донес до наших дней веру в торжество правды, в красоту душевной ясности, в очищающую любовь, терпящую муки, но не побежденную. Читая роман «Юность», невольно поддаешься чувству веры в живые слова очищения, столь необходимые в наши мрачные дни.

Уход в эмиграцию не изменил душевного

облика Чирикова, а как бы еще ярче определил его позицию писателя и человека. Идеалист по природе, он, с неугасимой юношеской энергией, с неукротимой страстностью, осудил пришельцев-большевиков.

Да мог ли иначе чувствовать этот человек высоких гуманистических стремлений, до конца сохранивший веру в свободу, в торжество правды, в лучшие идеалы русской интеллигенции, ярким представителем которой он был.

Сейчас имя Чирикова знает не только русский читатель. Его романы «Опустошенная душа» и «Юность» изданы на французском языке. По-немецки вышли — «Мой роман» и «Красный паяц», на английский переведен «Марька из Ямы». Почти все произведения Чирикова вышли на чешском языке, а также переведены на многие другие славянские языки. На лекциях по русской литературе студенты Колумбийского университета знакомятся с типом русского студента восьмидесятых годов по произведениям Чирикова, а его рассказами американская молодежь, изучающая русский язык, увлекается по старым, со-

хранившимся в библиотеках, сборникам «Знания».

Евгений Николаевич Чириков скончался 18 января 1932 года в Праге. Оставленное им литературное наследство представляет огромную культурную и историческую ценность.

В некрологе, посвященном Чирикову и напечатанном в «Новом русском слове» после смерти писателя, критик Петр Пильский писал: «Оставленное Чириковым литературное наследство не должно быть забыто, не может быть утрачено, его не надо хоронить, им не следует пренебречь».

Изданием романа «Юность» сделан этот первый шаг по пути к восстановлению и сохранению творений пламенного борца за лучшие стремления народа, которому Е. Н. Чириков отдал всю свою любовь и весь свой талант писателя.

Л. Камышников

ЮНОСТЬ

Светлому спутнику моей жизни, Валентине Георгиевне Чириковой, посвящаю я эту книгу.

Автор

*...Одна была белая, другая — черная.
День и ночь. Радость и страдание...
Впрочем, где кончается радость и начинается страдание? Ах, любовь на заре жизни, твоя радость полна страданий и твои страдания полны радости!
Грустная радость и сладкие страдания...*

I

Однажды весенним утром я сидел в укромном уголке городского сада и готовился на аттестат зрелости. Весна была в полном разгаре: цвела черемуха и распускалась сирень; листья на деревьях еще не успели пропитаться пылью и казались только что выкрашенными и покрытыми лаком; по изумрудным

лужайкам, над желтыми цветами, трепыхались первые бабочки, а в чаще кустов воробьи озабоченно переговаривались о грядущих хлопотах по устройству своих семейных очагов. Ликующее солнце не успело еще выпить росу на траве и листьях, и долговязые тени еще перерезали дорожки сада и давали свежую, ароматную прохладу...

Здесь, в глухом углу сада, было тихо и безлюдно; шум просыпающегося города долетал сюда смягченным и не мешал думать и прислушиваться к ласковому шелесту листочков и к пугливым тайнам своей души, где звенела радость жизни и первых предчувствий юной любви. Мелодичный благовест далекой церкви и кудахтанье снесшейся где-то курицы, ласковый шопот листвы и солнечные пятна по дорожкам уносили душу в царство неясных и ленивых мечтаний и сливались в один общий радостный гимн жизни, который пела ей вся обновленная природа...

Какая это радость чувствовать жизнь и не знать, не думать, зачем живешь на свете! Зачем растут черемуха и сирень, зачем они цветут и кружат голову своим сладким арома-

том? Зачем восторженно кричит снесшаяся курица, оповещая весь мир о радостном событии? Зачем трепещет крылышками бабочка над молодой шелковой травкой?.. Почему так радостно замирает сердце, когда я слышу чьи-то приближающиеся шаги на дорожке?.. Не знаю и не хочу знать. Душу ласкает тихая, нежная радость какого-то неясного ожидания, и только один вопрос омрачает эту радость: зачем устроен аттестат зрелости?..

Через три дня — экзамены по истории и географии. Непролазная лень в теле и скорбь в мозгах. Так прекрасна в весеннем наряде земля и так невыразимо скучна география!..

— Амстердам, Гарлем, Саардам, Гага, Лейден, Роттердам... — шепчут губы и в сонливой фантазии рождаются и громоздко шевелятся с этими названиями не то какие-то допотопные чудовища, не то какие-то зловещие враждебные слова. Никогда не был в этих городах; может быть, это — красивые города, ласкающие взор своим видом, а теперь я ненавижу их и они представляются мне чудовищами. Широко раскрывается рот для позевоты; ленивая истома заставляет расслаблен-

но так потягиваться и, закрыв глаза, прислушиваться к восторженному кудахтанию курицы...

— Амстердам... дам, дам, дам... Чьи это шаги заставили вздрогнуть мое сердце и тревожно раскрыть глаза? Да, ты, сердце, не обмануло: опять — та же гимназистка, опять с книгой... Тоже готовится к экзаменам...

— Амстердам, Гарлем, Саардам...

Высокая, стройная... Две тяжелых косы... Гордая походка. Похожа на Маргариту. Поскрипывает башмачок, на песке остается отпечаток ножки. Лениво везет за собою зонтик, протягивая тонкую нить по дорожке. Даже не взглянула, словно меня и не было на лавочке. Откуда взялась? Вчера увидел в первый раз. Гордая. А косы-то!..

— Да... Амстердам, Гарлем, Саардам, Гага, Лейден, Роттердам!..

Чувствовало сердце, что увижу... Красивая! Словно ветка распутившейся сирени. Прошла, а все еще остается на душе какая-то паутина блеснувшей красоты и радости... Тянет смотреть вслед... Оглянется или нет?.. Оглянулась! Посажу: может быть, сделает круг и

пройдет еще раз...

— Амстердам, Гарлем, Саардам, Гага, Гага, Гага... Ох, Господи!

И опять — в светлом платье. Золотистые волосы... Желтые туфли... Соломенная шляпа... Как пастушка!.. Вся она какая-то белая. А глаза — как небо. Глаза — васильки...

Закрываю глаза и предо мною рисуется поле, рожь, васильки... Ласковый ветерок обвеивает щеки, осторожно гладит под шляпой волосы, нашептывает о чем-то отрадном, кротком и близком.... О чем? Об этой девушке... Какая она красивая, тихая, как это весеннее утро, кроткая и лучезарная! Ах, если бы услышать ее голос! Не идет. Неужели ушла?..

— Амстердам, Гарлем, Саардам...

Встал и пошел деловым шагом в сторону, куда ушла девушка... Дорожка круто сворачивала влево, и когда я, покорный ее воле, свернул за густые кусты сирени, — в глазах мелькнуло яркое белое пятно: на низенькой лавочке с раскрытой, позабытой книгой на коленях сидела девушка, та самая, которая...

Задумалась. Откинула голову и смотрит в синее небо. О чем она думает? Разве узнаешь!

Никогда. Вздрогнула и уставилась в книгу. Розовые губки шепчут что-то... Не обращает внимания. А зонтик валяется под ногами...

— Вы уронили зонтик...

— Ах, благодарю вас...

Покраснела. Забеспокоилась.

— Я помешал вам? Готовитесь к экзамену?

— Да.

— Я тоже. Скорее бы кончить. Надоели Амстердамы... А вы...

— Я тоже кончаю...

Спрятала глаза в книгу. Не хочет говорить. Поклонился и пошел дальше, а в ушах всё еще звучал новый голос, которого никогда не слышал еще в жизни... Немного холодный голос, но какой приятный! Гордая... Длинные ресницы. Едва вздрагивают губы — не хочет улыбнуться и морщит лоб... Надо было представиться. Дурак!.. Почему не сесть на эту лавочку? Подумает, что нарочно сел так близко... Разве я виноват, что в саду так мало лавочек. Здесь — тень; а там скоро пропадет она... Сижусь, исподволь бросаю взор на девушку в белом. Чувствует: поправила косу, перекинула ее за спину, подобрала ноги и еще больше

нагнулась над книгой; чертит на песке зонтиком. А волосы на виске вздрагивают от ветерка и золотятся под опущенным полем шляпки. Золотая паутина...

Амстердам, Гарлем, Саардам... Милая!словно цветочек с родных полей, куда я уеду сейчас же после зрелости. Ромашки, Васильки, Лютики... Я сплел бы тебе веночек из цветов родных полей и надел бы на твою золотистую головку. И ты перестала бы хмурить лоб и улыбнулась бы мне... А теперь не хочешь даже вскинуть глаза... Куда ты?!

Встала и пошла... Хочется тоже вскочить и пойти в ту сторону, куда пошла она... Кто она? Как ее имя? Где она живет?..

Я встал и смотрел ей вслед. Ушла, промелькнула в зелени деревьев и скрылась, а я подошел к лавочке, на которой она сидела. Что она тут чертила зонтиком?

— Зоя. Зоя. Зоя...

Ее зовут Зоей... Золотая Зоя! Какое нежное, бархатное имя! Я повторял это имя, и оно, как ветерок щеку, ласкало мою душу...

Зоя. Только три буквы, а когда их поставишь вместе, они делают чудеса... «Как прекрасен и богат русский язык!» — думал я, красиво выписывая это имя на листе бумаги, приготовленной для составления хронологии по истории всех времен и народов... Рано утром, едва раскрыв глаза, я распахивал окно в сад и шептал: «Здравствуй, Зоя!» Поздно ночью, когда затихал город и в мягкой тишине весенней, на крыльях теплого ветерка, над ним носились обрывки садовой музыки, я вглядывался в звездное небо и шептал: «Спокойной ночи, Зоя!»

Каждое утро, отправляясь на экзамен, я заходил в сад и проходил мимо той скамьи, на которой сидела Зоя. И возвращаясь с экзамена, я не мог не зайти туда и не посидеть на этой милой скамеечке. И все я ждал, не промелькнет ли в зелени стройная фигура девушки... Редкие проходящие женщины заставляли меня вздрагивать и пугаться... Опять не она! Пропала... Ах, белый голубь, куда ты улетел?..

Однажды, когда я, почти уже отчаявшись

увидать белого голубя, уныло бродил по саду с «Историей средних веков» Иловайского, на встречу мне показалась шумливая стайка гимназисток, с аккуратно завязанными в ремни книгами. Как стая птиц: без умолку щебечут, смеются и звенят радостными голосами... Зоя! Она!.. Она!.. Будь, что будет...

— Здравствуйте!

Поднял шляпу и протянул руку. Покраснела, немного растерялась, но руки не отвергла, спросила:

— Кончили?

— Почти... Одна история и — созрею...

Гимназистки пропустили нас вперед и, идя позади, тихо посмеивались и переговаривались между собою. Зоя шла, опустив голову, и односложно отвечала на мои вопросы о том, где она будет жить летом, что ей больше нравится: сирень или черемуха, как ее величают.

— Зоя Сергеевна, я так долго ждал.

— Чего?

— Встречи...

— С кем?

— И вы спрашиваете!..

Догадалась, вспыхнула и, обернувшись, заговорила с подругой... Теперь я шел, понуря голову, и тщетно искал выхода из безвыходного положения. Всего лучше было бы откланяться и отойти. Но какая-то сила, властная и непоборимая, мешала мне сделать это. И я шел, как привязанный на веревочку, рядом и напрягал все умственные способности, чтобы сгладить неприятное впечатление от своей неудачи. Понемногу и как-то незаметно отстали все другие, и мы с Зоей очутились вдвоем. Долго мы шли молча, словно просто попутчики, но вот в моих ушах зазвенел смех:

— Я дома... До свидания!

Она протянула мне руку и скрылась в калитке. Я тяжело вздохнул, снял шляпу и отер со лба холодный пот безвыходности. Оглядел с головы до ног дом, где жила Зоя, прочитал Но, фамилию домохозяина, заглянул во двор... Там, за палисадником — одноэтажный приземистый флигель в три окна... Так вот где скрывается мой белый голубь с толстой золотой косой!..

Дома учил хронологию и зудил «средние века», а мысль упиралась и настойчиво воз-

вращалась в тот век, в который я встретил Зою.

«Итак, — говорил я, — скажите мне, чем замечателен Пипин Короткий?» Но, вместо Пипина Короткого, выплывал образ стройной белой девушки, и я растерянно мычал:

— Пипин... Пипин... Короткий... Почему Короткий?.. Скажите, Зоя Сергеевна, чем замечателен Пипин Короткий?.. Ах, черт бы тебя, Пипин, взял!.. Барбаросса... Карл Смелый... Карл Лысый... Карл Святой... Нет Карла Святого, — Святой Людовик!.. А Людовик Лысый был? Кажется — был, а впрочем... Голова болит. Пойду в сад, а потом уж — Пипин... Я бросил историю и шел в сад мимо дома № 15. Это было не совсем по пути, но зато сильно увеличивало шансы на встречу с Зоей. А я изныл, ожидая этой встречи. Проходя мимо дома, я замедлял шаг и мимоходом бросал взгляд в калитку. В саду сидел все на той же лавочке и ждал, словно мне было обещано свидание. Но вот однажды, когда истощилось мое терпение, я снова рискнул на отчаянный шаг: с восьми часов утра, я встал на дежурство к воротам дома № 15. Теперь свидание

обеспечено: она пойдет в гимназию через эту калитку...

Стою на другой стороне и томлюсь. Поглядываю на часы... «Однако не торопитесь».

— Ах ты... сонливая!..

Вышла. Так неожиданно, словно выпустили птицу из клетки... Сменяю торопливость солидным крупным шагом делового человека, перебираюсь на другую сторону и иду по следу. Покашливаю.

— Зоя Сергеевна!

— А, вы!..

— Я! Могу пройти с вами?

— Конечно.

— Дайте понести мне ваши книги.

— Мне не тяжело.

— Дайте пожалуйста!

— Если вам так хочется...

— Очень хочется!..

Получил книги и понес их, как святыню... Золотая коса. Синие глаза. Почему когда смотришь на вас, то забываешь о всех Карлах, Пипинах и о всех Людовиках, сколько бы их ни было на свете?..

— У вас золотые волосы...

Зоя гордо встряхнула головой и чуть-чуть улыбнулась.

— Я теперь часто вижу вас во сне.

— Один раз и я вас видела...

— Неужели? Как я счастлив!..

— Я о вас не думала... Не знаю, почему... приснились...

— Я постоянно думаю о вас...

— Слышите, как пахнет апельсинами?

— Кто-то играет увертюру из «Кармен»...

Утро было прекрасно; из раскрытых окон неслись то гаммы, то обрывки знакомых пьес; пахло апельсином, сиренью, травой, медом... Люди шли какие-то свежие и радостные, бодрые, и все улыбались. И я, люди, счастлив: мне улыбается Зоя! Теперь она в коричневом платье, а всё-таки кажется мне светлой, белой, как белый голубь с коричневыми подпалинами... Отчего?.. На ней — белый фартучек.

Как скоро: уже дошли до гимназии.

— Ну, давайте книги!

Не хочется отдавать книги. Милые книги: их перелистывают Зоины руки.

— Ну, скорей! Опоздаю на молитву...

— Как я хотел бы помолиться вместе с вами...

— Какой вы богомольный!..

О, как она мне улыбнулась! Если бы вы знали, как она мне улыбнулась! Закружилась голова от этой улыбки: поцеловал книги и отдал.

— Возьмите! — сказал я и вздохнул.

Пошла, обернулась, на мгновение задержалась в дверях.

— Зоя Сергеевна! Когда увидимся?

Не слыхала...

III

...Уж если повалит счастье, так со всех сторон: свалились с плеч все Пипины, Карлы и Людовики... А вечером занимаюсь с Зоей по алгебре... Не понимает решения уравнений со многими неизвестными. А это так просто... Есть два способа... Звали сегодня на пирушку товарищи (ведь все мы сегодня созрели!), да уж, верно, после алгебры... Взял алгебру и так любовно развернул ее, словно сто лет ждал этого случая. Трепетно ищу уравнения!.. Вот

они, голубчики! Так... Икс, игрек, дзет... Пишу икс, а с бумаги смотрит на меня друг и брат...

— Обедать!

— Некогда.

— Разве ты не совсем созрел?

— Окончательно созрел. Бесповоротно.

— Так на кой чорт тебе эти иксы с игреками?

— Простая любознательность.

— Простынет суп.

— Ну и чорт с ним! Икс равен игрек плюс дзет минус абе, деленному на... на... на...

...Простыл суп. Чорт с ним, с супом: через два часа — урок по алгебре... Что же, я не лишен педагогических способностей. Но какая ученица! Всю жизнь можно просидеть за алгеброй и не почувствовать к ней ненависти. В ожидании урока я деловым шагом меряю комнату и гордо говорю:

— Квадратные уравнения со многими неизвестными решаются двумя способами. А именно...

И представляю себе слушающую ученицу, объясняю, как именно они решаются...

— Не так, Зоя! Не так, голубчик.

— С кем ты разговариваешь?

— Так... сам с собой...

— Не спятил ли от зрелости-то?

Солнышко спряталось за крышами. Протянулись долговязые тени по лужку двора. Уплыл куда-то резкий шум улиц... Только со двора несется задорный крик ребятишек, азартно сражающихся в бабки: звонко стучат кости и плитки, а потом — взрыв криков, смеха и брани... Нет сил ждать. Лучше пойти потихоньку, прогуляться... Не беда, если придешь немного раньше... Зоя живет самостоятельно: на квартире. Кому какое дело! Для собственного ободрения громко кашлянул и, набросив на голову, по возможности небрежнее, шляпу, с папиросой в зубах для наглядного показания своих прав «созревшего», отправляюсь на урок, с алгеброй в одной руке и с корявой палкой — в другой. Прохожу мимо дома № 15 — раз, другой, третий, заглядываю в калитку и решаюсь переступить ее и войти во двор. Немилосердно бьется сердце. Почему? Ведь я не вор, не преступник... Я иду с добрым намерением — помочь в алгебре... Почему влажен лоб и руки? Неряха: не дога-

дался вымыть рук. Чу! — это ее голосок. Сделал серьезнейшее лицо и двинулся вперед.

— Ну, вот и я. Здравствуйте, Зоя Сергеевна!..

Смутилась, вспыхнула румянцем и сказала:

— Страшно что-то. Вы — строгий?

— Я? Строг, но справедлив.

— Я — бестолковая... Предупреждаю...

— А вот увидим...

— Хотите, будем заниматься в палисаднике? Там есть столик...

— Прекрасно! Это очень хорошо...

— Ну, тогда идем...

Палисадник маленький, но густой, с старыми березами и акациями. Уголочек большого сада. Стол — под навесом переплетшихся ветвей. Немного сумрачно. Видно окошко Зоиной комнаты, с белой занавеской, с букетом лиловой сирени на подоконнике... Уселись друг против друга, раскрыли алгебру.

— Итак, уравнения со многими неизвестными...

Говорю как профессор: гладко, без запинок, с уверенностью. Не смотрю на ученицу, а

так, больше чувствую, что она, облокотясь на локти, смотрит на меня и внимательно слушает... Переходим к решению задач:

— Берем сперва с тремя неизвестными: икс, игрек, и дзет.

Тут уж ничего не поделаешь: надо сесть рядом. Зоя подсела ко мне и опустила головку над иксами и игреками... Что со мной? Почему прыгают неизвестные величины? Я весь во власти обволакивающей меня паутины, невидимо исходящей от белой девушки... Это не чувственность. Нет, это что-то чистое-чистое, как лучи солнца, долго прятавшегося в тучах ненастья и вдруг выглянувшего и облившего и тело и душу сверкающей лаской и предчувствиями какой-то новой радости... Мое солнце! Оно так близко. Иногда его горячее дыхание струится на щеку, и тогда совсем исчезают на бумаге иксы и игреки... Вот рука, с тонкими, длинными пальчиками, ложится на бумагу:

— Почему икс равен игреку плюс 562 минус игрек квадрат, деленному на...

Боже мой! Почему? Ничего не понимаю...

— Как почему? Очень просто...

Начинаю писать что-то многоэтажное и путаюсь в кружевах иксов, игреков, дзетов, в плюсах, минусах, квадратах... А упавшая с плеча коса золотится на столе, под самыми иксами... Пытаюсь выпутаться из получившейся вермишели из неизвестных и чувствую, что гибну.

— Я — бестолковая... — шепчет Зоя, с обидой, почти со слезами в голосе!..

— Попробуем обратиться к другому способу...

Маленький перерыв...

— Устали?

— Немного.

— Бедненькая!

Рука бессильно лежит на бумаге. Голова откинулась к стволу старой березы. Синие глаза смежились. А на лице — виноватая улыбка страдающего самолюбия. Бесконечно жаль! Проклятые иксы и игреки! Я коснулся бессильной руки, она вздрогнула пальчиками. Раскрылись синие глаза, ласково сверкнули мне и прикрылись тонкой рукой...

— Слышите: в саду уже играет музыка! —

печально сказал девичий голосок.

Алгебра раскрыта, с укоризной смотрят с бумаги иксы и игреки, а из сада доносится музыка.

— Из «Кармен»... Тореадор...

Зоя грустно подпевает:

— «Тореадор, смеле-э-йе... Тореадор»...

— Ну, давайте по другому способу... — неожиданно оборвала она пение и вздохнула: — Вы умный, а я...

— Иксы еще ничего не доказывают. В ваших глазах...

Что-то хотел сказать глубокое и поощрительное, но не вышло: запутался в красноречии. Сели опять рядом и приступили к другому способу. Легкий способ! Быстро поняли и оба засмеялись от удовольствия...

— Вот видите: а говорили, что бестолковая!

— Вы прекрасно объясняете. Спасибо!

В саду играли еще «Тореадора», и когда милая ученица протянула мне руку в знак благодарности, я приложил ее к губам и обжегся...

Зоя закрылась рукою и, погрозив пальчи-

ком, ласково прошептала:

— Не надо!

— Хотите, Зоя, вернемся к первому способу?

— Завтра. А сегодня... Что-то мне хочется послушать музыку.

— Прекрасно!

Она вскинула на меня синие глаза и вдруг потупилась... Словно сказала: «Победитель ты, Галилеянин»!

— В сад?

— Да. Я — сейчас... Переоденусь...

Убежала. Хожу по дорожке вокруг двух старых берез и ликует моя душа, и хочется на весь мир засмеяться от счастья...

— «Тореадор, смелей-е, Тореадор, Тореадор! Помни что»...

— Я готова.

Милая! Как к ней идет голубенькая вуалетка! Цветок с родных полей. Взял бы тебя на родину, привез к матери и сказал:

— Мама, вот моя невеста!..

И все, в восхищенном восторге, воскликнули бы:

— Боже мой, как она красива!..

Я шел и потихоньку любовался ею. А она это чувствовала: улыбка не сходила с ее лица, и светлая гордость сияла в нем в розовых сумерках тихого вечера...

Гуляли по безлюдным аллеям, избегая встреч и докучливых вопросов. Никого нам не было нужно и нас — никому. Одни и вместе... О чем говорили? О голубой вуалетке, о том, как странно, что мы встретились вот на этой самой аллее, чужие, далекие, а теперь...

— А теперь?..

— Теперь мне кажется, что мы с вами, Зоя, знакомы сто лет...

— Через сто лет нас не будет...

— А мне кажется, что мы никогда не умрем, а будем жить вечно... На этой лавочке, где вы, Зоя, тогда сидели, я часто потом сидел и думал: есть судьба, которая управляет человеком... Ей, судьбе, зачем-то понадобилось столкнуть нас.

— А вы недовольны?

— Благословляю!

— Да?

— А вы, Зоя, сомневаетесь? Благословляю и этот сад, и эту аллею, и тот день... И алгебру!

— Алгебру!

— Да, и алгебру...

— Дайте руку: кто-то идет, я боюсь пьяных...

Я подал ей руку и почувствовал, как Зоя прильнула ко мне плечом — благодарно и доверчиво...

— Зоя! Зоя! Если бы вы знали!

— Не надо говорить... Я знаю.

— Да?

— Да.

IV

Алгебра прошла благополучно, диплом о зрелости был в кармане, а я не уезжал на родину... Мы решили ехать по Волге вместе, а у Зои оставалась еще геометрия...

— Можно вам помочь по геометрии, а то скучно болтаться...

— Я геометрии не боюсь...

— Нельзя? Окончательно?

Я смотрел так умоляюще, что Зоя покачала головой и сказала:

— Разве... Я не совсем понимаю объем усе-

ченной пирамиды...

— Ну вот. Отлично! Пройдем и разберемся.

— А там... и конец... Еще три дня.

— Так завтра прийти?

— Хорошо.

Два дня я мешал Зое заниматься геометрией. На третий она отказалась от моей помощи.

— С вами хуже...

— Я не буду мешать. Я сяду в уголке и буду слушать и смотреть, как вы занимаетесь.

— Нет.

— Окончательно?

— Да.

— Ну, а как же завтра.

— Пойду сдавать, а послезавтра поедем...

— Перепутал... Я думал, мы едем завтра...

На «Самолетском»?

— Да. Уходит в семь утра...

— Значит, до парохода не увидимся?

Зоя отрицательно качнула головой и сказала, понизив голос.

— До Симбирска вместе, а там... я слезу, а вы — дальше...

И радость и горе... вместе... Я крепко по-

жал руку девушки и почувствовал ее ответное пожатие...

— До свидания!

...Томительно тянется день, какой-то ненужный, лишний день в жизни, день который не знаешь, куда девать. О, с какой радостью я подарил бы его тому, кто дорожит каждым днем жизни! Возьмите его!.. Вот идет старенький чиновник и ведет за руку весело лепечущего ребенка. Очевидно, дедушка и внучек. Возьми, дедушка, мой лишний день! — ведь тебе дорог уже каждый час, отдаляющий тебя от смерти, а мне... я вычеркиваю его из своей жизни: сегодня я не вижу Зои... И завтра тоже не увижу: возьми и «завтра»! Нет, «завтра» не отдам: утро мудренее вечера...

А вечер дивный. Горят в окнах призрачные огни заката, и кажется, что это не дома, а замки, в которых пируют рыцари, с красными огнями пылающих факелов... Горит на горе золотой купол собора, словно обломок солнца упал с розового неба... Музыка гремит в далеком саду и тихо струится из раскрытых окон: та — зовет на пир, а эта — к тихой, нежной грусти... Снова и грусть, и радость: скоро

я буду ехать по родной Волге с любимой, с моим белым голубем, но скоро же и улетит он, белый голубь, от меня... Был в саду и облегчил свою душу воспоминаниями, походил по той дорожке и посидел на той лавочке, где встретился и сидел с Зоей. Послушал грустный вальс, который играл про мою тоску и про мое одиночество, и медленно побрел по улицам, по направлению к дому № 15... Только загляну в калитку и пройду, посмотрю на старые березы, под которыми занимался алгеброй, и скроюсь. Никто не увидит и никто не узнает...

Иду и живу одним ожиданием скорой близости к заветному дому... Вот и улица, лучшая теперь для меня улица во всем городе. А вон и дом, ворота и калитка!.. Замедляю шаги, а то пройдешь — и всё кончено: неловко несколько раз заглядывал в калитку... А вдруг... Хотелось верить в чудо, в Божью помощь. Вдруг из калитки выйдет Зоя? Нет! Пусто... Заглянул; сквозь листву берез и акаций светится в невидимом окне огонек: не спит. На белом фоне занавески шевелится темный профиль... Она: милый профиль любимого лица!.. Про-

клятая собака залаяла, — думает вор.

— У, дура!

Быстро вышел из калитки и пошел прочь.

А собака провожает лаем.

— Да будет тебе, проклятая!

Прибавил шагу и завернул за угол.

— Ух!..

Остановился снял шляпу и, посмотрел в небо. Уже заискрились звезды. Ах, как сильно откуда-то наносит сиренью!.. А музыка в саду поет кларнетами: «Эх, ты ноченька», жалобно, словно плачет... жалеет меня, одинокого...

— «Только был один да мил-серде-ееченый друг...» — подтягиваю кларнетам, а они отвечают мне:

— «Да и тот забыл меня, горькую...» «Подлец» — браню «мил-сердечного друга» и горжусь силой своей любви: я никогда не разлюблю белого голубя... это — немыслимо!..

Смолк город; задумчиво смотрит на него луна и всё думает о людях, которые спрятались в больших каменных домах, и которые одиноко бродят ночью по пустынным улицам... Медленно потухают звезды, а на кладбище поет соловей... О чем он поет мертвым!..

Быть может, соловей рассказывает им о том, что ничто не изменилось на земле с тех пор, как они зарыты, всё также любят и ненавидят, всё также смотрит на город луна с неба и серебрит купол старого собора... «Не завидуйте, мертвые! — говорит им соловей. — Все эти люди, которые сладко спят теперь в домах, и которые одиноко бродят по улицам, все обречены той же участи... И когда-нибудь вот этот юноша, который так счастлив теперь, что не может спать, будет гнить в земле, а другой такой же юноша будет ходить ночью по тихим улицам и не спать от счастья». И луна думает о том же!.. И звезды!.. И тихая, кроткая весенняя ночь!..

— Куку-рекууу...

Запел петух где-то далеко. Который час? Считаю медленно плывущие с кладбищенской церкви удары колокола. Два. Крепко спит теперь моя Зоя и не знает, что я тоскую... Пойду домой.

Бледно-зеленое небо уже вздрагивало предчувствиями близкого солнца, когда я вернулся в свою комнату. Распахнул створки окна, постоял и послушал предрассветный шо-

пот в саду, за собором, сонное попискивание каких-то птичек, похожее на эолову арфу гудение телеграфных проволок на столбе под окном, глубоко медленно вздохнул и, прошептал: «хорошо на свете!», стал раздеваться... Лег, вытянул усталые ноги и, умиротворенный сознанием, что я любим, перекрестился.

— Благодарю тебя, Господи!

Закрыв глаза, улыбаюсь своему счастью и отдаюсь неясным, легким трепетам души, словно слушаю далекую, нежную музыку...

Не спал, а плавал на золототканых грезах дремотной фантазии любившего, любимого и юного... Сны голубые, белые, прозрачные и пугливые... Синие глаза, золотистые волосы, опущенные ресницы, улыбка на розовых, как утренняя заря, губах... Всё плывет в дремотном тумане и сливается с шопотом деревьев в саду, за забором, с щебетанием просыпающихся птиц и запахом умывающейся росой сирени...

— Благодарю тебя, Господи!

Заснул сладко и крепко и спал, как хорошо накормленный матерью грудной младенец.

Заползла муха в раскрытый рот — разбудила...

Город шумит, поет, торопится, бранится. Трещат на мостовой кованые железом колеса, кричат продавцы зелени, молока, мороженого, гнусаво поют стекольщики и угольщики, ругаются на дворе соседние по квартирам кухарки, кудахчет курица, дерутся воробьи, где-то звонко колотят молотками каменщики. Солнце смеется в окно...

— Эх, проспал: Зоя теперь уже на экзамене, не поймаешь ее у калитки!..

Умылся прямо из водопроводного крана: вода — как лед. Окатил ею голову — приятно. Словно новая голова выросла, умная и бодрая...

Выпил у раскрытого окна стакан чаю с душистым лимоном и мягкой, вкусной булкой и начал укладываться. Разбирал учебники, одни откладывал — можно продать букинистам, — а другие бросал на пол, и они валялись там, как трупы в мертвецкой... Ах, алгебра!.. Раскрыл алгебру на квадратных уравнениях и, поцеловав иксы с игреками и дзетами, любовно уложил в чемодан... Напевал:

«Прощай, милая, надолго, навсегда, уезжаю я в низовы города», рвал конспекты, хронологию, сочинения по русскому языку, тетради с экстемпоралиями...

— Ах, Пипин Короткий! Мое почтение! Как поживаете, чорт бы вас подрал!

В клочки рвал «Историю средних веков» Иловайского и приговаривал:

— Вот так! Вот этак! Карлы, Людвиги, Хлодвиги, Святые, Лысые, Толстые, Благодети-вые!..

— Войдите!

— Вам письмо.

— Ага!

От мамы... «Милый Геня! Почему ты молчишь? Мы беспокоимся: не провалился ли ты из проклятого латинского или греческого»...

— Списал, мама, на четверку!..

«Ради Бога телеграфируй, здоров ли».

— Здоров, милая мамочка, и счастлив...

Очень!

«Сегодня видела сон: будто ты пришел домой худой, истерзанный, и говоришь: „прощай, мама, я умер“»...

— Жив, мама, жив! и даже очень!..

«У нас гостит твоя троюродная сестра Калерия, которую ты никогда еще не видал».

— Да нет и особенного желания, мамочка!

«Красива, но взбалмошна, бросила мужа и с ребенком прикатила к нам. Ни капельки не тоскует: поет и хохочет, как девчонка, а ей уже двадцать четыре года. Ждет тебя — хочет, зачем-то, учить латинский язык... Вообще — пустая особа, и я очень не рада этой гостье: безцеремонна и беспардонна». — Ну и черт с ней!..

V

— Прощайте!

Всё ли? Чемодан тут... Подушка с одеялом... Палка... Плед... Гитара...

— Трогай!

Мягко покати́лась пролетка по лужку двора и потом громко застучала по мостовой. Ну, слава Богу! Всё идет прекрасно... Как приятно уезжать... С любовью смотрю на знакомые улицы, на прохожих и проезжих: так бы и раскланялся! Вон знакомый крендель над булочной. Вон «Парикмахерская», где меня

стригли... Театр, почта, золотоголовый собор, сад...

— Прощай, сад! Спасибо!

Выехали из города; потянулась слобода с шумливыми мелочными лавочками, трактирами, пивными, ломовыми извозчиками, безграмотными вывесками... Вон: «Карасин, Паперосы, а также Чай и Кофей»...

— Прибавь! прибавь! Опоздаем. Пароход уходит в восемь.

— На этот опоздаешь, на другой попадем! Их много отходит...

— Мне нельзя на другом, а надо на «Самолет».

— Уже близко пристани: клубится дым паровых труб, гудят свистки, то басом, то дискантом, обгоняют спешащие на пароходы пассажиры... Скорей! Подскакиваю на пролетке, помогаю лошади и тычу в спину извозчика...

— Тпру!

— Вишь и не опоздали. Зря горячился, гнал... За это надо прибавить.

— Матрос, на пароход!..

Матрос забрал в руки всё мое имущество,

и мы торопливо зашагали по скрипучим мосткам.

— Какой пароход?

— «Гоголь».

— Свисток был?

— Два. Сейчас отваливает...

Торговцы, рассевишиеся вдоль мостков, хватают за полы и за руки, предлагая колбасу, семгу, булки, чулки, гребешки...

— Куда мне к чорту!

Гудит последний свисток, а они... Вот дурачье. Дорогу!

...Уф! Наконец-то! Теперь уж спокойно. Она где-нибудь здесь... Да вон она, у перил балкона!.. Внимательно ищет кого-то глазами, ждет и страшно волнуется... Конечно, меня. Милая, как она волнуется! Не спешу успокоить: очень уж радостно видеть, как она ждет меня. Снимают трап. Зоя перегнулась через перила. Оглушительно зашумел под колесом пар, пароход вздрогнул и стал медленно отдаляться от пристани... Что с ней? Отирает платочком слезы...

— Зоя!

Обернулась и радостно схватила за руку, а

В глазах — слезы...

— Вы здесь? Когда? Как же это так... Я проворонила вас...

Звонко смеется, лицо рдеет румянцем, и не знает, что еще сказать.

— Вы... плакали, что ли?

— Нет... О чем мне плакать?.. Что-то попало в глаз...

— Не надо тереть...

— Вы во втором классе?

— Да. А вы?

— Я — тоже.

Улыбнулись друг другу и стали быстро ходить по балкону вокруг парохода...

— Ах, как я люблю Волгу и пароход! А день-то какой! Как стекло вода... Чайки! Давайте кормить, чаек!

Мы бросали чайкам кусочки белого хлеба, и чайки на лету ловили их, ныряли в воздухе над кормой парохода и дико вскрикивали, встряхивая крыльями... Кругом налаживалась своеобразная речная жизнь: под шум хлопающих по воде колес пассажиры читали, дремали, слонялись по палубе, распивали чай, позванивали посудой и ложечками, а

некоторые уже аппетитно поедали рыбные солянки и сочные бифштексы с кровью... Бегали в запуски звонкоголосые ребятки, где-то внизу повар рубил «под польку» котлеты и, как улей, гудел чернорабочий люд... Надоело Зое кормить чаек.

— А, знаете, я сама непрочь бы покушать.

Уселись в рубке и стали совещаться, что бы заказать на завтрак... И во всем мы находили повод смеяться, радоваться, и, должно быть, наши глаза не могли скрыть того, что было в сердце: когда я в ожидании завтрака, пошел к себе в каюту, чтобы придать своей шевелюре наивозможнейший поэтический вид, лакей постучал в дверь, приоткрыл ее и сказал:

— Супруга вас ждут кушать!

Это была столь приятная неожиданность, что я не стал опровергать ошибки:

— Скажите, что я сейчас приду...

— Слушаюсь.

Кушаем. Изредка взглядываем друг на друга и смущенно улыбаемся. Зоя хозяйничает, угощает... Наклоняясь друг к другу, тихо подтруниваем над пассажирами, вскакиваем

смотреть на встречные пароходы, машем платками и снова бежим к столу... На нас смотрят с завистью одинокие мужчины и заглядываются на мою золотоволосую спутницу... Нахалы! Злобно бросаю на них уничтожающие взгляды, прошу Зою сесть к ним спиной. Слава Богу, поняли, болваны, что рискуют нарваться на человека, который не привык шутить. Я называю мою милую — Зоей, она меня — Геннадием... И в этом — неизъяснимая прелесть. На «вы», но без величания — и в этом есть красивая-простота, и чистая близость, и бережное отношение к своему счастью... Мягко вздрагивает пароход всем корпусом, и весело позванивают на столе бокалы и рюмки. Я прикрыл лицо рукой и смотрю через промежутки пальцев на Зою... Боже мой, какая это красота! Не оторвешься. И опять всего меня обволакивает излучение этой красоты, как во время занятия алгеброй, в палисаднике. Я опьяняюсь этой красотой и тону в ней, растворяюсь...

— Геннадий! Вы о чем, задумались?

Дает же Бог человеку такой голос! Сердце сжимается от этого голоса.

— Благодарю Тебя, Господи! — шепчу я и, отняв от лица руку, не могу оторвать глаз от девушки.

— Вы молитесь Богу?! А стерлядь в томате? Не хотите?

Даже о стерляди у нея выходит поэтично и удивительно мило.

— Стерлядь... Буду, буду!.. Разве можно отказываться, когда вы говорите о стерляди?..

Протяжно загудел свисток парохода: пристань... Оба вскочили из-за стола... Зоя подхватила меня под руку, а рука ее прикрыта концом накинутой на плечи толковой тафты... В дверях наскоро отодвинул шолк и на одно мгновение коснулся тонкой руки губами. Не заметила, а, может быть, не хотела заметить: иногда в ее глазах сверкал хитрый огонек... Стоим у перил и смотрим на суетню по берегу. Рядом стоит пожилая женщина в платочке, с сочувственной улыбкой смотрит на нас и ласково спрашивает?

— Молодожены вы, что ли?

Зоя покраснела и, отвернувшись, сморщила лоб и пристально уставилась на береговые горы, а я покачал отрицательно головой...

— Сестра? Больно уж дружны. На редкость... Теперь братья-то с сестрами, как собаки с кошками, а вы... Даже приятно смотреть. У нас чтобы брат сестре когда-нибудь руку поцеловал, этого никогда не увидишь!..

Зоя убежала в рубку и, когда я вернулся туда, надула губки и не смотрела на меня... Подошел лакей, с салфеткой подмышкой, и спросил:

— Кофе или чай прикажете?..

— Кофе.

— А вашей супруге?

Зоя вскочила и убежала в свою каюту...

— С чего вы взяли, что это — моя супруга?

— Виноват-с!.. Я так полагал... Ошибся...

— Идите! Ничего не надо. Не пожимайте пожалуйста плечами!..

— Я не пожимал-с...

— Нет, пожимали! И опять пожимаете...

— Это по привычке-с.

— Очень скверная привычка.

Я сердито бросил нож и вышел из-за стола. Испортили отношения. Мерзавцы! Какое им дело: муж я, или брат, или сват...

Я ходил кругом парохода и искал Зою...

Скрылась... Стоит обращать внимание на такую глупость!.. Эх! Спряталась. Рассердилась. На что? Разве я виноват?.. Ну, извини, прости, пожалей...

А время бежит. И так недолго быть вместе, а тут еще эта история... Где ее каюта? Иду и прикидываю умом, которое окно ее каюты... Вот это!.. Слегка, осторожно, боком взглянул на окно, и вдруг оно опустилось и стукнуло: закрылось решеткой... Как это понять? За что? У меня навернулись слезы и весь я как-то разом ослабел и упал духом... Неужели всё кончено? Я присел на лавочку, под Зоиным окном, опустил голову и закрыл глаза. Мерно вздрагивал я вместе с пароходом, и в голове моей носились мысли о том, что нет на свете ничего прочного и вечного, и что не стоит жить... Эх ты!.. А я думал, что ты, действительно, любишь сильно и красиво... Не любишь!

Опять ходил кругом и снова присаживался под загадкой захлопнутого окна. Не открыва-ется. Постучать? Неудобно и обидно: я не нищий, просящий подаяния, а... Я не находил для себя подходящего определения... Все сло-

ва казались маленькими или пошлыми...

Опять гудит пароход, опять пристань, суетня, ругань грузчиков, торопливая команда капитана, свистки, грохот сходней, и пароход снова бежит в голубую даль водяной равнины, туда, где на высоких горах стоит белый в зелени город Симбирск... Там с парохода сойдет мой чистый белый голубь и оставит меня с моей тоской и разбитыми грезами... Не беги так быстро, пароход! не гонись за быстротечным временем! Ты снова вернешься к этим берегам, а мое счастье унесешь, и оно не возвратится. Быстро несутся полые воды разлившейся Волги, крутятся водоворотами, пенятся мохнатой пеной под кормою и помогают пароходу догонять время... Нельзя остановить... Что же делать? Что делать?.. Господи, помоги мне!

Я ушел в свою каюту и написал на клочке бумаги: «Кто любит сильно, тот ничего не боится. Я не виноват, что не мог скрыть от шпионов своей любви. Да и зачем, любя, притворяться, что не любишь? Я должен знать: любим мы друг друга или притворяемся?». Побродив по коридорчику, я выбрал момент и

втолкнул записочку под дверь Зоиной каюты... Хожу вокруг парохода и, как преступник — приговора, жду ответа. Сел под окошечком, за которым будет произнесен приговор над моим счастьем, и спиной, через стенку каюты, ловлю каждый шорох, каждый звук там, за стенкой... Что это? Смех? Издевательство? Не может быть!.. Кровь бросилась в лицо, а потом захотелось упасть на лавку и разрыдаться. Но за спиной раздался осторожный стук и шорох отодвигаемой решетки, и я вздрогнул словно от электрического удара, но боялся обернуться.

— Милый, мне стыдно... — прошептал кто-то сзади, и снова стукнула оконная решетка... Я быстро обернулся к окну, но было поздно. Неудержимая радость хлынула в мою душу и затопила ее до краев. Я вдруг расхохотался, сорвался с места и стал, как сумасшедший, кружиться по палубе.

— Какой я идиот! какой идиот! какая дубина! — вслух бранил я себя и, выбрав момент, когда вблизи никого не было, проворно перекрестился и прошептал:

— Благодарю Тебя, Господи!

И опять засверкала Волга под солнцем, и засверкала моя душа, и запрыгало сердце...

— «О, Волга, колыбель моя! любил ли кто тебя, как я?» — декламировал я, стоя на носу парохода под теплым встречным ветерком, трепавшим мои волосы под широкополой шляпой, и радостно и жадно смотрел вперед, навстречу своей судьбе...

Однако время уходит... Близится вечер: под горами уже легли на воду тени... Опять загудел пароход: пристань... Как часто!

VI

«Солнце село, до Симбирска всего пять-шесть часов езды, а ты... Ведь — „ты“? да?.. а ты прячешься. Времени осталось мало, а нам так много надо сказать друг другу... Я жду и тоскую» — моя записка.

«Пусть немного стемнеет, я надену другое платье, покроюсь платочком и сяду на корме. Ты придешь. З.» — ее записка.

«Не могу ждать. Открой хотя наполовину окно каюты, а я сяду под ним. Если не откроешь — значит мало любишь. Г.» — мое возра-

жение.

В ответ стукнуло окошечко, и в его рамке нарисовалось пунцовое от стыда личико с опущенными ресницами... Даже уши горели под золотом волос. И смущенная улыбка чуть-чуть шевелила губы.

— Нехорошо так думать, как... вы... обо мне...

— «Вы»?

— Ну... ты...

И отвернулась...

— Можно к... тебе?

— Нет, нет...

— Ну, сядь хотя к окну!..

— Мне стыдно говорить «ты»... Я... люблю... но говорить так... не могу...

Милая!.. Почти плачет... Ну, Бог с тобой, будем опять на «вы»!..

— Сядьте к окну. Я прошу вас, Зоя Сергеевна!

— Хорошо. Но вы... рассердились? да?

— Да нет же, нет!

Уселись: я под окном, она — у окна. Тихо, не глядя друг на друга, переговариваемся:

— Еще несколько часов и — прощайте! На-

долго...

Вздых. Молчание.

— Забудете?

— Нет. Будем переписываться...

— Я буду тосковать и жить только вашими письмами.

— Зажигают маяки...

— Как красивы эти красноватые и желтые огоньки над фиолетовой водою! А горы уже нахмурились.

— Вы, Зоя, долго пробудете в Симбирске?

— Нет, сейчас же уеду: там будут ждать лошади... Прямо с пристани в тарантас и...

Вздых. Молчание.

— Я тоже буду скучать по вас, Геннадий.

— Милая! Протяни мне руку.

— Боюсь — увидят...

— Ради Бога! Люди далеко...

Тихо дотронулась до моего плеча, и щека моя ощутила теплоту и слабое прикосновение. Я закрыл глаза и, повернув голову, коснулся руки губами.

— Идут.

Синим и розовым туманом подернулись речные дали. Ярво краснел маяк в луговой

стороне. На кожухе парохода зеленеет отблеск сигнального фонаря; на мачте, высоко под небом, как звезда, лучится синеватый электрический огонек. Темной стеной бегут в темную даль прибрежные горы... Уже доносятся с них обрывки соловьиных песен. Из горных оврагов порой, вместе с влажной прохладой, прилетают пряные запахи цветущей земли... На пароходе стихло: одни поддались нежной грусти и мечтательности; другие, плотно пообедавши, спали по каютам. У всех уже пропала любознательность по отношению друг друга... Я ходил, напевал: «Что же не приходишь, мой неверный друг?» и поглядывал на светящееся занавешенное окошечко... Погасло: значит переоделась и сейчас выйдет... Обогнул нос парохода и потянул на корму. Она!.. Как молоденькая послушница из монастыря... Темненькая, скромненькая, кроткая... кутается в шаль, прячет милое личико и подбородок, а глаза потемнели, как небо, и сверкают, как звезды. Золотистая прядь волос бьется над головой и во всей фигуре — затаенное ожидание...

— Как ты изменилась! Ты похожа на мона-

шенку...

— Теперь никто не узнает...

Я сел рядом, совсем близко. Наши плечи касаются. Она еще больше спряталась под шалью. А шаль спрятала наши руки и они жмут друг друга и говорят о том, как мы счастливы. Проходят мимо люди и не видят, что наши руки сплелись и без слов рассказывают о тайнах взаимности...

— Любишь? — спрашивает моя рука.

— Крепко! — отвечает рука девушки.

— Не забудешь?

— Никогда!

— Счастье! Радость! Как передать тебе грусть и радость моей любви?

— Молчи, — я знаю...

— Зоя! посмотри, как смотрят на нас звезды!

— Им завидно.

— Слышишь, как грустит в лесу на горах соловей?

— О чем?

— О том, что скоро-скоро мы расстанемся...

— У-ууууууу! — кричит свисток парохода, и испуганно сжимаются наши сердца мыс-

лью: «скоро — разлука!». А в горах — это: «уу-уу!»...

Ночь, темная, безлунная. Только огромные звезды трепещут в темной синеве небес, мешаясь с огнями далеких встречных пароходов. Плотнее прижимаемся друг к другу, словно боимся, что Кто-то всемогущий встанет между нами...

— Поцелуй меня!

— Опомнись! Что ты говоришь?!

А сама прижалась еще ближе и нервно вздрагивает и оглядывается по сторонам. Зачем? Боится ли, что кто-нибудь услышал неосторожное слово, или хочет и боится поцеловать? Кто скажет? Об этом знают только звезды, но они не скажут даже мне... Прошел какой-то одинокий человек и оглянулся на нас. Уходи! — не твое дело...

— Поцелуй!

— Потом... после...

— Не обманешь?

Пожала руку и шепнула:

— На прощанье! Пойдем пройтись... Тут — любопытные...

На прощанье!.. Опять защемило сердце... В

загадочной зловещей темноте нагорного берега то мигали, то потухали искры огней, словно кто-то подавал условные знаки нашему врагу.

— Какая пристань?

— Симбирск! Далеко его видать: на горах он.

Мы прижались друг к другу и молчали, устремив взоры в темноту, где всё чаще вспыхивали зловещие огни невидимого города.

И любил я этот город, и ненавидел... Милый, родной город, береги мое счастье! Проклятый! — ты разлучаешь нас...

— Надо собираться, — грустно сказала Зоя и глубоко так вздохнула.

— Рано еще... Погоди!.. Я помогу тебе.

— У меня всё разбросано...

— Пойдем: не хочу смотреть на твой Симбирск!.. Взорвал бы твой Симбирск на воздух, а тебя увез бы с собой. Я тебя не пущу...

— Ой! больно руку... Надо собираться. Пустяки!

Она забеспокоилась о вещах, заговорила о расплате с прислугой, о каком-то письме, о лошадях, которые должны ждать ее в Сим-

бирске. Она уже наполовину была не со мной, и это больно обижало мое чувство. «Забудешь!».

— Что вы говорите?

— Опять — «вы»!

— Надо итти... Пока до свидания...

— А ты не забудешь?

— Что?

— *Что* — обещала.

— *Что* обещала?

— Эх, ты!.. Поцеловать...

— Да.

Вырвала руку и побежала в свою каюту. А я подошел к окну с намерением полюбоваться на моего голубя последние минуты.

— Нельзя: у меня всё разбросано...

Окно закрылось решеткой. Я постоял перед темным окном и, отойдя к перилам, погрозил горящим в темноте светлякам-огням города:

— Проклятый!

А он не боялся и всё ярче и гуще разбрасывал свои огни на высоких темных горах.

— Вот и Симбирск! — произнес кто-то в темноте, с радостью в голосе.

— Ну, а что же дальше? — сердито бросил я

в темноту.

— Ничего! Симбирск, говорю.

— Вижу. Не слепой...

— То-то и есть! Слезать мне.

— А мне какое дело? Сделайте одолжение, я не задерживаю.

— Уж, конечно, вас не спрошусь, а сам слезу... Губернатор какой!

Невидимый пассажир пошел в одну сторону, я — в другую..

— Зоя! Можно?..

— Ннн... ну уж ладно, идите...

— Давайте, я затяну ремни!

Схватил чемодан, злобно уперся в него коленом и, натянув ремень изо всех сил, оборвал пряжку.

— Эх, черт!.. пряжки! Ну, да обойдемся и без нее... Готово!

— Кажется, всё...

Зоя печально огляделась по сторонам, задумалась, потом посмотрела с жалобной улыбкой на меня. Вздохнула и повторила:

— Теперь всё...

И опустила голову... А я поднял голову, встряхнул волосами и взял ее руку.

— Ну, скажи мне что-нибудь на прощанье!

— У-уууу! — загудел свисток...

Зоя торопливо перекрестилась.

— Я жду...

Девушка рванулась ко мне и вдруг, закрыв лицо руками, остановилась. Я привлек ее к себе и поцеловал в щеку.

— Не забудешь?

— Нет.

— Уверена в этом?

Она не ответила, только кивнула и сконфуженно взглянула мне в глаза...

На палубе беготня, за окном — шум и перекрестный говор. Пристали.

— Пора!

— Пора.

— Милая, голубок мой!.. Пора.

— Надо матроса.

— Свободен? Бери вещи!..

— Ну, будь здоров, не грусти...

— Нет, нет, я провожу тебя... Человек! Перенесите мои вещи в эту каюту: я хочу — здесь, в твоей...

Гуськом спустились вниз по винтовой лестнице и с волною народа проплыли на

пристань.

— Барышня! Барышня! Я — здесь...

— А, Семен! Приехал?

— С утра жду. Давай-ка вещи-то, сам донесу...

Семен отобрал у матроса вещи и поволок их на берег. Мы шли позади молча и не знали, о чем говорить... Загудел свисток парохода, я схватил обе руки девушки и стал их покрывать жадными, торопливыми поцелуями. Она приостановилась и, освободив руку, перекрестила меня:

— Иди, милый!.. Всё равно уж...

А в голосе — дрожь и близкие слезы...

— Ууу-у-у!..

— Прощай!

— Не забывай!

Расстались. Ушла и быстро исчезла в темноте... А я, вбежав на балкон парохода, долго вперялся в темноту ночи и жадно вслушивался: не звенят ли на горе колокольчики. Мешают: шумят, стучат, бранятся на пароходе и на пристани, дрожит и ворчит пароход, кто-то где-то плачет и кто-то смеется... И в третий раз загудел пароход, и гулким эхом отозва-

лась ему темнота: «у-у-у»!

— Прощай! Может быть, ты тоже смотришь с горы на огни парохода и говоришь мне «прощай»! — Да, ты смотришь, я это знаю, и думаешь обо мне... И, может быть, ты, как и я, оттираешь платком слезы...

Убегал пароход во мрак ночи, всё дальше и дальше... А я стоял и смотрел на мигающие мне огни города, отнявшего у меня любимую девушку. Но вот огни стали прятаться, редеть и потухать. Тьма и звезды, вверху и внизу — тьма и звезды!..

— Прощай!

VII

Жаркий полдень. Монотонно звенят колокольчики под дугой; еле перебирают лошадки ногами, подбрасывая пыль по дороге и помахивая мохнатыми головами в такт бегу. Покачивается плетушка из стороны в сторону, подскакивая на выбоинах, и голова откидывается назад и раскрываются глаза. Всё то же: бесконечные зеленые полосы, то узкие, то широкие, то бледные, то яркие, черная пахо-

та, на горизонте — ветрянки-мельницы с простертыми к небу крыльями и кайма далекого леса... Все разомлели — и седок, и ямщик, и лошади: я — в сонной дрёме грежу о темной ночи на пароходе, о золотистой косе, о синих глазах; ямщик — в полной нирване; лошади, должно быть, мечтают о прохладной конюшне, душистом сене, овсе и холодной воде... Жарко. Раскрыв рот и распутив крылья, сидят на пахоте вороны и лениво, нехотя поднимаются при нашем приближении... И так идет час и другой... Вдруг лают собаки. Что такое? Раскрываю глаза: деревня.

— Какая деревня?

— Не узнал? Овинники!

— А Ключи?

— Проехали. Вон они где остались!..

Скоро дом. Улетает дрёма, мысли о родном доме начинают мешать мыслям о прошлом... Поднялись на гору, въехали в сосновый бор.

Здравствуй, бор! Ты всё тот же, так же вечно рвешься вершинами к небесам и ползаешь корнями по земле, протягиваешь на дорогу к людям свои мохнатые лапы и щедро разбрасываешь желтые смолистые шишки... Ты всё

тот же, а вот я... я — другой! Раньше я больше всего любил побыть наедине с тобой, послушать, как ты шумишь в ветер и шепчешься с дождем. Больше всего на свете любил я тебя, ружье и собаку, белую умную Джальму!.. А теперь... Изменил я всем вам, больше всех и всего на свете люблю теперь одну девушку — ее зовут Зоей!..

— Зо-я! — закричал я в бор, и он начал шептать что-то, бросил в меня сухой желтой шишкой и ударил мохнатой колючей лапой по шляпе.

— Ничего, брат, не поделаешь: судьба!

— Ну-ну, шагайте по-лошадински! Недалечко уж... Дождичка бы, барин, надо...

— С удовольствием бы, да не могу, братец!..

— Хм... Чудной! Я про Бога, а ты... Что человек может? Пыль мы с тобой... Хм... Ехал я на медни с вашей сродственницей, с... Как ее? Мудрено зовут. Чай, знаешь?

— А-а! С Калерией Владимировной?

— Вот-вот!.. Имечко придумали.

— Ну!

— Ну, разговорились. То да се... В Елшанке молодой мужик топором свою бабу зарубил...

По этому случаю разговор-то... — За что? — спрашивает. — С другим, баю, пымал, с парнем. — Кого — спрашивает — жалеешь: жену али мужа? — Я то-есть. — Мужа, баю. — Почему? — За ее грех, баю, страдание примет и на земли, и на небеси: здесь в каторге, а там в огонь вечный. А она, стерва, смертью, кровью своей на том свете оправдается: получила свое!..

— Ну!

— А она, это твоя сродственница-то, и говорит: коли мужа не любишь, так можно с другим... то-есть путаться... А Бог-то, баю! А что, бает, Он, Бог-то, исправник, что ли? Кого хочу, того и люблю... Это, бает, моя воля...

С этого начался наш разговор с ямщиком о любви.

— Одна любовь, барин, от Бога, а другая от чорта. Коли заслужил перед Господом — Он тебе хорошую бабу предоставит, а не заслужил, за это дело чорт возьмется...

— Ну!

— Он, чорт-то, такую тебе подсунет, что либо сам повесишься, либо ее прикончишь. На земле всю жисть промаешься, да и на тоём

свету поплачешь. Баба, брат, дело сурьезное!..

Захотелось мне сказать ямщику, что я уже полюбил, что я уже получил от Бога «бабу» и счастлив.

— Я, брат, понимаю... Невеста у меня есть... Хорошая, красивая, умная...

— Дай Бог! А только то в расчет прими, что покуда не поживешь с ней — не хвастайся: оно после откроется — от Бога, али от чорта твоя любовь. Чорт, братец, такого туману напустит, что не сразу разберешься...

Я рассердился на ямщика:

— Дурак не разберется, а если в голове кое-что есть...

— Да ведь и чорт-то, братец, не дурак, а пожалуй и поумнее нас с тобой... Выбирай — которая стеснительная, которая глаз зря не плялит на тебя и Бога боится... А уж которая говорит: «Бог не исправник, а я — вольная», от такой надо подальше... А тоже — красивая из себя эта гостья у вас! Тоже, поди, какой-нибудь думал, что Бог ему в награду послал... Сказывают — мужняя жена беглая... А я поглядел: чорт в ней сидит...

— Как же ты это узнал?

— Я-то? Хм!.. Смех у ней нехороший и в глазах один блуд... Из себя черная, как ворон, язык стыда не знает и глаза — тоже... И душа в ней — черная, поверь моему слову!.. Вот этаких-то чорт и подсовывает нашему брату... В грехе сгоришь с этакой... От нее так и палит огнем... Сижу на козлах, разговариваем, а в спину от ее глазу да от языка грех входит...

Ямщик сплюнул и потихоньку замурлыкал тягучую грустную песенку...

А мои мысли опять полетели назад и кружились около моего белого голубя... Белая!.. Она вся белая, светлая, чистая! Она — от Бога... Я перекрестился и прошептал:

— Благодарю Тебя, Господи!

Потом вынул из бокового кармана записную книжку и трясущимися руками достал спрятанный здесь портрет Зои. Чем дольше я смотрел на портрет, тем он более оживал... Милое, дорогое лицо!.. Кротко и доверчиво смотрят на меня радостные глаза, и легкая тень улыбки приветствует и ласкает восторженную душу. Я приближаю портрет к своему лицу, и мне чудится, что глаза раскрываются шире и губы начинают вздрагивать и

что-то хотят сказать мне...

— Здравствуй, голубь! Ты меня помнишь, не забыла? Да!.. Конечно!..

Прикладываю портрет к губам и закрываю глаза.

— Вон она! верхом... как мужик!

Проворно прячу портрет...

— Она и есть!..

— Кто?

— Гляди вперед! Вона!.. Ровно казак. Хм!..

Далеко впереди, навстречу нам, чрез ровные стволы высоких сосен, выезжал верхом на гнедой лошади гордый всадник, похожий на пажа из оперы: желтые ботфорты, шляпа с пером, левая рука на талии, на груди ярко-красное пятно...

— Не мужик и не баба... — промычал ямщик.

— Это... разве это — женщина?

Ямщик обернулся и бросил злым шопотом:

— Она это, ваша гостья!..

— Калерия?

Всадник пришпорил лошадь и галопом помчался нам навстречу. Не знаю почему — я почувствовал вдруг робость и опустил глаза.

Звонко постукивали подковы о переползавшие через дорогу корни старых сосен, и мой страх возрастал по мере приближения всадника. Словно навстречу нам мчался поезд и грозило неминуемое столкновение. Уже близко... Слышно, как храпит взмыленная лошадь...

— Тпру! Здравствуйте, Геня!

Круто повернула лошадь и поехала совсем рядом, протянула руку, крепко затянутую темной лайковой перчаткой.

— Созрел? Поздравляю! Я выехала тебя встречать... Ты недоволен?

— Благодарю!.. Мама здорова?

— Да... Не совсем, как все дамы на возрасте, но... Посмотри на меня! Мне хочется хорошенько рассмотреть своего братца... хоть и троюродного... А, уже усы! Молодцом! Ты выглядишь совсем мужчиной...

Меня разбирала злость: она говорит со мной, как с мальчиком, на «ты», прищуривает глаза, рассматривая меня, как неодушевленный предмет, забрасывает глупыми вопросами и хохочет на весь лес.

— Ты любишь верхом?

— Нет. Я предпочитаю прогулки пешком, с ружьем и собакой.

— Надеюсь, что иногда ты не откажешься, кроме этих своих друзей, захватить еще и третьего, то есть меня? Я люблю скитаться по лесу.

— Я охотник серьезный. Вы за мной не угонитесь.

— Почему же — «вы»? Я тебе разрешаю говорить мне «ты».

Я окончательно рассердился.

— Из женщин я говорю на «ты» только с матерью да еще с...

— С кем еще?

— С той, которую люблю...

Она весело расхохоталась:

— Ну, хорошо: давай на «вы»!.. Вы кого же любите?

— Калерия Владимировна! Вы мне не нравитесь.

— Почему? А мне все говорят, что я очень красива.

— Я — не о наружности... Я не люблю шутить над... Вообще я серьезнее, чем кажусь вам... Вы меня простите, но я просто не умею

поддерживать пустых разговоров...

— Вы даже не умеете быть вежливым... Но со временем мы этому научимся...

— Хорошо. Только не теперь...

Калерия больно ударила свою лошадь хлыстом и помчалась вихрем по дороге. Заклубилась впереди пыль, засверкали лошадиные ноги подковами, и скоро пропал в соснах этот странный всадник.

— Видел? Чорт, а не баба!.. — обернувшись, сказал ямщик и, покачав головой, добавил:

— Ловко ты ее отбрил! До новых веников не забудет! Давай покурим, что ли...

Ямщик пустил лошадок шагом и, свертывая сигарку, всё радовался и хихикал. А я молчал и всё еще не мог опомниться от нападения. Думал о ней. Действительно, красивая. Нерусский тип. Лицо смуглое, матовое, глаза как у красивой японки, волосы черные, как смола в расколе; на верхней губе — усики. Длинная шея слегка наклонена вперед; капризный, раздражающий голос и смех... Что-то неприятное есть в этом смехе. Просто нахальный смех.

— А тоже учит вежливости! — вслух про-

ворчал я.

Выехали из лесу: сразу масса света и необъятный простор. Зеленые луга перерезаны, словно парчевой серебряной лентой, рекою, а за рекою — пологие горы и на них — верхушка церкви и верхушки ветряных мельниц. А вон и наш липовый парк, в котором прячется наша старая усадьба!..

— Вон уж где она, шельма, скачет! — сказал ямщик, показывая кнутом за реку. — Чорт, а не баба... Ей-Богу!.. Ну-ка, милые, повеселей!

Он ударил по кореннику, подхлестнул пристяжку — и бодро запели под дугой колокольчики, и плавно и быстро покатился тарантас по гладкой и ровной дороге...

VIII

Я поместился в садовой беседке, плотно окруженной густой разросшейся сиренью. Здесь лучше. В старом доме мрачно, там пришло разрушение. Всё покосилось, скрипит, шатается, полно старыми тетками, от которых пахнет лампадным маслом и нафтали-

ном. Там постоянно кричит благим матом грудной ребенок Калерии Владимировны, которого она отучает от материнского молока чуть не с самого дня рождения; там — и она, Калерия...

А здесь спокойно, тихо и одиноко. Сам себе господин; живи по-своему. Никому не мешаешь и тебе никто. Да и привык я к маленьким комнатам. Беседка наполовину из стекол; есть много побитых. Заклеил газетами почти все стекла, а целая и незаклеенная сторона обращена к забору в переулочек, заросший репьем, лопухами и крапивой. Турецкий диван — моя постель. Две липовых кадочки из-под меда — мои пуфы, огромный старомодный письменный стол и... качалка! Это — мама: «мало, говорит, у тебя мебели»...

— В другой раз сядешь да покачаешься... Любил ее покойный отец... А ей она не нужна... Я думала, ребенка будут качать, а она... Она против качания... По-новому... Голодом морит...

— Ты отняла ее у Калерии? Ей-Богу, мне она не нужна, эта качалка!..

— Ну, всё равно... Пусть лучше у тебя... Не

хочу...

В общем недурно. Ружье и охотничьи принадлежности на стене, коврик и на нем собака, белая Джальма, а в окно глядят кусты сирени. Но главное — стол. Тут — уголок души: портрет Зои и любимые книги. Портрет всегда в цветах, в массивной рамке из белого клена. Ах, еще — гитара! Здесь в беседке, в тихую теплую ночь, когда всё уснет, струны гитары звучат как-то особенно мягко и нежно, и я люблю иногда в лунную ночь прислушиваться к минорным аккордам струн и потихоньку, чтобы никто не слышал, пожаловаться тихой ночи на свою тоску по Зое и на свое одиночество: тихо и жалобно подпеваю плачущей гитаре... импровизирую, обращаясь с упреками к Зое и к Богу... Все нет еще письма!.. Забыла... Ставлю перед собой портрет Зои, беру гитару, настраиваю ее на минор и, слабо трогая струны, грустным тенорком тяну:

«Ты не могла понять меня, понять моей любви...»

И мне так жалко делается себя, что слезы начинают медленно катиться по щекам.

«Зачем, зачем ты не сказала, что...»

Обрываю романс, облокачиваюсь обеими руками на стол и пристально, с укором, смотрю на портрет Зои...

— Смеешься?.. Эх, ты!

Однажды, вот именно в такой момент и в таком настроении, в тихую звездную полночь, я брэнчал на гитаре и жалобно подпевал: «ты не могла понять меня, понять моей любви»; вдруг прозвучал иронический возглас под раскрытым окном:

— Недурно!

Словно оборвались струны гитары... Я смолк и прикрыл огонь лампы. К сожалению, ночь была лунная, и я еще явственнее увидел то, от чего хотел спрятаться: в раме окна, в освещенной лунным светом листве, стояла смуглая Калерия и насмешливо улыбалась.

— Подслушиваете? Очень благородное за-

нятие!

— Подслушивают, когда люди — вдвоем. А вы — один... Впрочем с гитарой!..

— Ну, подглядываете. Это всё равно.

— И опять неудачно: подглядывают молча, а я не молчу и не прячусь. Мне просто скучно, не спится... Я гуляла по саду и испугалась ежа или ящерицы... Увидала у вас огонь и вот... стою. Если помешала — скажите; уйду...

— Собственно... нет. Я ничего не делал, чтобы жаловаться на...

— Вы играли на гитаре. Поэтому я и не побоялась помешать вам.

Калерия облокотилась на подоконник, вдвинулась всем корпусом в мою комнату, обвела ее взглядом.

— По-студенчески... Моя качалка! А я думаю, куда она делась?..

— Это — мама... Мне она не нужна. Возьмите и качайтесь!

— Мерси! Качайтесь сами. Я успела уже в жизни покачаться... А вот чему можно позавидовать, так это вашему дивану. Так и тянет посидеть... с ногами... Можно?

— Пожалуйста! — сказал я и торопливо

поднял фитиль лампы.

Зашаталась и заглянула сирень в окно, а Калерия исчезла. «Вот чорт принес!» — подумал я со злостью и только было намеревался спрятать портрет Зои, как распахнулась дверь и появилась Калерия. Приподняв над головой ярко-пунцовый шелковый шарф она манерно раскланялась и подошла к столу:

— Она?

— Что — «она»?

— Которой вы говорите «ты»?.. В цветах — это хорошо, а рамку надо поизящнее.

Она склонилась над столом и стала разглядывать портрет; ее плечо касалось моего и, косясь вбок, я видел ее щеку и губы с черненькими усиками.

— Миленькая... Хотя... ничего загадочного... «Ты будешь — верная супруга и добродетельная мать»... А впрочем, не по хорошему — мил, а по милу — хорош... Я лучше посижу на этом великолепном диване, а вы побрянчите на гитаре и спойте жестокий романс...

— Ничего я не спою. Не так настроен.

— Будет дуться!

— Почему вы так презрительно говорите о добродетельных матерях?

— Потому что сама я очень скверная... Не знаю, почему, но я, Геня, не чувствую никакой любви к своему ребеночку... Так, кусочек мяса... Хотела бы, но нет... Иногда обманываю себя, мусолю ему щеки, лялькаю, говорю «милый», а в душе чувствую, что не трогает... Так же я любила своего мужа... Полялькаю и поймаю себя на лжи перед собою... Вы созрели? Вас не смущает такой разговор? — спросила она вдруг, подбирая под себя ноги.

— Нет. Я достаточно вырос и... вообще...

— Здесь страшно говорить с людьми искренно. Всякая правда встречается с удивленными глазами, словно о ней никогда в жизни ничего никто не знал и не слышал. А иногда так хочется кому-нибудь сказать именно то самое что думаешь... Пусть это будет глупо, неприлично, не принято... Когда вы при первой же встрече сказали: «вы мне не нравитесь», — сперва мне было немножко обидно, а потом, когда я ускакала от вас и стала обдумывать, — мне страшно понравилось... Вы — храбрый!..

— Такая храбрость не требует особенной храбрости...

— Однако! Не всякий скажет в глаза красивой женщине, что... Ведь я всё-таки красива? Посмотрите!

Она сбросила с головы пунцовый шарф за шею и, опираясь на него, неподвижно остановила на мне глаза. Я взглянул и потупился...

— Да, вы...

— Красивая? Ну, конечно! Я красивее той, которая там... у вас на столе...

— Нет! — твердо и убежденно кинул я к дивану.

— Не разглядели еще... Ну, для первого визита довольно!..

Она встала с дивана, потянулась и накинула шарф на голову.

— Не хочется спать... Боюсь одна, а ужасно люблю бродить по саду ночью... Всё странно в саду ночью: и деревья, и дорожки, и шорохи, и тени... И сама жизнь начинает казаться какой-то загадкой. Хотите, погуляем?..

Я не хотел, я уже снова злился и возмущался, как это она не видит...

— Я?.. Пора бы собственно спать...

— Ну, немножечко!.. Тура два по старой аллее... Там так страшно!

Она подхватила меня под руку и повлекла к двери.

— Позвольте! Шляпу надо...

— Совершенно излишне. У вас целый стог волос... какая там шляпа!

Пошли.

— Ах, как страшно! — шептала Калерия и крепко прижималась к моей руке. — Идем туда, под горку, в старые липы, где баня... Брррр! В бане — черти... оборотни... Ай!

Она вдруг вскрикнула, шарахнулась в сторону и потянула за собой меня.

— Что вы! Это — лягушка.

— Тише: кто-то идет вон там, между деревьями...

— Куст это, куст!

— Держите меня крепче: тогда не так страшно... Говорите что-нибудь!

— Не о чем.

— Тсс! Что это... пищит? Слышите?

— Кошка.

Мы приостановились и прислушались.

— Ах, это — мой Вовка! Проснулся... Есть

просит... Проводите... Скорей!..

Мы повернулись к дому и быстро зашагали по аллее.

— Спокойной ночи! Думайте обо мне! — небрежно кинула Калерия и, выдернув свою руку, быстро вбежала по ступенькам крыльца и пропала.

«Сумасшедшая или просто... дрянь» — думал я, возвращаясь к себе в беседку. А когда разделся и лег, то вспомнил, что забыл проститься с Зоей.

— Милая! Святая моя! Спокойной ночи!.. Вскочил с дивана, поцеловал портрет и вернулся. Шелестела за окном листва сирени, и мне всё чудилось что там, за окном, кто-то стоит и смотрит...

IX

Письмо! Письмо!..

От нее! От нее!..

Я бросил обед, убежал в сад и, спрятавшись в кустах, разорвал конверт. «Милый, родной мой! Забыл ты меня. Грех тебе так мучить... А, может быть, ты нездоров? — тогда прости

мой глупый упрек, но я исстрадалась. Мама, глядя на мою печаль, сердится и всё расспрашивает, что случилось. А я ношу втайне печаль. Вчера ночью поплакала. Вот какой ты нехороший! А говорил что»...

Что же это значит? Я написал ей уже два огромных письма.

— Геня, иди! Мы тебя ждем.

— Не ждите!

«Расстраивается наше счастье: мама и слышать не хочет о том, что я осенью снова уеду в Казань на курсы... Может быть, нескоро уже увидимся, а то и никогда»...

— Геннадий!

— Кушайте, Калерия, без меня!

«Напиши, утешь!.. Господи, что-то с нами будет? Папа словно догадывается, что я жду твоего письма: велел всю почту класть к себе на стол...».

Воруют письма папочка с мамочкой. Теперь понятно.

«Не придумаю, что делать... Тоска, тоска, тоска!.. Сильно люблю, целую, часто вижу во сне и благословляю тебя. Твоя Зоя».

— Мама велела приводом!

Я, как вор, спрятал письмо в руке и вышел из кустов злой, что мне мешают, а Калерия подхватила меня под руку и повлекла на террасу.

— Что же это вы, как собака с костью, убежали с письмом в кустики...

— Пустите меня!..

— Не пуццу! Мама велела привести и посадить мальчика на место.

— Оставьте! Не хочу.

Я злобно вырвал руку и пошел быстро вперед.

— Геннадий, вы мне сделали больно... Противный мальчишка!.. Получил письмо от своей курносенькой и думает, что...

— Не ваше дело!

За столом два пустых стула рядом. Ничего не поделаешь: сажусь рядом с Калерией. Смотрю только в тарелку. Избегаю прикосновений, но это не всегда удается. Пролил на скатерть соус. Калерия раскатилась звонким хохотом:

— Мы словно супруги в счастливом браке!

— Избави, Господи! — ворчу, косясь на соседку.

— Ему еще рано об этом думать, — одобряет мама, видимо рассердившаяся на неуместное сравнение. Это задевает мое самолюбие и тайное сознание себя женихом Зои.

— Думать, мама, никому и ни о чем не возбраняется.

Калерия посмотрела на меня прищуренным взглядом и улыбнулась — одобрила. Уронила нож.

— Поднимите, пожалуйста!

Наклоняюсь, она гладит меня по голове теплой рукою:

— Пай-мальчик! Мерси!

Это и злит и рождает приятность. Всё-таки она очень красивая... Смотрю боком на Калерию... Какие губы... румянит она их, что ли? Оригинальный цвет кожи и... усики на приподнятой губе... Как это странно... Бывают персики розово-желтые, с пушком... Какие волосы красивые: черные, как смола, или бледно-желтые, отливающие золотом?. Нет, золотистые — лучше!.. Заметила... Состроила гримасу и высунула кончик языка... Воображает, что залюбовался... Отвернулся, смотрю в окно через головы сидящих напротив:

— Что вы там увидели?

— Ничего особенного.

— От кого, Геня, письмо?

— От товарища, мама.

Опять хохочет.

— Завидую вашей веселости.

— А я вашему товарищу!

— А что такое, почему завидует Калерия?

— Об этом вы, мама, спросите у нее.

— Я?.. потому что у меня нет подруги и не с кем переписываться...

Вывертливая, как налим. Никак не ухватишь. Смотрит и ядовито ухмыляется, вздрагивая верхней губой... У, животное! Красивое животное.

— Вовка плачет!..

Вылезает из-за стола и толкает ногу, — я уверен, что нарочно: производит опыты... Ушла. Мама качает головой:

— Вовка у нее скоро умрет, а ей всё смешно.

После обеда я ушел в свою келью, запер дверь и принялся снова за письмо; перечитывал, повторял: «милый, родной мой!», всматривался в строки, в буквы, в бумагу, словно

хотел прочесть еще что-то ненаписанное, тайное, что скрывалось от глаз... «Вчера ночью поплакала»... Вчера! Сколько времени шло письмо?.. Когда послано?.. Раскидываю умом. Плакала в ту самую ночь, когда здесь, на диване, сидела эта... с усами! Верю в предчувствие. В ту ночь был такой момент, когда я подумал, кто красивее: Зоя или эта... с усами?.. Какой я негодяй! Ты — святая, ты чистая, как цветок после дождя, а эта... с усами — она только красивое животное, пожалуй, умное, хитрое, но всё-таки животное. Как я, негодяй, смел вас сравнивать? Прости меня, прости! Несколько раз я вздрагивал от взглядов этого животного и в душе моей становилось грязно... Ты прости мне это! Я не виноват. Ты добрая, как светлый ангел-хранитель, а я... я уже испорчен грязными мыслями. При тебе нет их, не будет, клянусь всей жизнью! — Я лег на диван и, уткнувшись лицом в подушку, заплакал тихими покаянными слезами... Потом почувствовал облегчение. Она простила... Стал писать письмо...

«Голубь, серебряный голубь с золотыми крыльями! Я ни на минуту не забывал тебя:

ты со мной и днем, и ночью. Я пишу тебе уже третье письмо. Негодяи воруют мои письма. Кто они — не знаю, но если и на этот раз письмо попадет им в руки, то пусть они знают, что мы связаны жизнями так крепко, что никто не может украсть нашу любовь. Скверно, что твои папа и мама мешают тебе учиться, а нам любить и видеть друг друга. Но ведь с этим мы не можем мириться? Да? Мы не дети: тебе — семнадцать, а мне осенью будет двадцать один. У нас — своя жизнь... Осенью плюнь на всё и приезжай в Казань. Чтобы оградить тебя от всяких насилий — повенчаемся и конец...».

Я соскочил со стула и, поглаживая себя по закинутым назад волосам, стал ходить крупными шагами по комнате... Я был серьезен; мне казалось, что я уже женат, имею заботы и обязательства охранять любимое существо от обид, и это рождало во мне гордость и самоуважение.

— Моя жена — прекрасный человек!..

Я перебирал в памяти и обдумывал разные вопросы, связанные с превращением холостого в женатого и ходил, ходил по комнате...

Много забот и хлопот налегло вдруг мне на плечи. Придется всё-таки прямо сказать матери: женюсь и кончено!

— Мамочка, было бы тебе известно, что осенью — свадьба...

— Чья?

— Моя-с!

— Ты с ума сошел?!

— Пока еще нет. И т. д.

Подсел к столу, продолжаю письмо:

«О подвенечных платьях, вуалях и всякой ерунде — не заботься. Мы с тобой пойдем в какую-нибудь церковь вечером и скажем попу: так и так, окрутите, батюшка, без особенных церемоний; а упрется, так споем ему: „Нас не в церкви венчали“».

— Правильно!

Соскочил со стула, довольный своей решимостью, и запел:

*Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами,
Нам не пели ни песен, ни обрядов
венчальных.*

И вдруг в саду — продолжение: Калерия поет:

*Венчала нас полночь средь темно-
го бора,
Свидетели были земля с небеса-
ми...*

А хороший у нее голос! Она пела, а я слушал. Замолчала. Она воображает, что я буду продолжать. Ужасно хитрая баба. Лезет... Не знает, что придумать... Латинским хочу заниматься!.. На кой тебе чорт — латинский?.. «Созреть желаю»... Учи, долби себе! Показать, объяснить, что понадобится, я не откажусь, но чтобы сидеть с тобой каждый день и смотреть в латинскую грамматику — слуга покорный!.. Не на такого напала. «Созревай» одна, а с меня достаточно: девять лет долбил... Опять запела... Бархатный голос... Вот шла бы на сцену... в оперетку... А то — латинский!..

Вечером велел запрещь лошадь в бегунки: собираюсь отвезти письмо на почту, — до нее восемь верст. Подали лошадь, усаживаюсь, взял в руки возжи. Калерия выходит на крыльцо и идет к бегункам:

— Я тоже еду.

— Во-первых, вдвоем на бегунках неудобно; во-вторых, зачем ехать двоим, когда мож-

но поручить все дела одному?..

— Прекрасно. Оставайтесь, а я исполню ваше поручение. Давайте письмо!

Махнула рукой, чтобы я слезал, а сама приготовилась усесться.

— Ну, слезайте!

— Я должен сам...

— Не доверяете? В таком случае и я вам не доверяю...

Устраивается позади меня.

— Я села, можете ехать!..

Я злобно стегнул лошадь, она разом рванулась с места, и Калерия скатилась на траву.

— Дурак! — презрительно бросила она, поднимаясь на ноги, и пошла к крыльцу. А я еще сильнее ударил лошадь и уехал...

Х

Умер Вовочка!..

В большом зале, в переднем углу, под образами, лежал на ломберном столике замолчавший, наконец, Вовочка, и в старом доме как-то сразу стало тихо-тихо... Весь в белом, в кружевном капорчике с голубыми бантиками, он

походил на сломанную игрушку, большую куклу, закрывшую глазки. Как маленький старичок, он сморщил и нахмурил свое личико и втянул посиневшие губки в беззубый рот. Никто не плачет, только говорят шопотом и ходят на цыпочках. Кротко мерцает лампадка и ласково смотрит на Вовочку Спаситель, благословляющий маленького гостя земли в далекий неведомый путь. Пришел, поплакал и ушел. Зачем?

Раскрыты окна. Солнышко золотит крашенный пол зала. Поют в саду птицы. Золотисто-розовый вечер не зовет к радостям жизни: всё тянет в угрюмый большой зал к Вовочке, всё тянет смотреть в это желтое восковое личико и понять что-то тайное в его выражении. Кто-то идет сюда мягкими шагами... Отхожу в задний угол, за рояль, и стою здесь, понуря голову. Тонкая, стройная Калерия, в черном платье, с опущенными руками, медленно подходит к Вовочке, не замечая моего присутствия... Остановилась, наклонилась над ребенком, поправила кружевца и выпрямилась, застыла с опущенной головой...

— Прости меня, Вовочка! — прошептала

она, и белый платок мелькнул в ее руке и закрыл лицо... Плачет тихо, беззвучно, только вздрагиванием плеч...

— Я скверная...

Жалко, бесконечно жалко эту тихую страдающую красивую женщину в черном, раньше гордую своей красотой, а теперь кроткую, шопотом умоляющую маленького мертвого человека о прощении, втихомолку страдающую и плачущую беззвучными слезами... Как-то стыдно быть теперь в зале и смотреть... Калерия опустилась на колени, а я тихо, незаметно вышел на цыпочках из зала... Пусть побудет наедине с Вовочкой и поделится с ним своими тайнами... Какая она несчастная! Никто ее, видимо, не любит и ей тоже некого любить... Кто знает, что прячется в душе этой отталкивающей и притягивающей, женщины?.. Быть может, она совсем не такая дурная, как о ней думают...

Ничто не изменилось в привычках нашей жизни со смертью Вовочки; всё шло обычным порядком. Только Калерия не появлялась за столом во время чая, завтрака и обеда. И я как-то чувствовал ее отсутствие и замечал

прежде всего пустой стул рядом. Как-то смутно беспокоил меня этот пустой стул и невольно заставлял думать о Калерии.

— Позовите Калерию Владимировну! — сказала однажды мама горничной, и я вздрогнул.

— Они у Вовочки, — прошептала горничная и не пошла.

— Есть всё-таки необходимо — сказал я мимоходом.

— Они не приказывают их беспокоить, когда у Вовочки.

Мама вздохнула и сказала:

— Что имеем не храним, а потерявши, плачем. Когда жив был, так — не надо, а теперь...

— Как это жестоко, мама, говорить так!..

Все тетки поддержали маму: начали торопливо шопотом перечислять недостатки и грехи Калерии. «Эх, вы, галки!» — подумал я, и мне захотелось наговорить им дерзких, обидных слов и заступиться за Калерию.

— Достойным и добродетельным теперь следует помолчать и предоставить суд над матерью Богу и мертвому сыну!..

— Защитник какой!.. Присяжный поверен-

ный.

— Должно быть, по любовным делам... — в два голоса затараторили тетки. И это было так противно, что я встал из-за стола и, резко двинув стулом, ушел из столовой.

На второй день вечером ко мне в беседку вошла Калерия. Лицо у нее было строгое, глаза как-то тускло мерцали под полуопущенными ресницами и во всей фигуре, тонкой и гибкой, как и в походке, была утомленная покорность и тихая печаль пред свершившимся...

— Геня! — сказала она просто и ласково, — могу я попросить вас...

— Конечно, Калерия!..

— Мне хочется похоронить ребенка в ограде. Надо переговорить об этом с батюшкой. Мне тяжело самой... Может быть, вас не затруднит...

— Конечно!.. Сейчас поеду и...

Калерия опустилась на диван и, закрывшись платком, вдруг заплакала.

— Прости... Мне так тяжело... И некому сказать об этом!..

Я смотрел на нее и думал: так недавно еще ты сидела на этом самом диване, весело смея-

лась, играя красным шарфом и сверкая в темноте черными бесстыдными глазами, а теперь сидишь и беспомощно, как маленькая наказанная шалунья-девочка, плачешь... Я тихо приблизился к ней и, положив руку на ее склоненную спину, сказал:

— Бедная!..

— Поезжай! — прошептала она, отняв от глаз платок, и неподвижно устремила взор в пространство.

— Теперь — одна! — прошептала она и, встав с места, постояла на пороге.

— Что-то еще я хотела сказать тебе... Забыла... Поезжай!

И вышла, потирая лоб тонкими пальцами.

Я сам запряг лошадь и поехал. И всю дорогу думал о Калерии, о Вовочке, о смерти и о жизни... Летние сумерки на полях, поросших ржаными всходами, безлюдных, безкрайных, во все стороны бегущих до синих и розовых туманов вечернего неба, пробуждали в душе нежную печаль и желание быть добрым и кротким... Под этим настроением я приехал и говорил с бабушкой, и в первый раз в жизни, не любя попов принципиально, почувствовал

в нем доброго, милого старичка, понимающего человеческое горе и желающего утишать человеческие скорби...

Возвратился я ночью. Было страшно в темном море полей, пугали темные колыхающиеся пятна редких встречных телег, пугали шумы то и дело срывавшихся из придорожных трав перепелов, пугали верстовые столбы... Всё стоял перед глазами маленький гробик и желтое восковое личико Вовочки, окруженное тремя горящими восковыми свечками... И радостно стало и покойно на душе, когда впереди вздрогнули огни родной усадьбы и потянулись плетни огородов... А когда вдали залаяла Джальма, я почувствовал к себе презрение. «Какой ты, однако, трус!» — думал я про себя, распрягая лошадь. — «Стыдно, братец!..» — Иду мимо окон зала: всё та же сжимающая горло скорбь... Белый гробик, полевые цветы, огоньки восковых свеч и окаменевшая черная фигура с молчаливой скорбью на прекрасном лице...

Похоронили Вовочку около самой церкви, между тремя старыми наклонившимися березами. Мы все ушли, а Калерия осталась и дол-

го не возвращалась в усадьбу. Ей забыли оставить лошадь; она вернулась пешком и заперлась в своей комнате. Было тоскливо за вечерним чаем с тетками и не хотелось говорить. Я бродил по молчаливому залу, где всё стояло уже на своем месте, прислушивался к тихому покашливанию прячущейся Калерии. Несколько раз я прошел мимо ее окна и смотрел на опущенную занавеску. Вечером в этот день привезли мне письмо с почты:

«Милый, родной мой! Я безумно счастлива: наконец-то, я получила от тебя весточку. Словно чувствовало мое сердце, что есть письмо: сама поехала в волостное правление и, действительно, получила. Прости за упрёки!.. Господи, как прыгает у меня сердце! Это от того, что ты любишь... Да, я должна ехать в Казань, я не могу жить с тобой в разлуке... И если папа с мамой будет против... я убегу из дому. Будь, что будет!.. Скоро напишу тебе длинное-предлинное письмо, а теперь нельзя: сижу в правлении и тороплюсь: сейчас мое письмо поедет к тебе. Не тоскуй же, чаще вспоминай меня и пиши! Видишь ли ты меня во сне? Целую, целую и благословляю моего...

Догадайся сам!.. Твоя навсегда З.».

Не перечитывал я на этот раз письма и не почувствовал умиления. Почему-то радость письма мне показалась теперь неподходящей. словно на похоронах кто-то запел веселую песню... Встали в воображении два образа: светлый, радостный, со счастливою улыбкой на лице, весь в золоте бледно-желтых волос, и другой — печальный, с молчаливой скорбью в черных очах, с склоненной головою и опущенными руками, весь в черном сиянии волнистых, непослушных волос...

Любовь и жалость... Где любовь и где жалость? Почему я смотрю на портрет белой девушки, а думаю о черной женщине?.. Неужели... Нет, нет!.. Не может этого быть, не может быть!.. Я люблю тебя, Зоя, люблю, люблю!..

Схватываю портрет и смотрю на него долго и пристально...

Почему ты так грустно улыбаешься, милая белая девушка?.. Ведь ничего еще не случилось. Я люблю тебя! Только тебя... Клянусь тебе в этом... Верь мне!

Умер Вовочка — и что-то оборвалось в нашей общей жизни. На этом маленьком человеке, как на тоненькой ниточке, держалось в старом доме всё внешнее благополучие во взаимоотношениях его обитателей. Оборвалась ниточка и всё сразу рассыпалось. Старый дом лицом к лицу очутился с новой, чуждой и враждебной ему женщиной... Вовочка унес с собою всё, что еще примиряло старый дом с Калерией. Раньше была мать. Скверная, но мать. Теперь она — только женщина, оскорбляющая установленные здесь привычки и традиции. Все тетки зашипели, как змеи, и начали жалить.

— Малабарская вдова!..

— Замужняя невеста...

— Г-жа «Милости просим!»

— Почему она не разведется с законным мужем? Опять бы девицей стала...

— Не желает на себя вину принимать... Сама сблудила, а желает эту пакость на спину мужа взвалить...

— Вовочка-то у ней не от мужа...

— Приблудный!

Такие разговоры велись вполголоса в моем присутствии за семейным столом, когда не было Калерии. Шептались, посмеивались и моментально смолкали, когда появлялась Калерия.

— Тише!! Идет г-жа «Милости просим».

«Ехидны!» — думал я о тетках и, на зло им, проявлял к Калерии подчеркнутую внимательность. Мама заражалась тем же настроением. Она хмурилась на Калерию и подозрительно посматривала в мою сторону. Что-то подозревала она и говорила, как Пифия:

— Тебе надо, Геня, сбрить усы.

— Почему?

— Рано еще... Усы в свое время...

— И на своем месте! — добавила тетка помоложе, а тетка постарше зло ухмылялась и, поднимая глаза к небу, шептала:

— Бог шельму метит.

— Не понимаю, тетушка!

— Подумай — поймешь!.. У нас усы не вырастут. Господь не допустит.

Я вскакивал из-за стола.

— А уши уже выросли!..

— Как же это понять?

— А про какую шельму вы, тетушка, говорите? Как это понять?

— Не понял?

— Отлично понял... и прошу, при мне, по крайней мере, не издеваться над Калерией. Одни — сколько душе угодно, а при мне прошу...

— Скажите, какой присяжный поверенный! Смотри, брат, что-то ты очень...

— Не ваше дело!

— Не забывай, что не мы, а она у нас живет...

...Зачем она остается в этом доме, где к ней так враждебны? Почему она не порвет с этими ненавидящими ее людьми?.. Неужели она не замечает и не чувствует всей унизительности такого положения в доме? Странно: как будто бы, неглупая женщина, а вот поди!

А унижения становились всё более резкими и частыми. Я страдал за Калерию... Вернее, не за Калерию, а за человека вообще... Странно и обидно. Что, однако, удерживает ее в этом догнивающем доме? У нее, по словам мамы, есть хорошие средства, есть полная воля и никаких забот и обязанностей. Как птица:

вспорхнула и полетела, куда захотела, за леса, за море, за синие горы туманных далей... Эх, Калерия!..

— Тебе письмо.

От кого? Незнакомая рука... А-а, от отца Зои! В чем дело?

«Сим уведомляю вас, милостивый государь, что документ, в котором»...

— Что за чепуха! Какой документ?

...«в котором вы делаете гнусное предложение моей дочери — бежать из родительского дома и вступить в незаконное сожитие с вами, милостивый государь»...

— Фу, какая гадость!..

...«представлен мною Г. Начальнику губернии, а засвидетельствованная нотариальным порядком копия с него — Его Преосвященству Архиепископу Симбирскому. При сем имею честь присовокупить, что если вы»...

Я сидел за письменным столом и хохотал. Однако, решительный человек. Что ему ответить? Должно быть, у него скопилось много документов, в которых я, в теплые звездные ночи, когда тоска по любимой девушке разгоралась особенно ярко, изливал перед ней в

стихах и прозе восторги своих чувств. «Документы»! Красиво сказано. Взял в руки Зоин портрет. Тускло и печально смотрел он на меня из рамы, обвитой увядшими васильками. Скоро вянут васильки! Вынул из ящика Зоины письма. Вот они, розовые и голубые «документы»! Все начинаются одинаково:

«Милый, родной мой»... И кончаются благословениями. Даже г. начальник губернии и преосвященный не могли бы найти в них ничего предосудительного.

— Барин! Письмецо вам...

— От кого?.. Вот повезло на письма...

— А уж сами увидите...

Я подошел к окну и взял из руки горничной небрежно свернутый клочок бумаги. Торопливый некрасивый почерк:

«Через три дня я уезжаю. Сегодня — девятый день Вовочке. Не пойдешь ли ты со мной на могилку отслужить по нем панихиду? Одной скучно. Я уже пошла. Если хочешь, догонишь, я пойду тихо и посижу за околицей у мельницы. Калерия».

Я бросил Зоины письма в ящик, захватил шляпу и почти выбежал из беседки. Почему я

так обрадовался и почему не иду обычным путем: мимо старого дома, в ворота, а лезу через забор сада? Там увидят галки тетки и поднимут в своем гнезде обычный галочий содом...

Вон она, черная и стройная, стоит как маленькая изящная фигурка из черного мрамора, на горе, под крыльями мельницы... Я покрутил в воздухе шляпой... Заметила, махнула красным шарфом и тихо пошла вперед... Почему вздрогнуло сердце, а на ногах словно выросли крылья. Вот уже два дня я не видал, Калерия, твоих странных печальных глаз, в которых грех борется со святостью... Почему иногда ночью, когда птица качнет под раскрытым окном моей беседки ветку сирени, я весь встряхиваюсь и долго смотрю в зеленые сумерки освещенной светом лампы листвы за окном? Не тебя ли жду я, Калерия, в своей одинокой беседке, обманутый птицей?.. Я думаю о далекой и вдруг, с тайной надеждою, начинаю ждать близкую...

— Калерия! подожди же меня!..

Я задыхаюсь, торопясь на гору...

Обернулась, махнула красным шарфом и

уходит... Скрылась за горою. Догнал...

— Как ты бежишь!

— Почему ты так тяжело дышишь?

— Я бежал в гору...

— Сядь на траву и отдохни. Вот здесь, на травке! А я буду собирать васильки для Вовочки...

Она пошла по меже, меж двух зеленых стен ржаного поля, и рвала цветы, то скрывалась, то вновь появлялась, черная, с красной чалмой из толкового шарфа на голове. Я лежал на траве, курил и ловил взором моменты, когда ярко вспыхивала красная голова Калерии над волнующимся зеленым морем.

— Идем, я отдохнул!

Она вышла на дорогу, с васильками и пунцовыми гвоздиками; поровнявшись со мной, пошла рядом и на ходу плела венки. Ничего не говорила и не смотрела на меня.

— Дай, я понесу цветы, они тебе мешают.

— На!

Она протянула цветы и мельком взглянула мне в глаза тепло и ласково... слегка улыбнулась... Давно она не улыбалась; я успел забыть, как она улыбается. И теперь только я

увидал, какая это удивительная сложная улыбка, озаряющая всё лицо красивой печалью и властной гордостью прячущейся души. Я обрадовался и испугался этой мимолетной улыбки.

— Хочешь, пойдем под руку? — сказал я.

— Нет, я буду плести венок. Сегодня я в последний раз побываю в гостях у Вовочки. Может-быть, никогда уже не приду...

— Почему?

— Послезавтра я уеду и никогда не вернусь к этим жестким людям. От них перестаешь любить жизнь...

Мы тихо, очень тихо шли и говорили о людях старого дома, и тут я понял, почему она не сразу порвала с ними.

— Отец умер рано — мне было два-три года. Мать, как и я, не любила маленьких детей. Не помню, чтобы она когда-нибудь ласкала меня. С девяти лет меня отдали в институт, в другой город, и когда я вернулась уже взрослой девушкой домой — я нашла вместо матери совершенно чужую женщину... Когда мне было лет семь-восемь, у нас гостила твоя мама. Она по целым дням возилась со мною: иг-

рала, гуляла, ласкала и рассказывала сказки про Бабу-Ягу, про зверей и про Аленушку... Так с той поры и хранилось в моей душе воспоминание о доброй тете, которая меня крепко целовала в детстве. И теперь, когда я страстно захотела погреть душу теплотой и лаской близкого человека, я вспомнила про добрую тетю и, сломя голову, помчалась сюда...

Калерия смолкла и вздохнула.

— Да, ты ошиблась, — прошептал я, — тебе надо уехать...

— Тебе не будет жаль меня?

И опять поднялись на меня печальные глаза, и опять та же улыбка промелькнула на лице и заставила вздрогнуть мою душу...

— Будет жаль.

— Правда?

— Да, правда.

— Скажи мне правду: я перестала тебе не нравиться?

— Да. Ты...

— Ну! Почему ты замолчал?

— Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я люблю тебя...

— Нет, нет... Этого не надо, не надо... Не будем говорить об этом...

Я долго шел с опущенной головой и боялся смотреть на Калерию.

— Не грусти! О чем? После завтра я уеду, и ты быстро забудешь про нашу случайную встречу и про этот... разговор в поле... И будешь любить ту милую девушку, которая стоит у тебя на письменном столе... А я... я — случайный эпизод на твоём пути... Обо мне забудь. Да? Так?

— Нет, Калерия...

— Я, голубчик, скверная... Ты не должен меня любить...

— Нет, ты — хорошая... Я не сразу понял это... А теперь... Ах, зачем ты приезжала сюда! Лучше бы нам не встречаться...

— Не будем пока говорить об этом. Я тебя очень прошу об этом.

И мы шли по тропинке около ржи, друг за другом, почти молча... Я — позади, с опущенной головой. Иногда я так близко настигал ее, что у меня перед глазами появлялся подол юбки и мелькали тонкие каблучки ее лакированных туфель. Тогда я задерживал шаг и

поднимал с земли глаза; ярко ослеплял их красный шелковый шарф с спущенными за спину концами, и ветерок наносил на меня какой-то особенный аромат, тонкий и опьяняющий, который, казалось, шел, как и я, по следам этой странной женщины...

Когда батюшка облекся в старенькую ризу, и дьячок, раздув угли в кадиле, подал его священнику, а сам начал зажигать свечи, я незаметно вышел за ограду и, оставшись здесь, стал смотреть через решетку на Калерию... Кротким тенорком взывал и пел батюшка; иногда к нему подмешивался угрюмый голос дьячка; синеватый дымок крутился из кадила и, плавая в воздухе, таял в синеве утра. Калерия стояла недвижно, как черное изваяние, над свежей могилкой и без слез, с упреком, смотрела на маленький холмик земли, скрывший Вовочку... Только один раз она посмотрела вокруг и снова застыла... Когда всё кончилось и батюшка с дьячком ушли, Калерия села около холмика и стала наряжать его цветами; что-то шептала она губами, скорбно улыбалась земле; потом поцеловала ее и быстро пошла к воротам.

— Я думала, ты ушел от меня...

Оглянулась, вытерла слезки, несколько раз кивнула могилке головой и сказала:

— Теперь пойдём... Дай руку, — я устала...

XII

Последний день! Последний день!..

Завтра тебя не будет.

Ах, если бы я раньше встретил тебя на пути своей жизни!.. Зачем ты поздно пришла и рано уходишь? Зачем я грубо оттолкнул тебя, когда ты шла навстречу, когда черные глаза твои, и черные волосы твои, и тонкие кисти рук твоих протягивались ко мне и просили отклика? Ах, я был слепой!.. Сердце смутно угадывало, что ты, только ты, а не другая, будешь владеть моей душой. Если бы знать! Когда ты, вот в такую же темную звездную ночь, вдруг, как сказочная греза, появилась за окном в лиственной чаще сирени, сколько ласки и призыва трепетало в твоих черных глазах! И когда ты сидела вот на этом диване и спрашивала, красива ли ты, — разве ты не звала любить тебя?.. Слепой, слепой...

Последний день!.. Нет, и день этот прошел уже... Тихо плывет ночь... Завтра ее не будет... У меня останется только портрет, который она обещала дать мне на память о нашей случайной встрече и коротеньком знакомстве...

Не могу спать в эту последнюю ночь. Тихая, синяя, она полна звездных мерцаний, таинственных шопотов и осторожных вздохов земли, цветов и деревьев... Ах, беспокойные птицы за окном в сирени! — вы всё пугаете мое сердце, обливая его горячей радостью надежды. Обманываете вы меня, птицы: не придет!.. Нет сил оставаться в одинокой беседке и прислушиваться к затаенным трепетам темной звездной ночи. Пойду в сад, буду до рассвета бродить в синем сумраке глубоких аллей...

Еще не спят в старом доме: как глаза огромного темного чудовища в лесу, горят в саду два окна желтым светом. Это ее окна. Там — Калерия... Если бы подойти и тихо постучать в окно, позвать ее в сад и сказать:

— Калерия, я люблю тебя и не могу жить без тебя... Что мне делать?

И ноги тянут меня к окну. Я только пройду

по дорожке мимо окна... Там говорят... Ее голос. Почему он дрожит и так обрывается? Теперь говорит мама... А теперь — мама и тетка... Как мне стыдно и больно, что так неласково говорят с Калерией мои родные! Она уезжает, оставьте ее в покое!..

— Ради Бога, оставьте меня! — дрожит прекрасный голос...

Я быстро отхожу прочь. Лучше ничего не знать и не слышать... Пойдем, Джальма, в сад! Здесь так тихо и так хорошо думать о Калерии, о ее черных глазах, ее печальной улыбке, ее красивой голове, которой тяжело от огромного узла непослушных, сверкающих черным сиянием волос... Пойдем, Джальма, дальше, под старые липы, чтобы не было видно огней в старом доме... Что мы будем с тобой делать, Джальма, завтра, когда уедет Калерия? Эх, Джальма! Сколько раз она просилась с нами на охоту, и мы ей отказывали... Должно быть, раскрыли окна: даже сюда долетел пропитанный злобою, визгливый голос тетки...

Мы ушли в самый дальний угол сада, под горку, к заросшему бурьяном оврагу, и долго

сидели здесь в глубоком молчании. Я смотрел на вздрагивающие звезды и укорял кого-то в вышине: «Зачем Ты заставляешь любить и страдать? Зачем смеешься над нашей любовью»? Нет и не будет ответа... Плывет в загадочном молчании ночь над землей и пристально смотрит на землю дрожащими звездами... Эх, лучше бы ты не приезжала сюда, Калерия... Что мне делать? Что мне делать?

Я медленно побрел по аллее. Джальма побежала впереди, белым, сверкающим пятном мелькая в темноте меж деревьями... Приостановилась и заворчала... Испугала меня...

— Вперед!

Джальма побежала и пропала в темноте. Не лает Джальма: кто-нибудь «свой»... Не ускоряя шага, иду к беседке... Кто-то сидит на крылечке. Джальма лежит на траве около. Должно быть, мама пришла опять «объясняться» со мной... Ах, как надоели эти ненужные «объяснения»! Они только еще более запутывают всех нас в обидах и непонимании друг друга...

— Ты, мама?

Не отвечает. Кажется, плачет... Боже мой,

да это...

— Ты, Калерия? Плачешь?

— Я больше не пойду туда... Не могу!. Я до утра просижу здесь, у тебя...

— Что случилось?..

— Всё равно... Не спрашивай!.. Иди спать... Я буду здесь до утра. Когда взойдет солнце, — поеду... Бог с ними!..

И опять, как в тот день, когда она просила меня похлопотать у батюшки за Вовочку, я положил на ее склоненную спину свою руку и прошептал:

— Бедная!

И мне было бесконечно жаль эту тихо плачущую женщину. Но теперь в чувство жалости властно врвалось и побеждало его новое.

— Милая, милая!.. Я люблю тебя, Калерия, и не могу жить без тебя...

— Погоди, не целуй!.. У меня мокрые щеки...

— Не стоит плакать, Калерия!.. Бедная, голубка моя... Я никому не дам тебя обидеть... Мне казалось, что ты сперва... любила меня. Скажи: правда это или я ошибался и этого ни-

когда не было?..

— Погоди, Геня... Я скажу... всё... Дай мне немного успокоиться... Так обидно, так обидно... Что я им сделала?..

— Пойдем ко мне... Посиди у меня в последний раз...

— Хорошо... Ты иди и зажги огонь... Я немного посижу здесь одна и всё пройдет... И тогда приду...

— Ты меня не обманешь?

— Какой ты смешной!.. Нет, не обману...

— Я тебе верю...

Словно в лихорадке, вбежал я в беседку и, натыкаясь в темноте на мебель, с трудом отыскал спички и лампу. Потом я начал наскоро прибирать в комнате, на столе. На мгновение остановился перед портретом Зои: вместо прежней нежности к нему, теперь шевельнулась неприязнь. Я шумно выдвинул ящик письменного стола и бросил туда портрет.

— Ну вот... видишь: не обманула. Хорошо у тебя, тихо...

— Какая ты красивая!..

— И ты разглядел?.. А помнишь тогда...

— Я был слеп, Калерия.

— И, может быть, это было лучше для нас обоих...

— Нет, нет...

— Оставь мои руки!..

— Они безумно красивы!..

— Сто раз слышала я эту фразу... Как мало в жизни нового! Сядем и давай говорить... о чем хочешь... искренно... не боясь слов... А где же портрет той милой девушки? Почему он исчез с твоего стола? — спросила вдруг Калерия и остановила на моем лице пристальный взгляд. Я опустил глаза.

— Это была ошибка... Я люблю тебя, только тебя, Калерия!..

Калерия вздохнула, укоризненно покачала головой и спросила:

— Теперь ты поставишь мой портрет?

— Да... Тот, который ты мне обещала...

— И настанет такой час, когда ты вот так же уберешь мой портрет и скажешь, что это была ошибка. И поставишь третий... Потом четвертый...

— Никогда, Калерия! Это — на всю жизнь... Клянусь тебе...

— Милый мальчик... Обманывайся и верь, пока не разучишься...

Калерия погладила мои волосы и уселась на диван. От этого прикосновения кровь бросилась к сердцу, к голове, к лицу, и радость полилась по всему телу... Я вдруг рванулся с места и, опустившись на колени около Калерии, разрыдался и, покрывая поцелуями ее ноги, стал в восторженном исступлении шептать о своей любви и страдании...

— Я не могу, пойми, что не могу тебя потерять... Ты мне дороже всех... дороже жизни!.. Без тебя мне не нужна жизнь... Ты не хочешь понять, Калерия... Если бы ты знала, как я несчастен... Лучше не жить...

Я опустил голову ей на колени и стал тихо всхлипывать. А она ласкала мои волосы и ласково, с испугом и слезами в голосе, тихо говорила:

— Перестань... успокойся... Ты славный... Ты добрый и такой умница... Будь мужчиной!.. Я не люблю, когда плачут мужчины... Будь сильным и гордым, каким я тебя встретила...

— Ты не любишь меня... Нет, не любишь...

— Милый! я не умею любить так, как ты хочешь... Только раз в жизни я жестоко обманулась в любви и теперь... не умею, мой чистый, честный, хороший!.. Ты мне нравишься... очень... может быть, я, ну, как тебе сказать...

— Правду, правду! — шептал я, не поднимая головы.

— Может быть, я могла бы тебя любить так, как я умею... Но тебе надо другое... Ведь тебе мало моих глаз, моих волос, рук, моих губ... А я больше не сумею дать тебе... Я... моя любовь, как подснежник: быстро пропадает... Бери себе твою Маргариту... А я... я...

— Это была ошибка!.. Клянусь, только ошибка...

— А я красивая... но неверная... «Кармен»... Понял? Да?

— И всё-таки я люблю тебя, только тебя... Какая бы ты ни была...

— Я пустая... гадкая... неумная... Ты присмотришься к моей красоте, и ничего у тебя не останется... Ты моложе меня...

Заворчала вдруг Джальма и уставилась на дверь... Мы стихли, но я не мог поднять голо-

вы с колен Калерии... Открылась дверь.

— Подлая тварь! Убирайся вон! Пощади мальчика!

— Мать! Уходи вон! Не смей ее оскорблять! — закричал я, поднявшись на ноги.

— Мерзкая, развратная...

— Молчи!

— Гадина! — задыхаясь, прохрипела мать и, выйдя за дверь, громко сказала:

— Я позову кучера, чтобы он вытащил тебя за волосы...

— Ах, вы вот как! Хорошо... Идите...

Я схватил со стены ружье и дрожащими руками стал вкладывать в него патроны.

Калерия захохотала, вскочила с дивана и, приблизившись, обвила руками мою шею сзади: крепко поцеловала в щеку и шепнула на ухо:

— Да, меня так еще не любили... На, целуй мерзкую, развратную гадину... в глаза, в губы! во что хочешь... Ах, какой ты красивый!.. Скоро рассвет... Посмотри в окно: уже вздрагивает небо и потухают звезды... Целуй!..

.....

Розовым полымем загоралось небо на во-

стоке. Проснулись в саду птицы и, попискивая, стали покачивать под окном ветки сирени. Предутренней прохладой тянуло из окна. Было странно тихо, словно пробуждающийся день боялся еще уходящей ночи и осторожно крался по мягкой росистой траве и сыроватым земляным дорожкам, приглядывался и прислушивался...

— Пора... Занимается утро.

— Милая, милая!.. Как ты красива!.. Не могу оторваться от твоих затуманенных глаз...

— Опять слезы?.. Ты уронил одну слезку мне на плечо... Горячо и щекотно... У, какой... бяка!.. Пора, пора... Сказка кончилась.

— Ты не поедешь... сегодня.

— Не могу, голубчик.

— Нет, нет... Не поедешь. Теперь ты... моя ты! Не отдам!.. Никому...

— Я, голубчик, не могу оставаться здесь ни одного дня... Ты это и сам понимаешь... Я подарила бы тебе еще несколько дней жизни... своей, а ты мне — своей, но... ведь это невозможно...

— Я хочу отдать тебе всю свою жизнь и душу отдать, а ты...

— Смешной... Мальчик... У меня нет души, чтобы обменяться с тобой... А жизнь... Нельзя брать чужую жизнь, когда не знаешь часто, что делать со своей...

— Не любишь ты меня!..

— Как умею... Я тебе говорила... Бери, какая есть...

— Калерия, ради Бога прошу — останься еще!.. Я не могу расстаться с тобой... не могу... Ах, ты не понимаешь этого... не хочешь понять...

Я припал к ней на грудь и не хотел оторваться...

— Ты как... ребенок у матери... Я тебе говорю, что осталась бы еще, но где...

— Я поеду с тобой... Ты смеешься?

— Нет... Этого не могу... Нельзя.

— Ты кого-нибудь любишь?

— Меньше, чем тебя... Не делай мне больно.

— Я мог бы убить тебя, Калерия!..

— За что?

— Не знаю... не знаю...

— Негде... Негде спрятать наш грех... Ведь люди это называют грехом...

— Если бы ты... Нет, тебе это покажется смешным...

— Ну, говори!..

— Мне хочется быть с тобой... только с тобой... Я унес бы тебя на край света, на необитаемый остров, и не знаю — куда... Тебе смешно...

— Какой ты милый... Я смеюсь потому, что твои слова пробуждают во мне детскую радость... Я смеюсь от восторга... Говори же!

— В старом бору, на берегу озера, живет лесник. Старик. Он рыбак и охотник... Мы друзья... Ты смеешься?..

— Ах, капризник! Я слушаю, слушаю... И, кажется, немного понимаю... Ты хочешь, чтобы там, в лесу, был наш «Край света»? Да?

— Да. Там есть домик. Старик живет летом в землянке, а мы... Ты не захочешь...

— Хочу! Это мне страшно нравится... Почему ты не веришь?... Тише, тише, ты задумай меня... Ну,пусти же!..

Взошло солнце.

Яркая полоса золотисто-розового света ударила вдруг в окно и вместе с улыбкой заиграла на смуглом лице Калерии...

Где-то далеко играл на свирели деревенский пастух. Калерия прислушалась.

— Как хорошо... Можно снова поверить в счастье...

Обернулась, ласково посмотрела мне в глаза:

— Помнишь, в «Евгении Онегине»?

И, грустно, качая головой, потихоньку пропела:

«Пастух играет... А я-то, я-то»...

XIII

Ярко-зеленый, с белыми, красными, желтыми и голубыми цветочками, лужок. Кругом — старые сосны. Только с одной стороны — голубой просвет: там, под горой — круглое притаившееся озеро, как огромное овальное зеркало в рамке из камышей и кустов: в неподвижных глубинах его — голубое небо, с повисшими в нем белоснежными облачками. С горы — бесконечный синеватый туман далеких лесов... Молодые елки и сосенки, выбежав из старого хмурого бора, словно малые

дети, побежали под гору и, рассыпавшись по склону до самого озера, остановились в изумлении пред ярким светом и далеким горизонтом... На краю бора, под соснами, стоит и смотрит двумя окошечками на озеро новая смолистая избушка лесника, а пониже, на спуске — зеленый холм, с темной обросшей плесенью дверкой и крошечным окошечком. Это — землянка, первоначальное жилище старика, где он скрывался и зимой, и летом, пока не выстроил, наконец, избушки. Бережет он ее... Для кого? Бог его знает. А, может-быть, просто привык к своей землянке и жалеет бросить ее. В землянке — все немудреное его хозяйство; там пахнет овчиной, дымом, печеным хлебом и кислым квасом, а в избушке — все новенькое: золотятся свежеструганной сосной стены, лавки, косяки, скамейки, божница, а на полу — половичок из золотой соломы; печка выбелена, жерло ее прикрыто пестрядинной занавесочкой... На полке — самоварчик и тоже точно сейчас из лавки: блестит, словно золотой. Сизый глиняный рукомоЙник на веревочке. Крылечко с перильцами — на лужок. Нет двора, нет забо-

ра, загородки... Зачем? Всё — Божие и всё — твое... И небеса, и сосны, и вода в озере, и лужок с цветочками, и грибы, и ягоды, и дикая птица, укрывающаяся в лесных трущобах...

Благодарной примиренностью и безмятежным покоем наполняется душа от удивительной близости к земле и к небу. Чисто так и ясно и в голове, и в сердце, и всё думаешь: зачем люди хоронят себя и свои души в каменных мешках, ограждаются стенами, решетками, запорами, занавешиваются от солнца и друг от друга и всю жизнь боятся жизни и портят ее себе и другим?..

Как удивительно приятно, мелодично позванивают здесь колокольчики; пара лошадок, поматывая мордами, стоит под соснами и оглядывается: что там замешкался ямщик, привезший нас с Калерией?

— Тпру, милые лошадки! Ваш ямщик пошел искупаться в озере...

Глубокую благодарность чувствовал я и к лошадам, и к тарантасу, в котором мы приехали, к желтому чемодану и к картонкам Калерии.

— Ба! Джальма! И ты здесь? Ведь я тебе не

позволил!..

Джальма припала к земле и виновато смотрит на меня умными глазами.

— Ну, ладно уж, прощаю... Ах, ты шатущая! Пронюхала-таки...

Ружье и гитара. Гитару захотела Калерия.

— Геня! Как здесь дивно хорошо! — кричит с крылечка Калерия, — что-то напевает и бежит помогать.

— Я сам, сам...

Оглянулась, схватила за шею, поцеловала крепко-крепко и, откинув голову, побежала в бор. Там она пела, и голос ее уносился под горы к сизым туманам далеких лесов:

«Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с свечами»...

Вернулся ямщик. Это — тот же самый мужик, который вез меня домой.

— Разгуляться приехал?..

— Да.

— Эхе-хе... дела, дела! Голосистая... На весь лес беспорядку наделала...

— Никому не говори, что я здесь...

— А что мне... говорить-то?! Не махонь-

кий... Сам понимаешь...

— Матери не говори, что оба здесь слезли...

— Понимаю... Ну, надо ехать... Хороша бабеночка... Прощай! В среду приеду...

— Рано в среду... Приезжай в пятницу или в субботу...

— Она наказала в среду... к вечеру. Она, брат, не похвалит за это...

Зазвенели колокольчики и рассыпались по лесу, словно засмеялись... Куковала где-то кукушка и всё дальше смеялись колокольчики. Кружились над цветами бабочки. Трещали в траве кузнечики. Тихо, как далекое море, шумел старый бор вершинами, а внизу под горой, пела моя Калерия... Неизъяснимая благодать ворвалась в душу, и, упав на траву, я стал смеяться и целовать землю...

— Господи, благодарю Тебя... Как я счастлив... как бесконечно счастлив!.. Джальма, ты не понимаешь отчего эти слезы... Ты лижешь мне руку, думая, что я несчастлив? Дурочка! Я теперь самый счастливый человек на всем свете!..

— Женился, что ли?

— А-а, дедушка! Откуда ты взялся?..

Я отвернулся и отер слезы счастья.

— Я из-под земли... Пришел узнать, не наладить ли вам самоварчик... Сижу в своей норе, как крот, услышал — поет твоя-то и вспомнил: не надо ли чего...

— Хорошую избу ты поставил.

— Ничего... Всю жизнь копил на нее: не доедал, не допивал. Сам-то не наживу, а внучке пойдет. Мне и землянка хороша, перед могилой-то.

— Хорошо здесь!

— Плохо ли! Благодать Божия... Карасиков не сварить ли? Живые, только сегодня пымал... молодуху-то покормить надо. Вишь, как она разливается... Эх, молодое-то дело!.. Всё с песней: и горе, и радость... Когда женился?

— Недавно.

— То-то не слышать было... Господа больше под старость женятся, а вот ты по нашему... Да ведь пока молод — только и погулять с красивенькой бабочкой, а там «бери — не надо»...

— Не стесним мы тебя — в избе-то проживем?

— Что ты! Живите!.. От вас только радость

одна в избе останется... Давно я тебя не видал... Отколь взял жену-то?

— В городе... Нравится?

— Не вредная... Для вас ведь не бабу, а пичужку нужно: не в работу, не в заботу, а чтобы пожарче приголубить да песенку спеть... За охотой-то ходишь, аль бросил? Не до охоты, поди, с молодой бабочкой-то?

— Нет, не бросил, и ружье привез.

— То-то! На озере выводки есть, летные уж. Как заря — все на родину слетаются. А собачка всё та же у тебя.

— Та же. Джальма.

Джальма подняла голову и вопросительно посмотрела сперва на меня, потом на старика, хлопнула по земле хвостом.

— Спать-то вам будет неладно, пойду травки накошу. Что твоя пуховая постелька... У меня в избе чисто: ни блохи, ни таракана, ни какой этой погани... Где у меня коса-то... Покричи меня, коли что. Я недалечко буду. Вон там, под горкой, околь озера...

— Ладно. Спасибо, старик!

Ушел. Добрый старик, с синеватыми, уже выцветшими глазами. Всех любит, весь мир.

Приручил зайца: с ним в землянке живет вместе с ежом, — «нас трое» — говорит — «я, еж да заяц».

Где же Калерия?.. Не могу без нее так долго...

— Калерия!

— А-у!

Зачем ты, голубка, уходишь так далеко?.. Заблудишься в темном бору. Беспокоится за тебя сердце. Иду в ту сторону, где прозвучала валторна. Выхожу на круглую лесную полянку, пеструю от цветов, звонкую от гудящих насекомых... Здесь! Как огромный красный мак — голова в красном знакомом шарфе... Присела, ползает по траве.

— Ты?.. Здесь много земляники: давай рот!

— Я найду...

— Я нарвала для тебя. Иди же!

Села в траву, улыбается и манит глазами. Ах, эти глаза! Они и ласкают, и мучают; нет сил и нет слов, чтобы передать, как они прекрасны. Смотришь и тонешь в их притягивающей глубине, и горишь в их истомной ласке.

— Ну, будет смотреть. Иди ближе! Словно в

первый раз увидел меня...

— Да, Калерия, в первый раз, всегда в первый раз...

— Приглядишься...

— Никогда!

Опускаюсь около и кладу голову на ее колени.

— Всё смотришь в небо... Ешь!

— Нет, я смотрю на тебя... В тебе — небо, и черные звезды — глаза твои...

— Я — земля, а не небо. Понял?..

Наклоняется и целует в губы долгим поцелуем...

И оба закрываем глаза.

— Земляника!.. Рассыпал ты всю землянику... Подбирай же!

— Хорошо... Милая, как ты прекрасна...

— Тсс!

— Это — птичка...

— Тише, ты мнешь землянику...

— Глаза, мои глаза... мои губы...

Тихо шумит старый бор вершинами и звенит лесная поляна от радостного славословия жизни птицами, насекомыми, мириадами крохотной твари... И плывет тихий ликую-

щий день над нашими головами...

XIV

Весь день бродили по лесу, нашли много белых грибов и земляники; Джальма спугнула тетеревиный выводок, истерически визжала, гоняясь за зайцем. Нехорошо, если собака зря гоняет зайцев, да уж Бог с ней, пусть порезвится... Забрались в такую чащу, что долго не могли выбраться: крутой овраг весь зарос кустами орешника, крапивой, шиповником, цепким хмелем; внизу, по оврагу, бежит прячущийся в зелени ручей, словно булькают бубенчики. Калерия жадно бросилась к ручью и страшно перепугалась: огромная глухарка, с сердитым клохтаньем, забила вдруг крыльями и вырвалась почти из-под ног Калерии. Она завизжала и бросилась ко мне:

— Кто это?.. Какая страшная птица!.. Как дико она кричит! Зачем ты не взял ружья?..

— Нельзя теперь убивать.

— Почему?

— У нее дети... маленькие еще...

— А-а!.. А зайцев можно?

— Нет, тоже — дети...

— У всех дети... Значит, мы не будем охотиться?

— На уток можно: у них дети летные...

— А-а-а!.. А ты... ты — летный?

Калерия засмеялась...

— Летный!

— Значит, на тебя можно охотиться?..

И снова тихий лесной овраг огласился звонким смехом Калерии и кого-то напугал в чаще: вдали захлопали крылья улетающих птиц... Отыскали местечко, где поглубже и пошире ручей, где он бежит в песчаных бережках. Напились и умылись прохладной водицей. Калерия брызнула мне в лицо пригоршню воды... Шалит как ребенок... Сбросила туфли, стащила чулки и, приподняв платье до колен, стала бродить по ручью. Стройные тонкие ноги заигрывали с водой и камешками, и в этом было столько милой беспечной и бессознательной грации, что хотелось побежать, схватить этого взрослого ребенка на руки и вынести из воды...

— Что ты! Уронишь!..

— Нет.

— Какой ты силач, однако... Принеси мои чулки и туфли... Вон они, под кустиком...

Принес, поцеловал чулок:

— На!

— Посмотри: красивые у меня ноги...

Только к вечеру выбрались на знакомый лужок, где нашли давеча много земляники. Теперь уж не заплутаемся... Вот и примятая трава, где мы сидели. Солнце уже садится: по лужку — длинные тени сосен, позади, в оставленной чаще, уже ползает мрак, а впереди, где бор редееет, голубой просвет и толстые стволы старых сосен кажутся золотыми...

— Ой, устала!.. Пить хочу, есть хочу, лечь хочу... Возьми грибы: надоели...

— А где же Джальма? Джальма! Джальма!.. Скрылась...

— Ох, скоро ли наш «Край света»!..

— Возьми мою руку!..

— Нет, не надо: хочется махать руками...

— Вон наша избушка золотится новенькой крышей...

— Будто мы — братец Иванушка и сестрица Аленушка, а там — избушка Бабы-Яги. Ой, братец Иванушка, пить хочу, есть хочу, пова-

латься хочу... понежиться на постельке...

Ах, как хорошо у нас в избушке! Славный дедушка. Как он заботится о нас: на столе — горячий светлый самовар, полкаравая черного хлеба, кувшин устоявшегося молока... Откуда молоко? — у него нет коровы. Неужели успел сходить в деревню за пять верст отсюда?.. Чистая набойная скатерка; новенькие деревянные ложки, желтые, блестящие от лака, берестовый туис с сотовым медом... А весь угол за печью завален только что скошенной травой... Милый дедушка!

— Ой, как хорошо! — крикнула Калерия и с размаха упала в пышную грудку травы и раскинула руки. Распустилась прическа и две толстых черных змеи поползли около ее плеча. Прикрыла лицо кистью руки и сказала ленивым голосом:

— Похозяйничай, голубчик, а я чуть-чуть подремлю...

— Подремли, голубка...

Осторожно, на цыпочках, ходил я по избе и готовил чай. Злобно погрозил прибежавшей Джальме, боялся стукнуть посудой, сдерживал дыхание. Изредка бросал взор на траву:

мерно поднималась высокая, свободная от обычного панцыря грудь и чуть слышалось ровное спокойное дыхание... Голубка, она уже уснула... Положить бы ей под голову подушку — боюсь, — разбудишь... Боже мой, как я люблю эту спящую женщину!.. Тише, не гуди так громко, шмель, на окошке! улетай скорей на волю, скажи там всей твари: «заснула наша Царица»!..

— Тише, дедушка, не стучи...

— А-а, заснула твоя пичужка... Нагулялась, натрудила ноженьки... У меня уха из карасей поспела... Поели бы, да тогда уж и полегли бы!..

— Это кто пришел, Геня?..

— Эх, дедушка, разбудил!..

— Рано легла, молодуха. Во что ночь-то спать будешь? Чай, поесть хочешь?

— Очень!

— Ну, вот видишь... Скажи спасибо, что напомнил, а то так бы неемши и улеглась. А ночью забеспокоилась бы... Вставай: сейчас уху приволоку, а ты хлеба нарежь, справь свое бабье дело. Самовар подогрела бы... Привыкать тебе надо.

Дедушка вышел, я бросился на траву, сжал Калерию в объятиях и стал целовать.

— Вставай! вставай! вставай! вот тебе!..

— Я пойду к озеру... искупаюсь и буду снова бодрой...

— Утонешь...

— Не беда, если это и случится...

— Одну не пущу.

— Скажите пожалуйста! Однако, ты быстроходишь в роль... дрожащего супруга...

Звонко смеется, бросает на плечо простыню и уходит... Умеет свистеть по-мужски.

— Джальма, пойдём купаться!

Ушла. Боюсь... А вдруг утонет? Не успеешь спасти: далеко. Не знает места. Запутается в водорослях... И не услышишь... Тихо иду под гору, пробираясь кустиками, поближе к озеру. Прилег к кругу из елок, слушаю... напевает что-то, разговаривает с Джальмой, с лягушкой... Стихла, а потом — звонкий визг и шумный всплеск воды: бросилась прямо в озеро и поплыла...

— Не плавай далеко! утонешь! — кричу, полный страха и беспокойства.

— Как хорошо! Где ты? Иди купаться...

Кровь бросается в щеки. Почему мне стыдно?..

— Иди! я уже одеваюсь...

Опять поет. Иду навстречу. Бежит мокрая Джальма, встряхивается: она тоже купалась. А вот и Калерия... И опять другая, новая какая-то: на голове — белый платок, повязан как повойник у молодых крестьянок. Еще глубже и чернее сделались от него глаза и резче обрисовались на капризно-приподнятой губе черные усики, а лицо — бронзовое, как у египтянина. В белой кружевной кофточке, под которой вздрагивает при каждом шаге грудь... Какая-то высокая стала, словно выросла. На плече свернутая простыня, в руке — белые с желтым кружечком в середине водяные лилии на длинных стеблях...

— Вот теперь давай руку... Жаль, что ты не искупался... Я немножко озябла...

Она прижалась к моей руке и задрожала.

— Ребятиш-ки-и-и! Уха простынет!

— Дедушка кричит. Идем скорее... Бегом!

Никогда уже больше в жизни я не ел такой удивительной ухи. Мы сидели друг против друга и с жадностью поглощали уху полными

новенькими деревянными ложками. А потом принялись за жирных озерных карасей. Переглядывались, улыбались, начинали беспричинно смеяться. А дедушка стоял у притолоки, с удовольствием смотрел на нас, причмокивал губами и приговаривал:

— Он, карась-то, вкусный живет... Кушайте на доброе здоровье!.. Не жалко. А самоварчик я сызнава наладил... горяченький... Подушечки-то захватили?.. Вот это умненько... Мы, ведь, на своем кулаке спим... А из гнилого угла тучки набегают: не было бы дождя ночью-то. Не пойдешь на зорю-то уток покарать?.. Село никак солнышко-то...

— Сегодня что-то не хочется...

— Эх, ты!.. Обабился, брат... Дай-ка мне ружьецо-то: я от скуки посижу. Убью, так вам же на жареху завтра пойдет... Сейчас стайка пролетела...

— Калерия! Хочешь — пойдём, посидим... Ты ведь просилась как-то...

— Иди, голубчик, а я что-то устала...

— Это от чистого воздуха, бабынька милая... С лесного воздуха... Наглоталась его, тебя и морит, разомлела... Вишь, как у тебя ще-

ки-то разгорелись, словно зарево ночью...

— Одному не хочется.

— Уж какая с ней охота!.. С ей вон на траве поваляться...

Отдал дедушке свое ружье. Ушел он.

— Счастливо вам!

— Спасибо, спасибо, дедушка!..

Напились чаю, молча посидели на крыльчике, прижавшись друг к другу. Почернел старый бор, нахмурился, сильнее заворчал вершинами. Стала чутко настораживаться в темноту леса Джальма, тревожно втягивать носом воздух, поварчивать. Посинели небеса над бором, замигали звездочки. Притихли птицы. Только кузнечики не переставали трещать в траве, да где-то на озере глухо стонала выпь. И не хотелось двигаться с места, не хотелось снять головы с теплых колен любимой женщины, когда она, погладив меня по волосам, сказала:

— Пусти, я хочу лечь...

Ах, как хорошо у нас в избушке! Пахнет сосной, травами, медом...

— Не будем зажигать огня...

— Ой, как я устала! Ну, я — бай-бай...

Какая мягкая, душистая трава! И ты, Калерия, пахнешь тоже цветами, травами, озером, сосной, а твои волнистые волосы опьяняют меня непонятным ароматом.

— Дай, я обовью их вокруг своей шеи и задушусь ими... Как сверкают в синем сумраке твои глаза... Мои черные огни, в которых горит, как свеча под ветром, моя душа...

Шумит за окном старый бор, баюкает и ласкает... Тихо-тихо в избушке... Уснула моя голубка... А я не могу... Нет, не могу... Я склонился над ней и не могу оторваться от прикрытых темными ресницами глаз, от полураскрытых губ, за которыми прячутся белые мелкие зубы, от этих странных усиков, от мерно вздымающейся груди... Не могу... Я тихо-тихо, так что ты не услышишь, целую тебя, едва коснувшись губами твоей смуглой щеки...

Ах, как пахнет цветами, травами, медом и твоими волосами, Калерия!

XV

Раскрываю глаза: яркий свет радостного

утра и улыбающиеся черные глаза... За раскрытым окном звонко поют птицы... Не могу вспомнить, тот же это день, или новый... Ослепляет солнечный свет, но сильнее его черный свет твоих глаз, Калерия...

— С добрым утром! Я уже искупалась... Дедушка убил утку...

Наклонилась к лицу, показала кончик языка и встала с колен.

— Вот тебе утка!

Бросила на траву мертвую дикую утку.

— Жаль мне ее...

— Поплачь над ней...

— А тебе... не жалко?

— Жареную жалко...

Весело хохочет. Подбежала Джальма, жадно обнюхивает утку, качает хвостом, поглядывает на меня, словно говорит: «Эх, ты!...». Умница! Взглянул на Калерию; как молния, пронизало меня воспоминание о чем-то недалеком и далеком, и безграничная радость облила душу, и мне захотелось посмотреть в черные глаза и что-то напомнить им...

— Ты в белом...

— Да. Жарко в шерстяном.

— Какой странный костюм... С крыльями...

— Это матинэ.

— Ах, милое матинэ!.. Белая паутина кружев.

— Ты сегодня с косами. Какие у тебя косы! Тяжелые косы. Дай мне поднять их на руке.

Я приблизился, подержал в руке косу, прижал к ней губы.

— Мне хочется расчесать твои косы...

Заглянул ей в глаза и молча спросил, помнит ли?

Опустила ресницы и улыбается... Не могу... Я должен обнять тебя крепко-крепко...

— Иди купаться. Простыня на перилах крыльца...

— Хорошо, хорошо... Джальма! Идем!

Дедушка сидит на бережку озера с длиннейшим удилицем.

— Клюет ли, дедушка?

— А-а, Енадий! Купаться?

— Да.

— Ну и смелая у тебя баба!..

— А что?

— Заплыла на тот берег... Как рыба плавает. Попала в тину, насилу вылезла... и всё хо-

хочет. Смотри, тут дохохочется. Дна там нет...

Купаюсь, переговариваюсь с дедушкой.

— Долго ли прогостите у меня, милёнки?

— Напомнил, что — недолго. Так и сжалось сердце холодом. Неужели она уедет и... Ведь не может же это кончиться тем, что она уедет...

— Погостим, дедушка!

— Хлеба у меня только каравай... Надо в деревню... С недельку погостите, поди?..

— Хотелось бы...

Купался и думал: «Что мне делать, когда наступит время разлуки?.. Разлука! Неужели она придет и скоро? Что же делать?.. Что делать!..». Вернулся в избушку печальный от этой мысли и вздрогнул: Калерия возилась около своего дорожного чемодана...

— Ты... ты что делаешь?

— Навожу порядок...

— Зачем?

— Чтобы потом было легче уложиться...

— Ты думаешь об отъезде?

— Да, завтра вечером приедут лошади...

— Не приедут...

— Почему?

— Потому что я не велел.

— Очень глупо, голубчик, сделал. Придется посылать тебя же... или дедушку. Пей чай! Я уже напилась.

— Что ты читаешь?

— Так... письмо...

— От кого?.. Дай прочитать!..

— Нельзя.

— Я отниму...

— Не делай мне сцен ревности... Иначе я рассержусь...

— Ты нарочно мучаешь меня... Ты не любишь меня!..

— Я тебе говорила, что люблю, как умею, и, кажется, ты мог в этом убедиться. Других доказательств дать тебе не могу. Не порти недолгих часов, которые мы с тобой проведем здесь... Живи настоящим, а не прошлым и будущим. Прошлое — для стариков, а будущее...

— Будущее... для чего хочешь, только не для любви. У ней — только настоящее...

— Однако, ты очень уж просто смотришь на... на... на...

— А зачем надо «не просто»?.. Если будешь дуться, можно и скорее сделать настоящее

прошлым...

— Как спокойно говоришь ты об этом!.. Да, это не язык любви...

Смолкли. О чем она думает? Не узнаешь. Где-то далеко ее мысли, не со мной. Может быть, она кого-нибудь любит, вот так же, как меня. Как-то, однажды, она сказала мне: «Моя любовь, как и сама я, капризна».

— Вот язык любви, — сказала она, подошла, поцеловала и прибавила: — Другого я не знаю... Говорю только на своем родном языке...

И опять показала кончик языка...

— Не ревнуй! Напрасно... Тебе позавидовали бы очень многие...

Хотелось рыдать... О чем? — не знаю... Бесильная тоска проползла в душу. Безумное желание слить в одном трепете свою душу с душой Калерии и почувствовать, что и душа ее — моя душа!..

— Я не могу овладеть твоей душой, как овладела ты — моей...

— Что же, милый, я могу сделать?.. Пройдет... Всё пройдет!.. И скоро душа твоя будет опять свободна...

Я схватил руки Калерии и стал с злобой ломать. Мне захотелось сделать ей физическую боль, потому что я не мог сделать ей другой.

— Больно! Больно! Опомнись!..

— Я могу убить тебя...

Вырвалась, рассердилась... На глазах слезы.

— Ты, пожалуй, захочешь бить меня, противный мальчишка!

Ушла в бор, а я упал на смятую траву и стал метаться, задыхаясь в тоске и бессильной злобе...

— Я убью тебя... убью!., убью!.. Господи, Господи, что мне делать? что делать?..

Не знаю, сколько прошло времени... Я плакал горячо и долго. Потом стих и только долго еще не мог остановить спазмы в горле и вздрагивал всем телом... И забылся в странном полусне: слышал пение птиц за окном, шум в бору, похожий на далекий морской прибой, слышал гудящую на стекле муху, но всё это было где-то далеко, непонятно, странно. Я плавал в волнах каких-то воспоминаний, прошлых, далеких и близких, и всё путалось: и радость, и горе, и смех, и слезы, и не

знал я, счастлив или несчастлив я... Грезился смутно образ какой-то женщины, а, может быть, девушки, то светлый, то темный... беседка в палисаднике, столик, алгебра, золотая коса... беседка в саду, окно в гуще сирени, сидящая на крылечке печальная фигура матери... То склонялась надо мной белая, то черная, и одна плакала, а другая смеялась, и когда я протягивал губы к белой, она вдруг превращалась в черную. Отчего у тебя одна коса золотая, а другая — черная, как смола? Гудит пароход... Нет, это — муха... Смешно... Кто-то сильно толкнул избушку, какой-нибудь великан...

— Один?.. А где твоя краля-то?

— Ах, это ты, дедушка!

— Жареху принес: уточку... Пора обедать...

Я оглянулся и сразу вспомнил всё, что пережил, и прежде всего почувствовал, что нет Калерии...

— Не видал, дедушка, Калерии, моей Калерии?.. Ах, какой ты бестолковый!

— Не пойму слово-то...

— Жены, жены!..

— А-аа! Утром видел, как она в бор ушла...

Неужели с тех пор не вернулась? Не заблудилась бы... Эко дело-то! Надо бы поискать, покричать... Кабы скоро дождичек не пошел: вся измокнет...

— Да, да, надо искать, надо искать... Пойду...

— Возьми рожок у меня. Поиграешь, его далеко в лесу слышать... Ветерок подувать начал, грозы не надуло бы на ночь-то...

Забежал в землянку за рожком и с томящей тревогой в душе пошел в бор искать Калерию...

— Калерия!

Шумит, ворчит бор и бессильно бьется мой голос в стенах угрюмых сосен.

— Калерия!

Нет. Вот и памятная полянка, где мы ели землянику... Неужели это было только вчера? Да, вчера. А кажется, что это было давно-давно, когда не было тоски, а только одна радость, смех, счастье... Вот пучок забытых нами маргариток... Увяли. Так скоро...

— Калери-я!

Играю в рожок, прислушиваюсь. Нет. Ускопляю шаги, рвусь вперед, продираюсь сквозь

чащу леса, царапаю лицо колючими иглами хвои. Бьется в тоске и тревоге сердце... Что это? Дождь? Да. словно заговорщики зашептались кругом меня... Теперь не услышит уже: заглушает шум дождя и шум раскачивающихся вершин мой рожок... А, может-быть, она уже в избушке и с беспокойством ждет моего возвращения... Нет, она не беспокоится. Сидит и улыбается, а, может-быть, перечитывает свои старые любовные письма... и укладывает в желтый чемодан платья, кофточки, рубашечки с ленточками и бантиками... У нее нет сердца. Она жестокая... Она сжигает огнем своих глаз, но не любит.

— Калери-я!

Пропало солнце в тучах. Не знаю, в какой стороне наша избушка... Не разберешься в потемневшем лесу. Неприветливый он стал, безрадостный, враждебный... А дождь всё сильнее. И всё ворчливее старый бор. Я шел напрямик, кричал и вслушивался — и вдруг переменял направление... Напрасно не послушал старика: не надел охотничьей куртки. Рубаха уже мокрая, липнет к телу и холодит. Со шляпы прыгают крупные водяные капли...

Нельзя закурить папиросы: вымокли спички... Начинало овладевать отчаяние. Словно я уже навсегда потерял мою милую жестокую Калерию... Мучай меня, как хочешь, а я всё-таки люблю тебя; в страданиях, которые ты даешь мне вместе с твоей любовью, бездна счастья...

— Калерия! Калерия! Калерия!..

Голодный, промокший до костей и дрожащий от холода, я бродил уже без надежды по лесу, не зная сам, куда иду: к дому или от дома. Вышел на какую-то дорогу. Бог ее знает, куда она приведет. Не знаю, сколько времени: темно уже... Притих дождик. Заиграл в рожок, потом закричал:

— Ка-ле-ри-я-я-ааа!

— А-уууууу!

Неужели она! Кажется, ее голос...

— Калери-яяяя!

— Гейняяяя!

Она, она!.. Нет сомнения... Вон она белеет на дороге... Дурочка, она, кажется, в одном своем кружевном матинэ... Так и есть!..

— Иду-уу!

А сам бегу, скользя по грязной и мокрой

дороге, спотыкаясь, падаю... Хохочет... Да, заливаешься, словно случилось что-то очень смешное...

— Уф! Зачем ты так далеко...

— Ты виноват... Но на что мы оба похожи?.. Мокрые курицы!.. Не смотри на меня: я прямо неприлична... Всё прилипло... Бррр!.. Холодно и ужасно хочется кушать... Ам! — я съем тебя, поросенок...

И прошло всё сердце... Нельзя на нее сердиться... Ее можно только любить.

— Я тебя ищу очень давно уже...

— Ну и отлично: в другой раз будешь умнее...

— Ты хочешь, чтобы и в другой раз...

— Не со мной, так с той, которую ты будешь любить после меня...

— Погоди: кажется, кто-то едет...

— Мужик.

— Вот если бы он посадил нас!.. Ой, как холодно и как хочется кушать... Найдем его! У меня промокли волосы, ноги, всё, всё...

— Мужичок!

— Тпру! Что вы за люди?.. Отколь?..

— Православные! — с хохотом отвечает Ка-

лерия...

Ну, можно ли сердиться на эту женщину?.. Мужик недоверчиво оглядел Калерию:

— Хм... С усами... оба!.. Чисты сосульки... Ей-Богу! Садитесь уж...

— Нам надо к леснику.

— Эге, куда забрели... Это ведь в сторону. Я вас до дороги доведу, которая туда... А там еще с версту... Добежите уж... Лучше прогреетесь... Вишь, как девчонка-то дрожит! На-ка кафтан, прикройся!.. Только бы до грозы-то вам поспеть...

— А будет?

— Будет... Вон, с той стороны агромадная туча ползет... Нагоняет... Слышь: ворчит?..

— Да, слышу...

— Ну-ка, милая, до грозы-то поспеть бы!..

Мужик нахлестал лошадь, и она побежала галопом, подбрасывая высоко телегу. Мы с Калерией колотились друг о друга и радостно смеялись...

— Ой, душа выскочит, ой, ой, ой, тише!

А черная туча нагоняла. Всё ближе и громче ворчал гром, перекатываясь по лесу...

— Эх, Илья по небу прокатывается! — гово-

рил мужик и, покрутив вожжами в воздухе, нахлестывал мохнатую лошаденку...

XVI

— Генёк! Зажги огонь и не смотри сюда, за печку, а я не буду смотреть туда... Будем переодеваться. Бррр! Холодно. А всё-таки хорошо! Я очень довольна этим приключением...

Хохочет там, за печкой. Подплясывает бо-сыми ногами по полу и весело приговаривает:

— Холодно, Генёк, холодно; голодно, Генёк, голодно.

Вязко падает мокрое бельё на пол, сухо шелестят свежие юбки, кофты... Я тоже тороплюсь принять благообразный вид. Ударил и покотился по лесу гром и строго заворчал старый бор. Близко гроза.

— Генёк! Закрой окно, а то молния залетит... А умирать не хочется еще...

Набежал сердитый ветер, рванул створку окна и разбил стекло.

Дедушка принес клокочущий паром самовар, и жарёху из утки, хлеба. Долго он ахал

около разбитого стекла и ругал ветер. Вкусно пахло жарким и коркой свежее испеченного черного хлеба...

— Ты готов?

— Да.

— Можно выходить?..

Появилась вся в черном, тонкая, хрупкая, похожая на молоденькую послушницу из монастыря. Волосы распущены, на голову наброшен черный платок, шаль не знаю, как назвать... Из-под шали лукавые глаза. Подошла, сбросила шаль и, наклонив голову, перебрала ловким движением все волосы на грудь... Стоит босая.

— Генёк! Заверни мои волосы в полотенце, свей жгутом и выжми, как делают женщины, полоская белье. Понимаешь?

— Понимаю.

Крепко, с непонятым раздражением, крутил я мокрые черные волосы, а она кричала:

— Будет! Больно!

Опять наклонила голову, встряхивает каскадом черных волн.

— Смотри: достают мои волосы до полу?

— Волос долог, — ухмыляясь, сказал де-

душка.

— А ум, дедушка, короток. Да?

— А кто тебя знает!.. Вас ведь трудно разобрать-то... Всё, чай, умнее меня, старика... Всё-то ты смеешься... Веселая головушка!.. С тобой не соскучишься... Ну, я пойду домой... Заприте дверь-то: не раскрыло бы ветром ночью: хлопать будет... Всё глядел бы на ваше счастье!..

Я проводил старика, постоял на крылечке... Всё на душе как-то беспокойно и тоскливо... Словно потерял настоящую Калерию, а это — не она, другая... Послушал, как страшно шумит бор и как он скрипит под ветром сломанной сосною. Словно кто-то всё качает воду из журавельного колодца. Ну, опять дождь, крупный, торопливый... Под светом из окошка он кажется косым пучком прозрачных веревок. Вернулся. С тоской смотрю на Калерию, красивую, любимую и всё-таки чужую. Облокотился на руки, подпер ими щеки и смотрю в ее лицо: на душу набегают невыразимая грусть, похожая на грусть, рождаемую Бетховенскими сонатами... Грусть о чем-то недостижимом, вечно манящем и недающем-

ся, прекрасном, но далеком, о чем нельзя рассказать другому нашими словами...

— О чем взгрустнул, милый?

— Не знаю, Калерия...

— А я знаю... О той, с золотыми косами!

— Нет. Клянусь тебе, что и сам не знаю...

— Разлюбил уже меня?..

— Нет, Калерия, клянусь тебе... Безумно люблю тебя и... безумно тоскую о твоей любви... Не знаю, Калерия, сам не знаю...

Она подседа близко, заглянула в глаза и прищурилась.

— По маме соскучился?

— Не шути так! Не надо. Я хотел бы тебе рассказать, отчего я грустен, но не умею.

Калерия замолчала и задумалась. Шевельнулась у нее верхняя губа и улыбочка скрытой обиды скользнула и спряталась под черной шалью. Вздохнув, она тихо сказала:

— Несчастный я человек, Геня.

— Почему?

— Вместо счастья и радости я даю только страдание и...

— Это зависит только от тебя, Калерия...

— Нет... Напрасно мы с тобой сюда приеха-

ли... Расстались бы сразу и каждый унес бы с собой радостное воспоминание... А теперь...

— Разве тебе *это* надо?

— А ты как же думал?.. Уж не такая я скверная, чтобы мне было не надо *этого*.

Она отвернулась к окну и замолчала. Мне чуть-чуть был виден профиль ее лица: нервно вздрагивала верхняя губа и вдруг капнула слезка, большая, тяжелая... В памяти ярко встал пустынный зал старого дома, гробик с Вовочкой, огоньки восковых свеч и стоящая около прекрасная женщина с скорбным лицом... Опять она, Калерия, моя потерянная было Калерия! Я нашел тебя снова и снова безумно люблю...

— Прости меня, если я тебя чем-нибудь обидел...

— Ничего... Пройдет... Джальма! поди сюда!

Собака вылезла из-под стола и положила морду ей на колени. Калерия ласкала ее в каком-то странном экстазе и скормила ей почти весь хлеб, называла нежными именами и вдруг поцеловала в голову.

— Когда-нибудь вспомнит... Вспомнишь,

Джальма? Да?

Я подошел к Калерии, склонился к ее лицу:

— Какая ты сейчас милая. Как я сейчас люблю тебя... Ты — разная...

— Когда-нибудь и ты вспомнишь... и пожалеешь о моей любви, которая тебе кажется теперь так... совсем и не любовью даже!.. Когда уйдет весна, как жалко бывает, что пропали подснежники и отцвели ландыши, хотя цветов много, даже больше, чем весной... Ты юн и не умеешь ценить цветы, которые топчешь мимоходом... Ты хочешь, чтобы я была лилией, а я — подснежник... Ты издали ошибся... и сердисься на меня. За что? За то, что я — не лилия?

Встала, ходит и смеется.

— А всего больше я похожа на... Если тебе так хочется, чтобы я называлась лилией, то пусть я буду *болотной* лилией, каких я принесла вчера с озера... В воде они прекрасны, издали — тянут сорвать... А когда сорвешь — свернут венчики, сожмутся, потеряют сразу снежную белизну... И думаешь тогда: «где же красота, и зачем я лез в болото?». На, Погляди!..

Калерия взяла с лавки поблекшую водяную лилию и швырнула ее мне.

— Это — я... Выкинь за окно!

Я сидел, сжав голову обеими руками, и все нервы моего тела дрожали, как тронутые струны. Я готов был снова разрыдаться, как это было утром на траве. Но страшный громовой удар, ярко-синяя молния и крик Калерии спасли меня. Встрепенулась избушка, мигнул на столе огонь и я почувствовал на шее горячие руки Калерии.

— Ой-ой! Боюсь...

Как девочка, она взобралась ко мне на колени и цепляется руками...

— Бедная моя, мой подснежник, ландыш, лилия, всё, всё...

— Болотная!.. Да?

— Черная лилия... Сказочная черная лилия...

— Из сказки, которой веришь только до тех пор, пока она не досказана...

— Красивая, захватывающая сказка!

— Сегодня я доскажу тебе конец и... и... и конец!

— Ты не хочешь ее продолжить?

— Нет. Не люблю повторяться...

— Неужели же всему конец?!.

— Кто знает! Быть может, когда-нибудь... Я хотела бы встретиться с тобой, когда ты...

— Когда?

— Когда ты поймешь меня... А поймешь ты тогда, когда пройдет весна и настанет лето...

— Не скоро, что ли?

— Кто знает! Всё в жизни случайность... И сейчас — только случайность... Ах, Геня!.. — какой ты молодой еще, слепой котеночек...

Она стала ласкаться, как кошка, потираясь щекой о мое лицо, и заглядывая в глаза лукаво и загадочно, словно о чем-то тайном спрашивала меня, боясь слов... Опять ударил гром, вспыхнули сосновые стены избушки синим отблеском молнии и сердито заворчал старый бор.

— Пугает...

Она встала и красным шелковым шарфом завесила окно.

— А теперь я хочу досказать тебе сказку о болотной лилии.... Будешь слушать? А чтобы было страшнее и сказка казалась волшебнее...

Калерия потушила огонь...

.....

Всю ночь гремела гроза и точно тысячи всадников проносились по мосту, стуча кованными лошадиными ногами. Стонала где-то сломанная сосна, вздрагивала избушка и непрерывные молнии и трепетные зарницы рождали в завешанном красной шалью окне призраки пламенных пожаров... Казалось, что вся земля объята пламенем и обречена на гибель...

— Ах, Калерия! Мы с тобой сторим в этом огне...

— Пусть!.. пусть!.. Ведь это сказка!.. И она еще не кончилась...

* * *

Рано утром Калерия уехала... А солнце ярко блистало на вымытой траве, на цветах, на деревьях, переливаясь и играя в бесчисленных каплях вчерашнего дождя... И птицы как-то особенно громко и радостно звенели в лесу, гордо вздымающем к голубым небесам свои вершины... В избушке осталось всё так же, как было с ночи: самовар на столе, недо-

питая чашка чаю, полотенце на стене, ружье, под столом — Джальма, а за белой печью — повядшая смятая трава... На полу валялась черная роговая шпилька... Но в углу на лавке была страшная пустота: там не было желтого чемодана.

— Калерия, Калерия! Что ты со мной сделала...

Я бросился в траву и, целуя ее, горько плакал.

XVII

Весь день я блуждал по лесу с белой Джальмой и разговаривал с ней о Калерии:

— Эх, Джальма! Уехала Калерия... бросила нас Калерия!..

— Помнишь, Джальма, как она поцеловала тебя?

— Вот здесь, Джальма, мы с ней ели землянику...

Побывал на всех полянках, где мы были вместе, полежал и посидел на всех лужках и упавших соснах, где мы отдыхали... Безысходной грустью веяло от этих местечек... Иногда

я останавливался и громко с тоской кричал:

— Калерия!

Тогда Джальма настораживалась и начинала смотреть в ту сторону, куда я кричал, и выжидательно помахивала хвостом...

— Нет, Джальма, не жди: она далеко...

К вечеру вернулся в избушку и долго всматривался во все мелочи ее обстановки, надеясь увидеть или найти что-нибудь близкое, связанное с Калерией или напоминающее ее. Ах, дедушка, зачем ты убрал траву, вымел пол, расставил в порядке лавки. Теперь еще дальше стала Калерия и кажется, что не прошлой ночью была гроза и горело пожаром окно, а давно, давно когда-то...

— Уехала молодуха-то...

— А-а, дедушка!

— Куда она?

— Не знаю.

— Как не знаешь?.. Вот тебе раз!..

— В город...

— Зря пустил... одну... Она у тебя с ветром... Эдаких надо в руке держать... На-ка вот — в траве нашел... Видно она обронила...

Дедушка подал мне знакомое колечко с

кроваво-красным рубином.

— Она, она... Спасибо, бабушка!..

— Мне чужого не надо... Ждать ее будешь здесь или... она нескоро?

— Нескоро... Надо идти...

А уходить не хотелось, не было силы уйти.... Избушка таила в себе тайную близость с Калерией... Чудилось что-то невидимое и любимое...

— А где, бабушка, водяная лилия?.. Вот здесь, на окне, она лежала.

— Выкинул я ее... Она ведь померла, завяла... В озере их сколько хочешь... Свежих нарвешь...

— Выкинул?

— Выкинул.

— Эх, ты!.. А трава?..

— Я тебе свежей накошу... примялась она... В сенцах ее разбросал — ноги вытирать... После дождя-то грязи натащишь...

Как молния, пронизало мне сердце воспоминание о последних ласках пред рассветом, и, сев на лавке, я опустил руки и голову: «кончилась сказка»!..

— Скучаешь... Пойдем-ка, брат, на охоту!

Всё пройдет... Вчерась перед грозой налетело уток — прорва...

— На охоту? Да, да, пойдем!..

— Я на ботнике, а ты с собакой берегом...

Мы их всех выгоним...

— Джальма, идем!

Дедушка с багром и длинной одностволкой тихо пробирался камышами, стоя на маленьком ботнике, и с берега казалось, что он идет по озеру, подпираясь палкой. Мы с Джальмой продирались чрез чащу прибрежных тальников и старались не отставать от дедушки...

Дивный вечер после недавнего дождя и грозы: всё блестит свежестью, яркостью красок и какой-то новизной, словно это совсем не то озеро, которое видел уже... Золотые, розовые пятна на воде, и в этих пятнах — белоснежные лилии и желтые, как куриные желтки, кувшинки... В зеленых камышах — бархатные шишки, на воде — широкие листья плавуна и зеленые узоры — кружева ряски... Таинственная гладь воды, заставляющая верить в русалок... Вон там, под склонившимся над водою кустами, где тихая глубина похожа на зеркало с отражением, что-то плеснулось и

пошевелило водоросли...

— Кря! кря! кря! — испуганно закричала утка и, ударяя по воде крыльями, полетела, словно побежала по воде...

— Бей! — кричит дедушка.

Вскинул ружье, и гулкий выстрел разбудил вечернюю задумчивость. Тяжело упала утка на воду и потянулись около нее расплывающиеся круги. А дым от выстрела лениво ползает по воде...

— Есть! Джальма! Пиль!

Визжит от радости Джальма и, задыхаясь от волнения, плывет по озеру к убитой утке...

— Как ты ее смазал! Ловко, брат!..

— Кря! кря! кря!

— Трах! Трах!

— Трр-ах! — кончает одностволка дедушки и несет его досадливый шопот:

— Эх, сволочь, улетела! Стреляй!

Еще утка, другая, э-э, да тут целый выводок... Стучит сердце, дрожат руки, не идет патрон.

— Эх, чорт!..

Кряквы свистят крыльями над головой, а ружье незаряжено: не лезет патрон... Джаль-

ма скулит от досады...

— Погоди, старик, надо успокоиться... Ты тоже горячий...

— Да, брат... не могу... Как вылетит утка — сердце обрывается... Пора бы уж привыкнуть, а вот поди... Ну, порох просыпал... Эх, ты, драть ты за хвост...

— Джальма! Назад! Тубо!

— Посылай ее сюда: сейчас выводок в камыши ушел...

Разбудили озеро, камыши, лес; вздрогнули пятна, розовые и золотые, встрепенулись кувшинки, лилии, плавуны и зеленые узоры ряски; закачались, как опахала, длинные палки с черными бархатными набалдашниками... Горит душа, горит лицо и нет горя. Нет!

— Милый! — таинственно кричит дедушка придушенным голосом — помри!

Это значит — присесть и затаиться. Значит — летят утки...

— Джальма! Куш!

— Уй, уй, уй, уй... — свистят утиные крылья, и Джальма дрожит как в лихорадке. Я — тоже.

— Трах! Трах! Есть!

— Молодчина! — кричит дедушка и весело смеется. — Двух смазал...

Уже стемнело. А в воздухе всё еще тревожно посвистывают утиные крылья, заставляя настороживаться и вздрагивать всем телом... Луна выкатилась из камышей и пунцово-красным шаром остановилась над озером... А на горизонте еще не потухла рдеющая меж соснами лента вечерней зари... При- молкло озеро и камыши, загудели комары, огромные, злющие... Заквакали лягушки. За- дергали коростели... Зашумели камыши и осока... Стая галок полетела куда-то на ноч- лег. Закричала сова. Вся природа — в усталой задумчивости... Душа тоже думает помимо воли... О чем? Бог ее знает... О чем-то далеком и неясном, грустном и радостном, что было когда-то и чего не будет, или о том, что было и что опять повторяется и будет повторяться бесконечно...

— Еннадий!

— А!

— Темно. Надо кончать...

Шумный всплеск воды, засеребрившейся под скользящим ботником.

— У меня, брат, караси есть... Уху сварим, да пожрем с устатку-то...

— Это хорошо. Я голоден, как волк...

— Вон летят!..

Бог с ними, — пусть летят: не хочется снимать ружья с плеч...

— Идем, Джальма!..

Медленно ухожу и мурлыкаю грустную песенку... А полная луна прислушивается и грустит вместе со мной... И звезды грустят... Впереди рыщет белая Джальма... Остановится, подождет, понюхает убитых уток и снова скроется в темноте тальников...

— Фу, чорт, как жрать хочется...

— Пойдем ко мне в землянку... Там и поедим...

— Можно у тебя в землянке сегодня ночевать?..

— А что в избе-то? Неужели один-то боишься?..

— Скучно одному...

— Э, брат, обабился... Спи!.. Четверо будет: я, ты, еж да заяц...

Пришли в землянку. Старик запалил огонек, стал возиться около печки. А я растянул-

ся на лавке и почувствовал невероятную усталость. Приятная слабость переливалась в теле и не хотелось ни шевельнуться, ни думать... словно — начало тифа, когда плаваешь в каком-то безразличии. Даже улыбка, безвольная и беспричинная, скользит по губам... Тяжелые ноги, словно в железных сапогах, и руки, как чужие, ненужные...

— Еннадий! Ты что же... Никак спишь уж?..

— Я капельку подремлю...

— А ты хоть кулак под голову-то положи... Как утопленник... На тулуп!.. А я буду уху варить...

Дедушка возился около печки, колол лучину, чистил карасей, поварчивал на кого-то и покашливал, а мне было так хорошо и покойно, словно я сделался опять маленьким внучком, а дед — моей покойной бабушкой... Будто я натворил каких-то бед и спрятался под защиту бабушки...

— Вишь как, сердечный, намаялся: ни рукой, ни ногой... Молодое дело...

Чего ты там ворчишь, старенький!.. Ворчи, ворчи!.. Так уютно и хорошо слушать, как по-

трескивают на шестке горящие щепки, бурлит в котелке уха и как ворчишь ты, старенький...

— Тощая, а зацепистая... С ней, брат, поостроже надо: она сама с усами.

— Ах, это ты — про Калерию!.. Калерия... Странное имя... Что это за человек, такой далекий и близкий?.. Пришла ночь и, как огненный вихрь, закружила в себе и сожгла сердце в пламени грозových зарниц... И ушла куда-то вместе с грозовой тучей... Нет ее — почему же я не плачу, и не страдаю, и не томлюсь тоской?.. Ведь я же люблю ее!.. Не знаю, ничего не знаю... Казалось, что без нее я не могу жить, а вот живу и душа моя делается всё спокойнее и спокойнее... Гроза пронеслась, погасли огненные змии молний и смолкли громовые раскаты. Опять тишина... А как красиво и страшно было окно, завешанное красным шарфом: казалось, что вся земля пылает в пламени и что всё должно погибнуть... Может быть, и мы, и наша любовь сгорели в этом огне... и остался один пепел... Не знаю... Всё равно... Устал... Невыносимо устал... Я могу уснуть и спать день, два, три... Так хорошо

спать и ни о чем не думать!.. Даже о Калерии...

— Ну, вставай да поешь! Уха поспела...

— Не хочу...

— А ты поешь да и спи с Богом... Иди, иди, нечего... Ночь долгая, а теперь некому мешать: один, без молодухи... Выспишься...

Как в бреду сижу и ем уху, не понимаю, о чем говорит дедушка, и не интересуюсь ничем на свете. И кажется, что это не я ем уху, а кто-то другой, и что всё, что было в старом бору, было тоже не со мной, а с кем-то другим...

— Ну вот, теперь и ложись...

Я, никогда не молившийся, помолился, бросил сапоги и куртку и, как внезапно убитый, брякнулся на скамью и уснул глубоким сном, без грез и сновидений...

Проснулся поздно и сразу захотел домой... Торопливо собрался, выпил чаю и, вскинув ружье за спину и взяв гитару подмышку, простился с дедушкой.

— Ну, с Богом!.. Приходи за утками-то, только уж один, без бабы: с бабой какая охота!.. Я тебя провожу...

— Джальма! Идем!

— Заколотить надо окошко-то, — сказал дедушка, проходя мимо избушки...

И когда я шел в соснах и избушки не было уже видно, в тихом бору гулко застучал топор, заколачивающий окно и дверь моего «Края света»... Я приостановился и послушал: точно заколачивают крышку Вовочкина гробика... На мгновение у меня сжалось сердце...

— Идем, Джальма!

Я громко, на весь бор, запел и быстро зашагал вперед, углубляясь в молчаливый бор, полный величавого спокойствия...

*«Эх, ты, но-о-ченька-а, а ночка
те-о-о-мная,
Ночка темна-а-я, а ночь о-о-се-е-
нняя...»*

И тихий бор подпевал мне своим эхо...

*«С кем я э-э-эту ночь да ночевать
бу-у-ду-у?..»*

XVIII

Было уже темно, когда я подходил к нашей усадьбе... В розовом тумане погасал вечер и

резко рисовались на потемневшей синеве неба старые липы нашего сада... Вон мигнул через листву деревьев слабенький огонек... Собаки почуяли мое приближение: залились в два голоса... Стыдно как-то и немного страшно... Остановился около прясла, положил на траву гитару и ружье, сел на бревна подумать... В сущности, какое кому дело, где я был и что делал? Охотился и конец!.. Вот она, дичь: три утки... Еще огонек... У мамы... Воображаю, как она встретит меня... особенно, если ямщик рассказал про лесную сторожку... Неужели рассказал? ну и отлично. Я не мальчик, что бы...

— Ну-с... Идем, Джальма!.. Вперед!

Громко запел и направился через двор прямо в свою беседку. Пусть знают, что я возвратился...

— Кто это идет?

— Я, тетушка.

— А-а... Хорошо ли поохотился?

— Прекрасно...

— А мать тут с ума сходит...

— Почему?

— Ей кто-то наболтал, что ты с этой... осо-

бой уехал...

— А хотя бы и с этой особой...

— Об этом я считаю неприличным разговаривать...

— Тем приятнее!..

— Мы хотели заявить о твоей пропаже. Если бы завтра не вернулся, мать поехала бы к становому приставу...

— Вы без пристава жить не можете... Это уж конечно...

Пошел в сад. В беседке сумрачно и печально. Пусто как-то и одиноко... Зажег лампу и огляделся: всё на своем месте и всё не так, как было раньше. И письменный стол, и окно с сиренью, и турецкий диван, и качалка — всё словно умерло... Кто шевырялся у меня на столе? Где портрет?.. Ах, да... забыл!.. Я его спрятал: вот он!.. Взглянул на портрет и испуганно вздрогнуло сердце: словно живые, ласково и укоризненно взглянули на меня чистые глаза девушки... Это ощущение было до такой степени реально, что я испугался и покраснел... Снова спрятал портрет в ящик и вышел на крыльцо... Кто-то идет...

— Барин, вас мамашенька требуют к себе...

— Требуют?.. Скажи — сейчас приду... Вот возьми уток... Три утки.

Переоделся во всё чистенькое, причесался и отправился, с некоторым волнением, в старый дом. В столовой готовятся к ужину... Вкруг стола ходит тетка помоложе.

— А где мама?

— Там! — тетка показала на комнату, где помещалась Калерия с ребенком, и ухмыльнулась. — Уехала и побросала все свои секреты...

Подали ужин, позвали маму. Выходит.

— А, Геннадий!..

— Здравствуй, мама!..

— Гм... Возвращение блудного сына... Господи, на что он похож!

— Кто: я или «Господи»?

— словно на тебе воду возили... или не кормили с прошлого года...

Тетки переглянулись и фыркнули.

— Охота пуще неволи, — прошептала помоложе, а постарше — заметила:

— Он с гитарой ходил... Вроде шарманщика... Должно быть, утки любят музыку... Сядет на болоте и поигрывает, а утки, дуры, плывут

послушать...

— Ты до какого места проводил прекрасную Калерию?

— Не всё ли это равно, мама!

Опять — пристальный взгляд матери и шепот теток.

Чувствую, что краснею, и злюсь на самого себя. Надо кончить это одним ударом:

— Мама и почтенные тетушки!.. Я люблю Калерию и потому прошу вас при мне не затрагивать наших отношений...

— Вот как!.. Тогда извольте вам всё наследство после предмета вашей любви... Перешли ей. Я не знаю ее адреса, да, признаться, и не желаю входить с ней в переписку...

Мать бросила к моему прибору на стол сверток трубочкой:

— Разные документы... Вся душа на распашку... «Милости просим»!..

— А вы, конечно, произвели расследование этих документов?

— Да, произвели... Да и тебе советуем: тебе надо знать, кого ты любишь...

— Это — мое дело...

Я сунул в карман сверток и уткнулся в та-

релку. Мать молчала, изредка вздыхая и поглядывая в мою сторону. Тетки сидели с торжественно-непобедимым видом.

— Мерси!

— Не стоит...

Ушел в беседку и долго думал: развернуть сверток или, не трогая, отослать Калерии «в Ниццу до востребования», как она просила писать ей, «если придет охота». Подло читать чужое... Бросил сверток на стол и, ходя по комнате, разговаривал с собою:

— Но я имею право знать, любит она меня или нет? Да, имею... Она говорит, что любит, как умеет, но я должен знать, как она умеет...

— Всё равно: подло, братец!..

— Если бы я прочитал с целью повредить ей — другое дело, но ведь я хочу одного: выяснить свое положение... Только! Это умрет со мной...

С краской в лице развернул я сверток: клочки, начатые и брошенные письма, черновик какой-то телеграммы... Ничего особенного...

«Вовочка скончался, последняя связь порвалась, прощай, всё кончилось».

«Облетели цветы... Догор...».

«Калерия». «Твоя» — зачеркнуто.

«Что это: неужели новая прихоть любви, или просто эхо юности и желание изведать красоту и чистоту непосредственного чувства? Геннадий. Геня. Генек. Не красней и не упрямясь... Всё равно... всё равно... всё...».

— Вот она, разгадка!

Я перечитывал эти строки и злорадно хохотал. Так вот в чем дело! А я, дурак, вообразил, что тебе была нужна только моя чистота!

— Взяла ты ее, мою чистоту, красивая развратница. Если бы я знал!

В исступленной злобе, с клокочущим оскорблением, как зверь в клетке, метался я по комнате и бессильно рылся в хаосе спутанных мыслей и ощущений... Мстить? Как?.. и за что? Разве она клялась и обещала что-нибудь?.. Она повторяла несколько раз, что может отдать только красоту, одну красоту... Почему же этот клочек бумаги так поразил и оскорбил меня... Э, не всё ли равно!.. Чистота. Ну, и бери ее, только оставь душу!.. Душа — птица, и, побившись в твоих дьявольских сетях, она вылетела на свободу... Черный дья-

вол. Пришла и всё, всё разрушила!.. Даже красивую любовь к себе сожгла в своих неистовствах...

— Убить тебя, проклятая... отшвырнуть ногой!.. Я плакал и пресмыкался около тебя, как собака... Я тебе напишу... всё напишу... Я вылью на тебя всё презрение, которым наполнена теперь душа моя к тебе и к твоей грязной любви...

«Калерия... Ты добивалась украсть мою чистоту и добилась этого... Так знай же, что... Я...»

Ну, что же «знай»? Не знаю... что писать и как высказать вихрь своего оскорбленного самолюбия... Бросил перо и снова стал, как зверь в клетке, бегать из угла в угол... Что я скажу, что она — скверная? Но она и не выдавала себя за добродетельную... Что я ее презираю? Но она может сказать мне, что ей это уже неинтересно... Она предложила отдать друг другу «кусочек жизни», и я согласился, а теперь кричу: «караул, ограбили!» — как мальчик, который поменялся с товарищем игрушками, а потом передумал и обвиняет его в краже...

— Дурак!.. Брось все эти «документы» к чорту!.. Стыдно.

И всё-таки она безумно красива в своих греховных порывах... Не виновата она, что Бог не дал ей ничего другого...

Долго я не мог заснуть и всё судил прекрасную женщину... Она сидела на скамье обвиняемых в моей памяти и, с лукавством в прищуренных глазах, с разлившимися по плечам черными волнами непослушных волос, пристально смотрела на судью, потом украдкой спрашивала его:

— Разве так преступна сказка, которую я рассказала тебе ночью под грохот громов и зарево пламеневших зарниц и молний? Ну, а если бы я сейчас вот заглянула в окно твоей беседки и попросилась войти к тебе — неужели ты не отпер бы двери?

— Не знаю, ничего не знаю... Бог тебе судья... Не мучай: уйди из моей памяти и дай мне забыться!.. Не пробуждай твоими бесстыдными глазами того, что прошло, ушло и никогда не повторится... «Вовочка скончался, последняя связь порвалась»... С кем порвалась?.. Кто этот несчастный человек, с кото-

рым, как и со мной, всё кончено?.. Ведь с мужем давно уже было кончено... Ах, да не всё ли мне равно, кто он!..

На другой день, когда мы пили утренний чай, зазвенели колокольчики и на двор въехал всё тот же мужик Степан, который привез меня домой, потом отвез нас с Калерией в борк дедушке и, затем, увез Калерию «в Ниццу, до востребования»... При виде этого мужика я испуганно соскочил с места и почему-то страшно обрадовался.

— А, Степан!

Но Степан приехал не один: из тарантаса вышел и направился к нашему балкону господин средних лет, изысканно одетый, хотя и покрытый с головы до пят пылью, высокий и красивый брюнет в пенснэ, словно ветром принесенный сюда с тротуаров какого-то большого города. Приподняв шляпу, он приблизился к балкону и спросил, озирая меня, мать и теток:

— Pardon!.. Скажите, пожалуйста, здесь живет Калерия Владимировна и могу я ее видеть?..

Мать встала и молча ушла в комнаты, тет-

ки не отвечали. Пришлось говорить мне. Я попросил его к столу и предложил чаю. Но узнав, что Калерия уже уехала, он страшно заволновался, стал извиняться и торопиться ехать.

— На одну минуточку... — тихо сказал он мне, подхватив меня под-руку и сводя с крыльца...

— К вашим услугам!..

— Мне хотелось бы побывать на могиле ребенка Калерии Владимировны. Она поручила мне посмотреть и написать ей...

Ах, так это ты, *который*... Я с иронической улыбочкой посматривал на господина, а где-то там, в самых сокровенных уголках моей души, шевелилась змея жгучей ревности... И ты целовал ее, и она целовала тебя... всё так же, как было со мной...

— Ямщик! Отвези этого господина на кладбище... Впрочем... ребенок ваш схоронен в церковной ограде, — пристально, в упор глядя на смутившегося господина, произнес я и холодно раскланялся с отцом бедного Вовочки...

Господин уехал. Вышла мама и сказала:

— Должно быть, это — твой предместник...
Приятное знакомство...

Тетки прыснули со смеху и подавились чаем...

— Кукушка... Разбрасывает своих деток по чужим могилкам...

— Поди, Генечка, помоги ему молиться...

— Эх, вы... галки!.. Чуть провинится ваша сестра, сейчас же все на нее!.. заключете!..

— Он обиделся за своего нового родственника... Как он тебе приходится?..

— Свояк...

Оплевали, опоганили всё, что случилось. Не пощадили даже Вовочкиной могилы. А сам я... Тоже! Ах, зачем мы так жестоки даже к самим себе?!. Зачем мы сами так спешим потопить в грязи всё, что дает нам яркого и радостного наша убогая жизнь... Прости, Калерия!.. Я хочу, я должен всё простить тебе и «за то, что я любил», и «за то, что счастлив был»... Я не хочу быть с твоими галками...

XIX

...Новая жизнь. Приветствую тебя!..

Опять грохот пролеток по камням мостовой, опять городская суeta и торопливость... Люди, лошади, конки, велосипеды, вывески, вывески, вывески... телеграфные столбы, телефонные сетки на крышах. Крики, говор, звонки... Знакомый гул большого города... Словно я долго стоял с заткнутыми ушами и с закрытыми глазами — и вдруг раскрыл глаза и ототкнул уши...

Всё знакомо, всё это по-старому. Но теперь сам я — другой, и новая жизнь начинается для меня в городе... Теперь я — студент!..

Много хлопот, веселых, интересных, совершенно новых и значительных. Во-первых, надо найти комнату поближе к университету; во-вторых, побывать в канцелярии университета и переменить свой гимназический временный билет на студенческий; в-третьих, потолкаться в университетских коридорах и лабораториях и повидаться с товарищами и однокурсниками; затем, надо купить новый плед, кое-какие лекции; наконец, надо... Одним словом — только повертывайся!..

Вот он, университет!.. С чувством гордой радости вхожу я в твои заветные двери...

Сколько раз я, торопясь, с ранцем за спиной, в гимназию, завидовал студентам, без страха и ненависти, без торопливости и оглядки, входящим в двери своего храма науки... И вот, теперь и я вхожу в этот храм, свободный и независимый человек, с папиросой в зубах и с пледом на плече. Высокий и огромный вестибюль с лестницами вверх и с коридорами во все стороны... Мудрецы и философы древности смотрят на меня с каменных пьедесталов из стенных ниш и, глядя на них, уже начинаешь чувствовать себя серьезным и умным, совершенно взрослым человеком... Да, покончено с мальчишеством. Довольно этих глупых романов с любовной канителью, сентиментальностью, слезами и клятвами!.. Не такое время... Родина ждет честных работников, требует жертв и отречения от благ личной жизни... Вот только устроюсь и примусь за дело.

— Эта комната отдается?

— Эта самая, только я студентов не пускаю.

— Почему так?

— Беспокойные. В прошлом году замучили обысками да допросами...

— Жаль, комната подходящая...

— А вы — смирный?

— Хм... ручаться за себя не могу: студент.

— Ну, так уж извините.

— Извиняю.

Чорт бы вас подрал! Боятся студентов, как зачумленных: уже в третьем месте не пускают студентов. Все ноги измотал, бегая в поисках комнаты. Только под вечер напал, наконец, на порядочных людей: старушка с сыном; сын тоже студент, хмурый и, по-видимому, дельный парнюга... на третьем уже курсе, медик. Медики симпатичнее, — напрасно я подал на юридический... Наплевать; не понравится, так перейду на медицинский.

— Когда переезжаете?

— Сейчас.

— А где живете?

— Покуда не живу: вещи — на пристани.

Поеду за ними.

Ну, слава Богу, наконец, водворился. Славная комнатка: располагает к одиночеству и работе; два окна в сад, ход отдельный, хозяйева далеко, кухня — тоже... Старушка заботливая: и графин с водой, и коврик у постели, и даже

зеркало. Допотопная этажерка, пузатый комод, два стула, умывальник с тазом и два стола: один для хозяйства, другой — письменный... Отлично. Больше и желать нечего. Развесил по стене портреты Чернышевского, Некрасова, Добролюбова и Дарвина. Великолепно: комната сразу приняла внушительный и молчаливо-говорящий вид. Когда Николай Иванович — так звали студента, сына хозяйки — зашел, чтобы узнать, всем ли я доволен и не надо ли мне еще чего-нибудь, — он сразу понял, с кем имеет дело. Прощаясь, он крепко пожал мне руку и тихо сказал:

— Не желаете ли до утра иметь одну редкую книжечку?

— Какую?

— «Письма» Миртова. Только до завтрашнего утра!..

— Конечно, коллега!.. Очень рад. Я уже в гимназии слышал об этой книге, но не удавалось...

Всю ночь напролет я читал «Письма» Миртова, напечатанные на скверном гектографе, и вздрагивал и прислушивался всякий раз, когда тишина ночи нарушалась каким-ни-

будь звуком на дворе или в соседних комнатах. «Обыск!» мелькало в сознании — и тревожно стучало сердце и звенело в висках. И всё-таки кончил... Да, вот она, вся суть нашей жизни!.. Сразу на девяносто градусов поумнеешь после такой книжечки. Точно глаза раскрылись, слепые раньше глаза... И так ничтожна и пуста показалась мне теперь моя прежняя жизнь, что захотелось искупить, наверстать потерянное время, забыть и не вспоминать своего прошлого «бессознательного прозябания»...

— Удивительная книга! — сказал я на другой день, возвращая с глубокой благодарностью «Письма» Миртова, и при встречах с товарищами прежде всего осведомлялся:

— «Письма» Миртова читал?

— Нет. А ты?

— Читал, конечно.

— Это... нелегальное?

— А ты думал — «одобренное» начальством?

— Как же ты добыл?

— Ну, брат, на такие вопросы не отвечают...

С каждым днем университет становился шумнее, многолюднее. Как птицы разных пород и разных стран, слетались в одно место молодые костромичи, самарцы, саратовцы, астраханцы, вятчане, пермяки, сибиряки — и площадка и коридоры университета напоминали смешанный птичий разговор... Молодые умные лица, веселые глаза, здоровый смех, приподнятое настроение. Кипит жизнь, торопливая, жадная, ищущая... Хорошо чувствовать себя членом этой шумной жизнерадостной молодой толпы... То растает она по аудиториям и стихнет, то вновь вырастет и загудит, как улей...

В свободный час между лекциями приятно посидеть в библиотеке-читальне: тихо, напряженно тихо, только один шелест газет, книжных страниц, шаги на цыпочках и шопот. Словно в храме — священнодействие. Серьезные углубившиеся лица, склоненные головы с упавшими прядями волос и словно вся комната пропитана какой-то невидимой мозговой энергией...

Кончились лекции. Шумными компаниями расходимся по кухмистерским и «домаш-

ним обедам». Кормят «дешево и сердито». Приятно после такого обеда заказать дома самоварчик, посидеть за чайком и побренчать на гитаре.

— Николай Иванович, хотите стакан чаю?

— Спасибо, я не за этим... Вот что, товарищ: не разрешите ли воспользоваться вашей комнатой, сегодня вечером, для кое-какого дела? У меня тесно, а на собрании будет человек двадцать...

— Могу... В восемь я уйду и вернусь не раньше десяти.

— Вполне достаточно. Спасибо! Дело общественное, надо помогать друг другу...

Николай Иванович крепко пожал мне руку и ушел, а мне было хорошо и приятно, потому что я, хотя и косвенно, могу оказать услугу «общественному делу». Да, теперь ясно, что Николай Иванович стоит близко к тем людям, которые страшно меня интересуют и притягивают к себе своими героизмом и страданиями... Я их еще не знаю, но чем больше читаю их страстную, словно кровью и слезами облитую «нелегальную литературу», тем сильнее чувствую, что я с ними. Пока я хочу

приблизиться к ним хотя бы небрежностью в костюме, пренебрежением к разным глупым приличиям, к воротничкам, галстукам, прилизанным прическам... Волосы — как у Чернышевского, шляпа — как у беспечного итальянца, ворот рубашки — как у молодого Байрона, а в руках — толстая суковатая палка, как эмблема силы и прав «грядущего нового»... Я уже спорю с товарищами о «народниках» и «народовольцах» и в спорах стою на стороне последних: у них — гнев и огонь страстей, так близкий моей натуре... Не о них ли скорбит поэт этими красивыми стихами:

*«О, сколько, сколько пало их в
борьбе за край родной,
Отважных, гордых, молодых, с
открытою душой!..»*

Когда я прочитал биографию одной из павших в борьбе и последнее письмо ее к матери, я долго плакал в подушку, словно вернулся с кладбища, где оставил свою невесту...

— Милая, бедная... молодая, прекрасная! — шептал я, обливаясь слезами, и огонь мести сжигал мое сердце.

Я непрестанно думал о ней, воскрешал ее

в своем воображении и был бесконечно счастлив, когда Николай Иванович достал мне ее портрет. Нет нужды, что портрет — туманная копия, может быть, с копии же... В этой туманности, словно из неведомой загробной страны с нежной грустью и неммым упреком нам, живущим, смотрят такие умные, проникновенные глаза... В поздний час ночи, когда кругом всё затихало, я вынимал из потайного места портрет этой девушки и впивался в него взором, стараясь разгадать кротко светящуюся в глазах мысль... Какая ты была?.. Как ты улыбалась? Как звучал твой голос?.. О чем ты больше всего скорбела, уходя с земли молодою и прекрасною?.. О, как я любил бы тебя, если бы ты не ушла!.. Я отдал бы тебе свою жизнь и сказал бы:

— На, делай с ней, что хочешь!

И снова и снова я перечитывал ее прощальное письмо к матери, начинающееся так странно просто и нежно, словно это пишет маленькая детка, страшно соскучившаяся по мамочке:

«Милая мама!..»

Нет теперь тебя на земле, нет, быть может,

и твоей мамы... А твой призыв к маме остался на земле и не дает мне спать, рождая слезы и скорбь, тоску и мстительность... Не могу спать! Твой образ стоит перед сомкнутыми глазами и шепчет: «Милая мама!», но светает на земле, пора тебе уходить в твое потайное убежище...

— Прощай, милая, бедная... прекрасная...

И я прятал портрет в потайное место... А сам долго еще не расставался с туманным образом оставившей землю девушки... Не знаю, может быть, я любил ее... Часто она приходила ко мне во сне и, склонившись над моим изголовьем, шептала:

— Не грусти!.. Когда-нибудь мы с тобой встретимся...

И когда я вскакивал в постели, пробужденный этим шопотом, мне чудилось, что кто-то мягко и плавно уходит в дверь...

— Милая, милая, если бы ты вернулась на землю!.. Если бы я мог верить, что с нашей жизнью не кончается наша любовь!..

Уже осень. Желтые, красные, оранжевые листья и голые прутья; дожди, ветер, жидкая грязь. Мутное небо. Бегут, бегут куда-то тучи, клубятся, как дым, и нет звезд ночью. Жалобно поет дождевая вода в водосточных трубах и тускло мерцают фонари в лужах по панелям... Поднятые верхи извозчичьих пролетов, раскрытые зонты, грязные ноги в несуразных калошах, непромокаемые плащи... Хорошо в теплой уютной комнате, при лампе под зеленым абажуром, около грустно поющего остывающего самовара, с интересной книгой! Не хочется на улицу...

Утром трудно вылезать из-под одеяла и особенно вкусен сон. Лениво бьют хозяйские часы девять. Надо вставать: в десять — лекция. Кухарка Палаша уже подала самовар и обычную французскую булку.

— А ты встанешь или нет? Наказывал в восемь, а теперь — десятый...

— Завари чай, Палаша!..

— Ну-ка, какой неженка!..

— Долго вчера читал.

— Николай Иванович давно в навирстет ушел, а ты... Околоточный приходил.

— Околоточный? Зачем?

— Небойсь, сразу проснулся... Спрашивал, почему вчера много народу было.

— Ну!

— Ну, сказала, как велел: именинник был...

— Ну и дура: рождение, а не именинник. Посмотрит в святцы и увидит, что врешь. Ну!

— Часто, говорит, у вас именинники очень.

— А ты ему?

— Не я, говорю, их крестила.

— Гм... Николай Иванович знает про это?

— А как же! Встал рано и забеспокоился. А вот ты прохлаждаешься... Он тебе записку оставил. На-ка вот!

«Коллега! Если имеете что-нибудь предосудительное, сейчас же сплавьте в надежное место: есть основание ждать гостей».

Вскочил, как ошпаренный: в печке — еще сырой гектограф, а руки — в синих гектографских чернилах.

— Вот так штука!.. Палаша! Дай дров и растопки!

— Озяб? Я затоплю, дай управиться...

— Я — сам. Где дрова? Живо!

Ну, слава Богу: печка пылает огненными языками и огонь-союзник быстро пожирает следы преступления. Жаль, да что поделаешь... Мою и скоблю руки, сержусь: не отмываются.

— Ты что, ровно белье подсинивал?

— Картины, Палаша, красил...

Наскоро хлебнул чаю и побежал к товарищу, с которым вчера работал, чтобы подальше спрятал нашу свежую брошюру — «Хитрую механику»: пятьдесят экземпляров навалили с оповещением: «Издание партии Народной Воли»...

— Тревога, брат!

Задыхаясь, сообщаю о предупреждении Николая Ивановича.

— Как быть?

— На подволоку! Спустим на веревках между стен дома и обшивкой.

— Это — мысль!

Весь день прошел в тревоге. Ночь — тоже. Каждый стук, шум на улице, говор на дворе заставляли вскакивать и, подкравшись на цыпочках к выходной двери прислушиваться

и ждать звона шпор...

— Уф! Никого нет... Померещилось... А впрочем, милости прошу: у меня чисто, а потому в сущности глупо так волноваться. Спи, баба!

Так и не пришли, напрасно прождал... И всегда так: когда ждешь — ни за что не придут, а когда и в мыслях нет — как снег на голову.

Скоро обычный студенческий бал в пользу недостаточных товарищей. Первый бал в моей студенческой жизни. Это — целое событие, на неделю оторвавшее меня от занятий наукой и политикой... Попал в распорядители: почетно, приятно, но очень хлопотно. Выбрал благую часть: оборудование «Мертвецкой». Долго не разрешали «Мертвецкой»; однако мы добились своего под условием некоторых ограничений в правах. Уж какой бал без «Мертвецкой»: мы скорей согласились бы на бал без музыки!..

— Только без речей, господа!

— Я говорю о речах возбуждающего характера. Можете петь, выпивать, но прошу воздержаться от грома и молний. Иначе дворяне

не дадут больше вам зал своего Собрания.

— Мертвецкая без речей...

— Всё, господа, можно, но... должны быть границы. При закрытых дверях, конечно, как в семье, но трудно, господа, уберечься от посторонних наблюдателей...

— За это ручаемся!.. Ни один прохвост не пройдет...

Отлично. Теперь закупки для буфетов: чайного и выпивального... Чайный всецело отдаем женщинам, курсисткам: им и книги в руки, а мы займемся только напитками. Подороже надо цены на хмельное, а то очень быстро «Мертвецкая» принимает хаотический характер: ссорятся и орут — не дают поговорить... Не все с этим согласны.

— Господа, я протестую. Дерите с буржуазной публики, а не с пролетария. У нас два буфета: верхний и нижний, один буржуазный, другой — демократический...

— Верно! Как же это не выпить в такой день? К чорту аристократов!

— Пиво должно быть изъято от всякой пошрины.

— Тише, господа! Слова! И петь будем, и

пить будем, а смерть придет — умирать будем...

— Браво, Касьянов!

— Пускай на верхах пляшут вальсы, пьют токайское и пробавляются адюльтерами, а нам — пиво, «барыня», «дубинушка» да речи!..

— Браво, Касьянов!

Демократы победили: налог оставлен только на благородные напитки, то есть коньяк, ликер, вина. Пиво и водка — по заготовительной цене...

— Брраво-оо!..

Бал. Дворянское Собрание блещет огнями. К подъезду бесконечной вереницей подкатываются кареты и санки, из которых выпархивают, при помощи швейцаров, лакеев и кавалеров, полные грации и кокетства — закутанные в мантильи, капоры и пуховые шали девицы, за ними — полновесные мамыши... Опережая их со всех сторон, бежит молодая, «безлошадная» публика: студенты, курсистки, гимназисты, реалисты...

Широкие лестницы вверх убраны взятыми на подержание лаврами, олеандрами, пальмами. Благообразные студенты с цветными

бантами на груди встречают и разводят гостей по местам. Белые туалеты, огни драгоценных камней, цветы, веера, прически, перчатки, фраки, голые плечи и руки, одуряющий запах духов и беспрерывный радостный шум смеха и говора, шелковых шлейфов, стекляруса... И улыбки, улыбки, улыбки...

В «Мертвецкой» еще малоллюдно и благообразно. Молодые лица, оживленные разговоры, скромные платья, звон чайной посуды, остроты. Работает только чайный стол с пирожными и фруктами, а Касьянов с помощниками лениво толкуются за стойкой и безрезультатно дразнят бутылками...

— Плохо, Касьянов?

— Не пришел еще час наш.

— Игнатович! Вы обещали мне третью кадрили...

— Неправда!.. Почему третью?

— По любви...

— Не говорите, Касьянов, глупостей...

— До умного слова еще много осталось...

— Началось!..

Сверху доносится загремевший рояль... Сразу все притихло на лестнице и в «Мерт-

вещкой»...

После первого отделения концерта — наплыв в «Мертвецкую» чистой публики: разряженные барышни, под прикрытием кавалеров, с затаенным любопытством и некоторым страхом, прохаживаются по «Мертвецкой» и разочаровываются:

— Чего же тут неприличного?.. Мама пугала, что тут Бог знает что!

— Ложные слухи! — произносит из-за стойки Касьянов и вздыхает.

Курсистки делают друг другу большие глаза. Потом дружный веселый хохот и остроты на счет Касьянова:

— Касьянова-то и не заметили!..

— Я, кажется, вполне приличен, медам распорядительницы...

Наверху хор студентов пропел три раза «Гаудеамус», и гром аплодисментов, грохот передвигаемых стульев и хаос отдаленного говора сотен голосов возвестил об окончании концерта... Скоро сверху полился плавный и задорный вальс. Начались танцы.

«Мертвецкая» ожила: сюда схлынула вся демократическая публика и заняла все столы,

стулья, подоконники... Зазвонили стаканы, захлопали пробки, и к чорту полетел всякий порядок... Говор, смех, споры... Кто-то уже затягивает «Дубинушку»:

*«Много песен слышал я в родной
стороне,
Не про радость, а горе там пели,
Но из песен из тех в память врезалась мне
Одна песнь про родную дубину-у...»*

И все, умеющие петь и неумеющие петь, грянули:

*«Э-эх, дуби-и-нушка, ух-нем,
Э-эх, зе-ле-на-я сама пойдет...
Сама пойдет, сама пойдет, да ух-нем!..»*

Сейчас же нашелся другой, лучший запевала, и не успел еще хор кончить «ухнем», как он из другого угла гулким басом, с душевным надрывом, затянул:

*«Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать невмочь, —*

Он затянет родную дубину-у-у»...

И гремит хор сильных молодых голосов, заглушая игривый, певучий вальс наверху. Поют, словно хотят отдать этой песне всю силу своей молодости, своей удали и всех светлых надежд на будущее. Как молитву поют, с восторженными лицами, горящими глазами, живыми жестами. И когда стоишь в этой поющей толпе и сам поешь, разгорается в душе жажда неведомой борьбы с неведомым врагом... Угораешь от этой соборной песни... Не там, наверху, студенческий праздник, а здесь, в тесных и душных комнатах, в облаках табачного дыма и в гуле и раздолье любимых песен...

— Братцы! «Выдь на Волгу»!

— «Выдь на Волгу!»

И бас с надрывом уже начинает, а хор подхватывает:

*«Выдь на Волгу, — чей стон раздается
Над великою русской рекой.
Этот стон у нас песней зовется,*

—
То бурлаки идут бичевой...»

— Ти-ше! Ти-ше!

— Слова! Слова!..

— Товарищи! Ти-ше!

Кто-то стоит на столе и беспомощно размахивает руками. А в другом углу затягивают «Черную галку»...

— Ти-ше!

Стук по столам, ногами по полу. Притихли. На столе лохматый Николай Иванович. Приятно: точно сам говоришь. Я уже заранее согласен со всем, что скажет мой сожитель: мы — единомышленники...

— Господа! Товарищи! Братья и сестры!

— Родные и двоюродные!

— Тише, Касьянов!

— Вон Касьянова!..

— Говорите, товарищ!

— Нам разрешили плясать, пить и пить...

Но потребовали, чтобы мы молчали, т.-е. не обменивались нашим образом мыслей... Господа, не время предаваться благоговейному молчанию. И если мы, студенты, будем молчать, то заговорит Валаамова ослица!..

— Бра-а-во!

Дружный взрыв рукоплесканий, смеха и

поощрений.

— Ти-хо! Ти-хо!..

— Господа! Я отвечу им, поборникам глубокомысленного молчания, словами поэта:

*«Над вольной мыслью Богу
неугодны
Насилие и гнет...
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!..»*

Снова грохот плескающих рук, топочущих ног, стульев, криков «браво» и снова напряженное внимание и вибрирующий от волнения страстный голос оратора...

Я слушал и дрожал, как в лихорадке. Словно камнями, оратор кидал сильными и образными словами и сравнениями в стены, за которыми спряталось зло жизни, и одного за другим выводил оттуда его виновников. Я пожирал глазами оратора и душа моя рвалась обнять его, и плакать у него на груди, и клясться, что я готов на жертву... Когда я оглянулся и обвел взором товарищей, мои глаза встретились с сотнею горящих, сверкающих глаз, в которых трепетали молодые души слушателей... Счастливый оратор!.. О, если бы я

мог говорить такими огненными словами и сливать людей в одну душу и одно сердце!..
Кончил:

«Нас обвиняют в жестокости... Нет, мы не жестоки... Мы болеем душой за всех гонимых, болеем за дорогую родину... И во имя любви к ним зовем вас на подвиг... Любовь, большая любовь, чужда смирению... Господа!»

«Любовь к нам явилась облитая кровью С креста, на котором был распят Христос!..»

Шумный экстаз пылающих душ... Крики, стук по столам, о пол... Благодарные руки тянутся к оратору, многие целуют его... А кто-то уже взобрался на подоконник и требует слова... Но в дверях — смятение: свистят, грозят и кого-то гонят вон... Под дружный смех...

— Братцы! Братцы! Не пускать сюда буржуазию...

А в углу снова пение:

*Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не слыхал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не страдал...*

— Господа! Профессор Загоскин!

— Тише!

— Профессор Загоскин!

— Качать!

— Качать! Качать!..

И любимый профессор, под гром аплодисментов, плавно взлетает в вышину, беспомощно взмахивая руками... А наверху — победные взрывы мазурки из «Жизни за царя» и глухой топот бесчисленных ног: словно там целый эскадрон носится по паркету, потрясая оружием...

XXI

С головой ушел в общественные дела: я — библиотекарь, судья чести, казначей землячества, курсовой староста...хлопот и беготни — не оберешься. Не хватает времени. Наука уже не кажется, как раньше, самым важным и первым делом. Товарищи относятся с уважением, да и сам чувствуешь, что ты — не заурядный первокурсник, а — «сознательная личность», о которой пишет в своих письмах Миртов... Неутолимая жажда работать — неудовлетворенность от сознания, что надо

делать что-то большое, значительное, а делаешь пустяки... Как подойти к этому большому? Как попасть в настоящее дело?.. Всё стоишь где-то в стороне, сбоку, около. Конечно, и на этом месте ты полезен, но в душе есть смутное предчувствие, что не пришел еще твой настоящий час...

— Николай Иванович! Я хочу поговорить с вами...

— Отлично. В чем дело?

— Я хочу поступить в партию...

— Ну-с!

— Как это сделать?

— Почему же вы спрашиваете об этом меня? Это странно.

— Я думал, что вы... вы... можете...

— Напрасно. Я вам не давал повода.

— Вы мне не доверяете?.. — спрашиваю, опустив голову, и вспыхиваю от обиды. На глазах — слезы. Губы дрожат.

— Обижаться тут не на что: если бы я был даже в партии, я уклонился бы от этого разговора. Мы еще мало знаем друг друга, и потом... вы делаете свое дело, помогаете, вы на своем месте... Вы, государь мой смешно рас-

суждаете: поступить нельзя, надо сделаться...

— Не понимаю... Как это сделаться?.. Сам я не могу сделаться...

— А вдруг вы уже сделались?

— Даю вам слово, что — нет... Иначе я не просил бы вас... Не понимаю...

— Не сердитесь. Я вас люблю и уважаю... Юны вы еще... Не закалились...

— Но вы мне *верите*?

— Да. Кто это... в альбоме?.. Сестра ваша?

— Это... Это... одна знакомая девушка.

— Какое милое лицо!..

— Да...

Когда вышел Николай Иванович, я раскрыл альбом с родными и знакомыми и отыскал портрет Зои. Чем-то родным и далеким повеяло на меня от него и грусть о чем-то прошлом и милом стала наполнять душу. И чем дольше я смотрел на портрет, тем сильнее становилась грусть. С печальной улыбкой смотрели на меня знакомые глаза, и нежная застенчивость светилась в них затаенным огоньком пугливой девичьей любви. Ведь снималась она для меня, «на прощанье»!.. И вдруг я вспомнил золотисто-розовый вечер

на Волге, паролод, окоо каюты и девичье личико, смущенное, украдкой бросающее на меня пугливый любящий взгляд:

— Мне стыдно...

Удивительно близкое, родное лицо... Кого она напоминает?.. Да, да, она похожа на ту, которую я люблю втайне, далекую, навсегда ушедшую с земли и перед смертью кроткими, тихими, ласковыми словами безысходной скорби утешавшую мать: «милая мама»... Та, ушедшая — старше и печаль ее глаз глубже, но, быть может, когда она была гимназисткой — и у нее в глазах так же светился огонек радостных предчувствий любви и эта милая застенчивость. С лихорадочной поспешностью я достал из тайного убежища «запрещенный» портрет и стал сравнивать этих двух женщин: ушедшую с земли и ушедшую из сердца. Да, удивительное, странное сходство! Точно две сестры. Вот эта — старшая, а эта — младшая. И непохожи, и похожи. Трудно уловить, в чем сходство, но оно поразительно. Именно так бывает иногда с сестрами... Соня и Зоя. Сестры. Старшую я люблю, но она никогда не узнает этого, и никогда я не

увидю ее и не скажу ей о своей любви, а младшую я любил и... она знает и любит меня, но я...

— Прости меня, Зоя!.. Я так виноват перед тобой, моя белая, чистая девушка с золотыми косами. Пришел черный дьявол и украл у меня твою любовь... Где ты, и вспоминаешь ли ты о том, как мы с тобой встретились и как полюбили друг друга? Как мы ехали с тобой на пароходе и как расстались, не думая, что никогда уже более не встретимся? Я куплю красивую раму и выну тебя из этого старого альбома: прости, что я оставлял тебя вместе с этим черным дьяволом, укравшим наше счастье.

Я купил красивую раму из красного дерева с бронзовыми украшениями и вставил в нее обеих женщин: младшую, Зою, — впереди, а старшую, Соню, — позади, позади, чтобы она по-прежнему жила в моей комнате невидимо... И когда я, отрываясь от книги, взглядывал на портрет в раме, я всегда видел обеих; видимую и невидимую... Они сливались воедино и рождался какой-то общий, мутный образ далекой девушки, которую я любил,

люблю, но потерял и теряю. Трудно передать это словами, но, быть может, я подойду ближе к передаче своего чувства, если сравню его с тем, которое испытывает потерявший любимую женщину человек при виде, очень похожей на умершую, сестры ее: острое сострадание и острая радость, прошлое в настоящем, настоящее в прошлом, мертвое в живом и живущее в мертвом... Далеко и близко... И когда товарищи спрашивали меня, кто это стоит у меня на столе в красной раме, я говорил с печальным вздохом:

— Моя умершая невеста.

И когда я, перед сном, долго всматривался в образы этих двух женщин, мне снились прозрачные, нежные радостные сны, тонкие, как серебряная паутина, хрупкие и неуловимые, пугливые, которых никак не вспомнишь при пробуждении; а когда смотреть на черную Калерию, то снились нечистые огненные сны, сумасшедшие женщины, грозы и вихри, красные губы и пьяные глаза — нечистые сны, от которых и после пробуждения я еще долго не мог придти в себя и стряхнуть с души кошмар ночных видений... И когда, после

таких снов, посмотришь на стоящий на столе портрет в красивой раме, печаль и стыд грызут душу... Лучше не смотреть на этого черного дьявола и на ее колечко с красным рубиновым огоньком. Бросить это проклятое кольцо... Почему жалко его бросить? Ну, спрятать его подальше, чтобы не попадалось так часто на глаза. Маленькое колечко, едва влезает на первый сустав мизинца. У нее были удивительно тонкие руки, цепкие и тонкие... Где теперь она и что она думает обо всем, что случилось? Ах, да Бог с ней! Какое мне дело, где, с кем, что думает?..

— Прости меня, чистая белая девушка с золотыми косами!.. И хотел бы, и боюсь с тобой встретиться.

— Мне стыдно...

Быстро летит время; незаметно подкрались полукурсовые экзамены... Надо наверстывать время, отданное общественным делам... Охо-хо, ничего-то я не знаю... «Энциклопедия права»... Что за штука такая?..

— Право понимается в двух смыслах: субъективном и объективном. Так-с! Пускай его! «Право в субъективном смысле...»

— Зудишь?

— Здравствуй! Читаю Энциклопедию права.

— Скучная материя...

— Я только что начал. Говорят — режет?

— Меня прогнал: я отнес к естественным правам человека право отвечать на насилие насилием...

Весело хохочем над смущением профессора и собственным остроумием...

— Ну, ну, а — он?

— Государство, говорит, несовместимо с насилием... Хотя, говорит, в некоторых случаях, оно допускает принудительный образ действий, но и т. д. Заспорили; я закидал его фактами и противоречиями. Обозлился и прогнал. «Права»! Одни жрут до отвала, а другие — подыхают от голода; а когда начинают кричать — им затыкают рот тюрьмами, ссылками, штыками... А мы с тобой кончим юридический и сделаемся слугами этих «прав»...

— Чорт с ними, с этими правами! Я перейду на медицинский. Там и публика приятнее.

— Не забудь, что сегодня — собрание. По моему, нечего прятаться и надо назвать наш

кружок не «Союзом прогрессивного студенчества», а «Союзом молодых народовольцев»...

— А имеем ли мы право так называться?

— Ну, опять — «право»!.. Ты уже помешался на правах... К нам присоединяются две курсистки: Вера Игнатович и Надежда Корнева...

— Да ведь они — «землевольты»!

— После нашего спора с противниками переходят к нам.

— Bravo!

— Это твоя победа. Ловко ты их тогда разделал. Во все стороны перья полетели...

— Я?.. Гм!..

Товарищ ушел, а я долго ходил по комнате, гордо поглаживал себя по голове и говорил:

— Молодчина!.. Ей-Богу, ты неглупый парень.

А потом схватил портрет и, поцеловал Зою, шепнул через нее Соне:

— Нашего полку прибыло!

У нас есть нелегальная библиотека и гектограф, но библиотека — жидковата: десяток брошюрок и десяток запрещенных книг, а гектограф... очень уж несовершенное орудие: больше измажешься, чем наработаешь, да и

невнушительно. Вот хоть плохонькую типографию соорудить бы!.. Трудно. Нет связей с наборщиками: наворовали бы. Шевелится смутный вопрос: «честно ли это», но сейчас же и затихает:

— Не с корыстной целью, а для общего блага!.. Бывают случаи, когда цель оправдывает все средства. Ах, если бы типография!..

Однажды, когда я поздно ночью вернулся с окраины города, с испачканными синими гектографическими чернилами руками и наскоро отмывал их в темной кухне, Палаша проснулась и сонным голосом сердито сказала:

— Шляешься — не знай где... А тут два раза барышня приходила к тебе.

— Какая барышня?

— А я почему знаю! К тебе много ходят. Записку на столе оставила.

«Милый, родной мой! Я — приехала. Остановилась пока в меблированных комнатах „Заря“, на Проломной улице. Приходила к тебе дважды. Жду тебя завтра утром. Твоя З.»

Сперва я страшно испугался. Словно меня поймали на месте какого-то скверного пре-

ступления. Я запер дверь, прилег на постель и притих. Что же теперь делать? Что делать? Как сказать, что я уже не тот, что все прошло и что она ошибается, называя меня прежним «родным и милым»?.. Что я наделал! Зачем я не написал ей, что все кончилось, что все это было ошибкой, увлечением, которое кануло в прошлое и не может вернуться?.. Нет сил пойти и сказать все это прямо в лицо. Лучше написать. Я вскочил с кровати и стал писать нервно, торопливо, словно боялся, что она может каждую минуту придти ко мне. «Многоуважаемая». Нет!.. «Добрая, хорошая Зоя Сергеевна»... Нет! нет! «Милостивая Государыня»... Нет, это жестоко и пошло. Я рвал бумагу и волосы на глупой голове, которая отказывалась помочь мне в этом затруднении. Можно не называть.

«Наша близость была ошибкой. Что прошло, то не вернется. Простите меня. Надеюсь, что это не помешает встречаться нам товарищами»...

Написал, заклеил в конверт и положил на столе. Лег и снова вскочил, разорвал конверт и стал перечитывать и писать, варьируя все

те же жестокие слова и не находя других. А из рамы на меня смотрели с нежной грустью и застенчивой лаской глаза белой девушки и словно молили о пощаде.

Милая, бедная голубка! Ну, как же нам быть и что мне сказать себе? Может быть, я немного люблю еще тебя, но потух тот пламень, которым горела душа при каждом твоём слове, при одном звуке твоего милого голоса, при каждой случайной встрече наших глаз. Моя любовь к тебе покрылась какой-то грустной дымкой прошлого и не вспыхивает прежним пламенем. Тяжело мне, дорогая. Но я не виноват: я тогда верил, что моя любовь к тебе непобедима. Я хотел бы упасть к твоим ногам и поплакать, я хотел бы рассказать тебе, как всё это случилось... Но ты оттолкнешь меня и не захочешь моей правдивой исповеди. Да и сил нет пойти к тебе, называющей меня «милым и родным», и разбить твое золотое сердце. Я боюсь посмотреть в твои глаза, потому что они не встретят в моих ответного восторга и трепета любящей души... Надо всё это написать, чтобы ты поняла и простила. Ты ведь добрая и кроткая, ты — чистая, а я...

уже грязный... Как сказать тебе об этом? Зоя, Зоя! Лучше бы ты не приезжала... Обоим было бы лучше и легче...

Всю ночь напролет я метался в постели и по комнате, а когда Палаша завозилась в кухне, я потихоньку вышел на улицу и побрел к меблированным комнатам «Заря». Было еще очень рано и не было опасности встретиться. И всё-таки я долго бродил по другой стороне улицы, не решаясь приблизиться к дверям «Зари». Наконец решился, быстро вошел в крыльцо и, подав швейцару свое письмо, строго приказал:

— Немедленно передайте в № 24.

А потом быстро вышел и еще быстрее зашагал прочь, с чувством радостного освобождения от лжи — и глухой тоски по чем-то навсегда утерянном. Домой я не пошел: что-то пугало меня идти туда, и я очень долго бродил по отдаленным улицам и закоулкам, пугаясь встречных девушек, в которых мне по минутно чудилась Зоя...

— Письма или записки не было?

— Нет.

— Кто-нибудь был?

— Был. Студент.

— А барышни никакой не...

— Не было!..

Так начиналось теперь каждое мое возвращение домой. Когда Палаша говорила, что была барышня, я начинал подробно выспрашивать ее, какая из себя та барышня, и помогал Палаше нарисовать Зою:

— С большими золотыми косами, да?

— Нет, какие там косы! стриженная... К тебе с косами-то не ходят.

Когда признаки подходили, я показывал Палаше портрет:

— Не эта?

— Да ведь ты сказывал, что эта померла уж!

— Не твое дело... Воскресла, значит!..

— Эх ты, безбожник!

Ничего не ответила мне Зоя. Напрасно я ждал письма с упреками, слезами, мольбой... Ничего! Оборвалось и упало в пропасть всё, что было... Чего же я жду и зачем так упорно

справляюсь у Палаша? Почему меня преследуют мысли о Зое и почему мои взоры на улицах пытливо скользят по встречным девушкам, с затаенной надеждой встретить именно ее? Почему я каждый день подолгу смотрю на портрет и улыбаюсь ему грустной улыбкой? Не знаю, ничего не знаю. Где она теперь? Быть может, она уехала из города, и я напрасно боюсь и надеюсь с ней встретиться... Какая она стала теперь? Как она переживает наш разрыв? Быть может, не переживает его, а, быть-может, уже примирилась и кто-нибудь из студентов снова разбудил ее красивую душу, и она снова кому-нибудь стыдливо опускает ресницы... Почему — нет? Ведь я... Ах, проклятый черный дьявол, с черным пламенем в бесстыжих глазах, зачем ты встал на нашей дороге и разрушил такое чистое, красивое счастье? Где ты, Зоя? Мне хотелось бы узнать только одно: здесь ты или тебя нет в этом городе, где живу я...

Несколько раз я порывался зайти в «Зарю» и спросить, не здесь ли до сих пор живет Зоя, но не решался. И вот однажды...

Курсистки-фельдшерицы устроили вече-

ринку, и я, как непременный гость всех идейных вечеринок, конечно, попал и на эту. Было тесно, шумно и весело: говорили речи, пели, танцевали, декламировали запрещенные стихи. В числе любимых декламаторов был и я... Вот уже увидели, хлопают, требуют, кричат по фамилии и называют любимое... Я гордо закидываю назад волосы, выхожу на маленькую эстраду и воцаряется привычная уху тишина, чуткая, пропитанная нервным электричеством...

*Что мне она: не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь?..*

— начал я декламировать и обвел взорами сверкающую глазами толпу студентов и курсисток. Что это? Чьи это глаза странно так, пристально и удивленно, смотрят прямо в мою душу? Неужели — Зоя!.. Я замаялся, опустил глаза и каким-то чужим голосом продолжал декламировать. Меня тянуло в ту сторону, где я столкнулся взорами с той, похожей

на Зою, девушкой, но я не смел туда смотреть... Кончил — шум аплодисментов и крики: «бис»! Я раскланялся, показал жестом руки на шею и сошел с эстрады, отговариваясь болезнью горла, забрался в буфет и боялся выйти в зал. Окружив себя товарищами, я пил с ними пиво, говорил о серьезных вопросах, а сам трепетал от страха и радости какого-то ожидания... Она, она! Это ее глаза смотрели на меня с каким-то грустным изумлением. Я это не только увидел, я это почувствовал... Еще раз, хоть один только раз, увидеть бы ее всю, а не одни глаза... Она, она!..

Я низко опустил голову: мимо, под-руку с Верой Игнатович, проходила Зоя. Торопливый жадный взгляд вслед уходящим: точно выросла на целую голову, стройная, гордая, с теми же тяжелыми золотыми косами, оттягивающими назад голову, та же плавная походка. И та, и не та.

— Ты что покраснел?

— Зубы заболели. Горло и зубы.

— Выпей коньяку: от зубов хорошо помогает.

— Коньяку? Что же... Пожалуй!

— Возьми полбутылки: у нас тоже зубы ноют... Деньги есть?

— Сколько угодно: только вчера из дому поддержку получил.

Взяли коньяку, стали пить. У меня быстро затуманилась голова и пропал страх перед Зоей. Ну, что ж, пусть проходит: я встану и раскланяюсь. В сущности, я ничего подлого не сделал, я сказал ей только то, что должен был сказать. Любовь — свободна...

— Выпьем, братцы!

И я затянул из «Кармен»: «Любовь свободна»...

— Посмотри, как похожа эта девица на Маргариту!

— Где?

— А вот, со студентом!..

— Да...

— Хорошенькая! — сказал один из компании и подмигнул.

— Пошляк! — бросил я в его сторону и почувствовал глубокое оскорбление. Началась ссора, но подошли две курсистки и быстро потушили наши сердца. В зале загремела музыка: старый знакомый такой вальс, и от

этого вальса защемило в сердце. «Та-ра-ра-ра, т-а-та, та-ра-ра-та» — подтягивал я роялю и мне хотелось упасть головой на стол и расплакаться. Почему? Не знаю, ничего не знаю... «Та-рам-та-та, та-тааа, тарам, та-та-та-таа»...

— Выпьем, господа! Всё равно...

Потом я встал в дверях, скрестил по-наполеоновски руки и стал с грустной иронией смотреть на кружащиеся в вальсе пары. Подходили раскрасневшиеся курсистки и говорили:

— Я хочу с вами танцевать!

— Увы, не могу доставить себе этого счастья!

— Почему? Вы прекрасно танцуете, — я видела...

— К сожалению, я не заводная игрушка и пляшу только в тех случаях, когда мне хочется.

— Извините!

— И меня равным образом.

Вздрогнуло сердце: взор поймал желанное. С кем это вы, Зоя Сергеевна, изволите так уповательно вальсировать? А-а, с самим распоря-

дителем!.. Мастер своего дела... Как качаются тяжелые косы... Красивая головка. Правда: она напоминает Маргариту... «Тарам-та-рам-та-та». Не обращает внимание. Ну что же поделаешь! Бог с тобой, Зоя!.. Улыбается этому болвану-распорядителю. Очевидно, напрасно я воображал, что мое письмо убьет в ней всякую радость. Эх, вы!.. Все вы — одинаковы!

— Тарам-та-та-та-раам... та-та-таа, та-та...
Идемте, Игнатович, вальс!

— Идем!

Я подхватил Игнатович и с каким-то ожесточением стал кружить ее в вальсе.

— Будет, будет!.. Голова кружится... Ах, противный какой!..

— Мерси!

Посадил Игнатович и пошел опять к товарищам. В дверях, лицом к лицу — Зоя, преследуемая распорядителем. Как огнем обожгло душу и не стало сил пройти мимо, притворившись незнакомым:

— Здравствуйте, Зоя Сергеевна!

— Здравствуйте!

— Пойдемте танцевать... вальс!..

— Простите, я устала...

— Зоя Сергеевна устала...

— Извините, но я приглашаю не вас, а вашу даму...

Вот нахал! Нацепил на грудь дурацкий бант и воображает, что он неотразим. погоди, я тебя научу деликатности. Пора бросить это глупое, бесцельное круговращение.

— Господа! Я прошу слова.

— Музыка! молчать!

— Тише!

Я встряхнул головой и начал речь. Никогда в жизни я не был так красноречив и никогда не горел так в своих словах, как в этот раз. С дрожью в голосе я говорил о зле, опоясанном железным кольцом всю землю, с страстным порывом призывал всех к битве с этим злом, со слезами в глазах бичевал всех, не исключая себя, вызвал перед слушателями образ моей любимой, погибшей в бою женщины и, на память читая ее прощальное письмо к матери, неожиданно для себя разрыдался... Гром рукоплесканий перемешался с криками «тише!», с моими рыданиями, с встревоженными голосами девушек, не знавших, как и

чем выразить мне свои симпатии и со всех сторон протягивающих мне руки со стаканами простой и сельтерской воды. Кто-то требовал доктора...

— Голубчик, что с вами?!.

Кто это? Такой нежный, ласковый голос, готовый оборваться слезами...

— Не знаю, Зоя!.. Ничего не знаю...

— Не надо, Геннадий плакать...

— Да, да... Я не буду... Я не знаю.

Я вскинул глаза на Зою: она отирала платочком слезы, и всё лицо ее пылало огненным румянцем.

— А вы-то что, Зоя Сергеевна...

— Не знаю... Вы так говорили... У меня всё время прыгали эти глупые слезы...

Нас окружили плотным кольцом и нельзя было уйти...

— Господа, вы нас арестовали! — сказал я с улыбкой окружающим, и гром новых рукоплесканий, веселого смеха и криков «браво» ответили на мою жалобу...

— Музыка! Играй! Музыка!..

— Вальс! — прокричал я и умоляюще взглянул на Зою.

— Ну, ладно... пойдёмте уж!..

Зоя кинула веер неотстающему от нее распорядителю и положила руку на мое плечо... Мы закружились в вальсе, и я, как прежде, шептал тихо:

— Милая, милая... если бы ты знала!..

— Не говорите мне «ты»...

— Простите!..

— Мы только товарищи...

— Будем ли мы видеться?..

— Если случится. Что прошло, то не возвратно... Будет! У меня кружится голова... Мерси!

— Мерси!.. Я хотел бы проводить вас до дому... Могу я...

— Извините: Зоя Сергеевна дала мне слово!

— Да, меня проводят...

Опять этот болван-распорядитель... Неужели она...

— Касьянов, хочешь коньяку?

— Еще бы! Вот глупый вопрос.

— Идем в буфет!

Вернувшись на рассвете домой, я уселся за столом перед портретом Зои и долго всматри-

вался в ее лицо, тихо говорил с ним о жизни, о любви и смерти, о чистоте и грязи в поступках. В чем-то старался я оправдаться перед портретом и в чем-то убедить его. А портрет скептически смотрел на меня и ничему не верил.

— Ты чиста и прекрасна в чистоте твоей, но жизнь сомнет тебя... Не гордись предо мною! Тебе ненужна моя любовь... Вижу. Я отдам ее тем, которым не до любви и не до чистоты. Имеем ли мы право уходить в любовь и красоту, когда вокруг нас одни страдания?.. Правда, Соня? Да, конечно!..

Я вынул из тайника портрет Сони и в нем почерпал утешение:

— Ты поймешь и простишь, а эта красавица... слишком она красива!.. Не для нас она, а вот для таких красивых болванов, как этот распорядитель с глупым бантом на груди... Танцуйте, господа, Бог с вами!.. Танцуйте!..

— С кем ты разговариваешь?..

— А, Палаша!..

— Никак плачешь?.. Об невесте, что ли? Не воротишь...

— Не воротишь, Палаша...

— Ты молодой еще... Свет не клином сошелся, найдешь другую. Девочек много. А мертвого слезой не подымеешь... Самоварчик тебе надо?..

В голове зазвучал вальс, под который я кружился с Зоей, и воскресло ощущение ее близости: теплая рука на плече, золотистый локон волос на щеке, запах духов и порывистое дыхание...

— «Тарам-тата-та-тааа, а-та-та-та-тарам-тааа».

— А ты не пой! У нас спят еще...

— Спят. «Спи кто может, я спать не могу!..».

— Ну, хоть другим-то не мешай!

XXIII

...Воскресла моя умершая невеста... Зоя, Зоя, если бы ты могла заглянуть в мою измученную душу! Там только ты, одна ты, моя белая, чистая девушка, и безвыходный хаос страданий и позднего раскаяния... Ты сказала: «что прошло, то не возвратно»... Ах, если бы так! Почему же твой образ неотступно стоит пред моими глазами и тоска по тебе не хо-

чет отпустить меня на волю? И почему вернулся в душу трепет первых свиданий, и я жадно ищу, как прежде, случайных встреч с тобой?.. Ах, теперь эти редкие встречи не дают мне ничего, кроме страдания. Зачем же я их ищу, ищу, ищу... Нет, что прошло, то возвратилось и снова, с еще более властной силой, захватило меня. Счастливая, для тебя оно — «не возвратно»... Ты смеешься над ним... и надо мною...

Я хотел бы уйти с головой, как раньше, в идейную работу, я стараюсь сделать это: усиленно пачкаюсь в гектографской краске, собираю нелегальную литературу, веду пропаганду среди товарищей... но... ты мешаешь мне, потому что не любишь... И я каждую минуту об этом думаю и каждую секунду это чувствую, и у меня опускаются руки, и кажется мне, что не стоит трудиться, пропадает пыл ненависти и потухает жажда подвига... Ах, если бы мы по-прежнему любили друг друга! Мы взяли бы за руки и пошли навстречу смерти без страха и колебаний, и наша любовь осветила бы дорогу многим другим... Перед вечной разлукой на земле мы с

тобой обменялись бы такими письмами, над которыми бы плакали в тишине ночи все живые и честные.

— Игнатович!

— А, здравствуйте, Геннадий!..

— Куда вы?

— В театр за билетами на «Евгения Онегина». Зоя тоже идет... Мы — целой компанией. Идемте, голубчик!

— Пожалуй... Впрочем, быть может, я буду лишним в вашей компании...

— Что вы, Господи помилуй! Вы знаете, как я уважаю вас...

— Вы-то так, да другие...

— А другим — всё равно... Веселее!

— Не знаю, как ваша сожительница...

— Зоя? Вот пустяки!.. Какое ей дело? Приглашаю вас я... Я без вас не пойду!

Игнатович опять посмотрела на меня тем значительным взглядом, который давно уже пугает меня и... раздражает: я давно уже понял, что она питает слабость ко мне, но я... меня это только раздражает.

— Идемте, дорогой подумаю...

— Вы, кажется, равнодушны к моей со-

жительнице?.. Совершенно напрасно...

— Я... Нисколько!.. Почему вам так кажется?

— Не всё то золото, что блестит... Наружность обманчива.

— Игнатович, я не пойду в театр!

— Не отпущу!.. Уверяю вас, что мы обе: и я, и Зоя, будем очень рады. Мы обе вас... вам симпатизируем. Довольны? Руку!

Она крепко пожала мне руку, и значительно посмотрела в глаза:

— А вы?

— Что — я?

— Кому из нас вы больше симпатизируете?

— Не знаю. Обеим одинаково.

— Значит, ни одной из нас...

— Почему такой вывод?

— Ребятишки, когда их спрашивают — кого больше любишь, говорят: обеих одинаково. А это значит, что — никого...

— Я — не ребятишка, а потом...

— Что — потом?.. Сохранили вы ландыш, который я поднесла вам на студенческом балу?

— Ландыш?.. Да, я положил его в книгу, но забыл, в какуюю...

— В любимую, по крайней мере?

— В «Философию права»...

— Как это понимать? Значение?

— Трудно это понять.

Так, перебрасываясь словами, мы дошли до театра. Я сказал несколько приятных фальшивых слов спутнице и, чувствуя, что не могу не идти сегодня в театр, зачем-то всё упираюсь:

— А то уж идите без меня: я лучше почи-таю Бокля...

— Я уже взяла билеты!.. Поздно!.. Галерка, у барьера... Идем!

Мы вышли из театра. Я сердился на Игнатович и на себя, но покорно шел за спутницей: ведь она живет в одной комнате с Зоей...

— Нате билет!.. Рядом со мной... Надеюсь, вы довольны своей соседкой?

— Конечно, конечно...

— То-то!.. А, может-быть, вам хочется — рядом с Зоей?..

— Одинаково приятно...

— Тогда я посажу вас между нами... и по-

смотрю, куда вас больше притягивает...

— Вероятно, я буду больше всего смотреть на сцену...

— Хотите к нам?.. Ко мне! Я вас приглашаю. Другим нет дела...

— Дела нет, но... я не люблю делать неприятностей другим. Не пойду.

— Ну, проводите меня!

— Могу.

— Впрочем, если это вам не доставит удовольствия...

— Доставит.

— В таком случае разрешаю... Давайте... под-руку!.. Скользко. У меня — новые калоши. Насилу нашла: думала, потеряла...

— Что? Калоши?

— Перчатки!..

— Ааа...

— Вы очень рассеянны. Влюблены? да?

— Безнадёжно.

— В кого? Быть может, дело поправимо?

Опять пристальный значительный взгляд. Невыносимо. И всё сношу без ропота, потому что Игнатович мне кажется теперь той ничтожкой, за которую хватается утопающий...

— Ну, до скорого и приятного свидания!.. Сидим рядом. Я довольна.

— Да?.. Вы сильная: больно руку!

— Я люблю почувствовать пожатие. Не делайте вареной руки!.. Ну, вот так!..

Слава Богу, кончились мои муки... Кажется, она вполне убедилась, что именно в нее я влюблен и потому рассеян, смущен и грустен... Чорт знает, как всё это странно и глупо выходит... Эх, Зоя, Зоя!..

Лучше пораньше придти и сесть на свое место, а то потом, когда Зоя будет сидеть уже, как-то труднее будет скрыть волнение, залезая меж ними на свое место. Пришел, когда еще зажигали люстры, и угрюмо и упорно засел в галерке, делая вид, что мне решительно всё равно, кто бы ни сел рядом. Будто, не знаю и не интересуюсь этим. Театр быстро наполнялся и оживал. Вокруг уже кишмя-кишела публика, и я вздрагивал спиной всякий раз, когда позади разыскивали места... Уже грянула увертюра, когда я почувствовал позади шорох платьев и знакомый аромат духов. Не знаю, скрыла Игнатович от Зои о нашей встрече или нет, но Зоя страшно смутилась и

покраснела, когда увидала, что я — рядом.

— Ах... вот как!.. и вы...

— Судьба! — прошептал я со вздохом, но кто-то сердитым басом произнес позади: «прошу не болтать!» — и я замолк, усиленно впившись глазами на сцену. Я не знаю, видел ли я что-нибудь там, но грустная музыка оперы и нечаянные прикосновения к Зое уносили меня в небо и я переставал моментами чувствовать, кто я, где я и что кругом меня происходит. Что-то шептала мне Игнатович, но я смотрел и не понимал.

— Би-нокль! Что с вами?!.

Игнатович привалилась ко мне плечом, и я чувствовал, как ее кровь пригревала мне руку. Это мне было неприятно, но я боялся отодвинуться и нечаянно толкнуть Зою.

— Я вас не стесняю? — прошептала Игнатович и еще сильнее навалилась на мое плечо.

— Ничего...

— Прошу не болтать! — прогудел позади сердитый бас...

— Скажите пожалуйста... Как страшно! — огрызнулась Игнатович...

Упал занавес, загорелись люстры в зрительном зале, и я очнулся от сладостной исто-мы. Очнулся и почувствовал ужасную нелов-кость. Надо заговорить с Зоей. Как и о чем? Мельком взглянул в ее сторону: сидит непо-движно, с опущенными ресницами. Боже, как она прекрасна! Она стала еще лучше. Одна зо-лотая коса лежит на груди, а другая за спи-ной. Подняла голову, вскинула ресницы и слегка улыбнулась...

— Вот и встретились!..

Сказала так просто и взглянула так ласко-во, словно ничего не случилось и всё было по старому.

— Я так давно искал...

— Что вы говорите там? — вмешалась Иг-натович.

— Не верю! — сказала Зоя, и лицо ее вдруг потускнело и ресницы опустились и бросили тень под глазами.

— Чему не верите? — спросила Игнатович.

— Что Татьяна любила Евгения Онеги-на, — недовольно бросила Зоя и отвернулась, предоставив нас друг другу.

— Вот тебе раз! — с досадой заговорила Иг-

натович и, теребя меня за руку, стала доказывать, что Татьяна любила Онегина, а я стал противоречить:

— Если бы она любила по-настоящему, то она простила бы Евгению его ошибку и ничто не удержало бы ее разорвать все путы!

Зоя вскинула на меня грустные глаза и проговорила:

— Пропала вера в эту любовь. Что прошло, то — не возвратно...

— Неужели и вы поступили бы так же? — спросила Игнатович.

— Да. Я только не призналась бы, что всё еще люблю его...

— Ну, наплевать на них! Идем погулять! — проговорила Игнатович и потянула меня за рукав.

— А вы, Зоя Сергеевна?

Зоя взглянула на меня и виноватым тоном ответила:

— Я не люблю толкаться... В другой антракт...

Я сказал глазами, что без нее не хочется, но пошел. И всё время Игнатович волочила меня под-руку и что-то говорила про любовь

Татьяны и вообще про любовь, а я ничего не слышал и утвердительно поматывал головой, думая только о Зое и об ее загадочной фразе, брошенной мимоходом: «я не призналась бы, что всё еще люблю его»... Что это значит? Неужели... Нет, это было бы такое невероятное счастье, что я не смею о нем и думать...

— А, между нами говоря, этот Евгений просто хлыщ. Вы согласны?

— Я? да, да...

— Скажите, откуда взялась ваша фотография у Зои Сергеевны? Разве вы...

— Мы ведь знали друг друга давно...

— Хотите обменяться со мной карточками?

— Да, очень тронут.

Игнатович пожала мою руку локтем и повлекла из фойе.

— Мы замечтались: кажется, началось уже... Ах, мы мечтательны ужасно! — фальшиво протянула она и значительно взглянула в мои глаза.

Невыносимо. Только для тебя, Зоя, можно претерпевать эти испытания.

Опять рядом. Занавес еще не поднят, мож-

но перекинуться словом.

— Как мы редко теперь видимся, Зоя Сергеевна!

— Да.

— Как я раскаиваюсь в том, что нет возврата к прошлому!

— Что ж делать!

— А вы?

— Простите, я не могу сейчас говорить об этом.

— Когда же, когда...

В этот момент взвился занавес, потух свет в зале, я наклонился к барьеру и, как к святыне, приложил свои губы к руке Зои. Она вся содрогнулась, сняла с барьера руку и вздохнула. Ничего не сказала. На сцене разочарованный Онегин уже читал нотации растерянной Татьяне, и вдруг мне показалось, что Онегин — это я, а Татьяна — Зоя. Об этом же, вероятно, думала и Зоя, потому что, когда кончилась эта картина, она обернулась в мою сторону и, печально покачав головой, сказала:

— Хорошо, что еще счел нужным объясниться лично! А то ведь мог ограничиться

письмом с отказом от руки и сердца. Впрочем, не всё ли равно?.. Хотите, пойдём... Здесь душно...

Я вскочил и стал расталкивать столпившуюся в дверях публику... Кто-то обиделся и сердитым басом произнес:

— У нас собственный полицеймейстер!..

— И собственный дурак! — бросил я на эту реплику и подал руку Зое.

— Я не хочу — в фойе. Пойдемте на лестницу, там свежее.

— Куда хотите, Зоя...

Стоим на лестнице: она — облокотясь на перила, я сбоку, не сводя с нее глаз. Так близко, близко... Как прежде! Хочу сказать, что я люблю ее сильнее прежнего, и не могу: что-то стоит между нами.

— Вы, Геннадий, сильно изменились... Вы что-то пережили и вообще какой-то другой... И я — тоже. Оба мы другие. Мне кажется, будто, мы только сейчас познакомились и не знаем, о чем говорить нам между собой...

— Да, Зоя... Я пережил много... Когда-нибудь я вам скажу... А теперь я тороплюсь сказать вам одно, главное...

— Не верю... Если бы вы знали, как я вам верила... и что вы сделали с моей верой в людей вообще!.. Впрочем, это становится похожим на оперу, которая идет на сцене... Бросим и никогда не будем к этому возвращаться. Теперь я хочу учиться, только учиться наукам...

Зоя вздохнула и опустила голову.

— Как хорошо вы говорите!.. Вы — оратор... Я до сих пор не могу опомниться от вашей речи на нашем вечере...

— Всё это не важно... Я невыносимо страдаю, Зоя, от ваших холодных слов.

— Вы — оратор... умеете делать свои слова горячими, а я... погасли мои слова от... ветра... Пора! Идем! Третий звонок...

— Постоим еще! Ради Бога!

— Вы не верите в Бога...

— Ну, ради... прошлого!..

— Не понимаю, Вас, Геннадий. Что вы: искренно, или так... между прочим?

— Вы меня глубоко оскорбляете... Я заставляю вас поверить мне, хотя бы это стоило мне...

Я не договорил и пошел прочь, покинув

Зоя. Я пошел в буфет и, взяв коньяку, присел к столику и стал пить рюмку за рюмкой, чтобы на что-то решиться, что-то сделать... Теперь ясно: прошлое — невозвратно и ничем его не вернешь. Не любит и не может любить... А я не могу. Я не хочу жить. Не хочу. Я хочу теперь только одного: заставить ее поверить моей честности, моей искренности и... в награду получить ее слезы над моей могилой. Да, больше у меня нет выхода.

В буфете было пусто. Буфетчик дремал за стойкой и не надоедали лакеи. Вдали Ленский пел свою предсмертную арию и музыка вторила ему и наполняла скорбью мою душу.

«Благословен и дня при-хо-од, бла-а-гослове-е-н и...»

Да. Кончено! Завтра меня уже не будет. Мелькали мысли о старом доме, о старой матери, о Зое, стоящей около свежей могилы и рыдающей напрасными слезами... Что меня может остановить? Никто и ничто... Только она, сама Зоя... Вот если бы она пришла сюда и почувствовала, что случится этой ночью, если бы она сказала: я боюсь за тебя...

— Геннадий! Что это!..

Я поднял голову и закричал:

— Зоя!

— Что с вами, милый?.. Не надо пить. Отчего вы убежали от меня?..

— Разве вам не всё равно?

— Я могла бы не придти, Геннадий... Не пейте: я рассержусь.

— Ах, Зоя!., мне надо быть сегодня веселым, потому что я ухожу и...

— Если вы меня... любите, вы...

— Я? люблю ли я вас!.. У меня только одна возможность доказать это.

— Будет говорить глупости... Идем!..

Я посмотрел в глаза Зои и вдруг почувствовал, что светит в них ясный огонек чего-то бывшего, нежного, и зажигает душу жаждой жить, жить, жить...

— Я хочу жить, Зоя!.. Я не хочу умирать.

— Ах, какой... нехороший!.. Рано думать о смерти... нам, таким молодым!

Мы под-руку вернулись в зрительный зал и, под ворчливое сетование публики, пробрались на свои места. Игнатович презрительно покосилась в мою сторону и проворчала:

— Это называется любить музыку...

— Прекратите болтовню! — как шмель, прогудел сердитый бас позади.

Мы сидели с Зоей близко друг к другу, и я не боялся прикосновений, а искал их, потому что от них лилось в душу ласковое успокоение и надежда на возврат потерянного. Изредка украдкой Зоя взглядывала на меня, и я ловил в ее глазах прощение любящей; души. И всё прошло: жизнь казалась прекрасной, и чудным казался бинокль Зои, перламутровый, с ручкой... Ее бинокль, ее бинокль! Милый, родной бинокль! Как я люблю тебя, бинокль!..

Глядя на Зою, я поцеловал бинокль, а она смущенно улыбнулась и потупилась.

— Глупо! — прошептала, наклонившись ко мне, Игнатович....

Конечно, я провожал дам до дому, но не удалось больше поласкать свою душу тихим разговором с белой девушкой. Опять мешала Игнатович: она влекла меня под руку и забрасывала словами о разных книгах, политических вопросах и значительных делах. Я что-то отвечал, иногда невпопад, а Зоя хохотала

и, следуя позади, бросала в нас смятым в комья рыхлым, мокрым снегом. Ах, как мне хотелось бросить серьезные разговоры и, выдернув захваченную Игнатович руку, поиграть с Зоей в снежки и побегать за ней по белым снежным пустынным улицам спящего города!..

— Вот вам!

Звонко смеялась Зоя, радуясь, что снег попал мне за воротник, а Игнатович сердилась:

— Вы, Зоя, нам мешаете: мы говорим серьезно...

Когда мы распрощались и Зоя с Игнатович скрылись за дверью крыльца, я долго еще стоял около дома и не хотел уходить. Было так радостно и светло на душе, как бывало когда-то давно, около дома № 15...

— Надо идти... Ничего не поделаешь...

Я глубоко вдохнул влажный, пахнувший снегом воздух, посмотрел в звездное небо и, сняв шапку, перекрестился:

— Благодарю Тебя, Господи!

Памятная ночь!..

Возвращаясь поздней порой домой, я всегда заходил сперва в переулок, чтобы посмотреть, нет ли в квартире опасности: горящая на окне лампа под красным абажуром, по условию с Николаем Ивановичем, должна была предупреждать о неблагополучии. И на этот раз я скорей машинально, чем сознательно, зашел сперва в переулок:

— Вот тебе раз!

На окне стояла лампа под красным абажуром... Что ж теперь делать? Очевидно — обыск. Но у кого: у меня — или у Николая Ивановича? Во всяком случае, идти в квартиру преждевременно, это значило бы: «не спросясь броду, сунуться в воду». Каждая минута свободы теперь дорога: надо прятать концы в воду. А концы — серьезные: у нас наворовано из типографии уже около полупуда шрифта. Дома у меня всё в порядке, но необходимо подальше перепрятать шрифт и предупредить сотоварищей о грозящей опасности... Ну, а если всё-таки арестуют? Эх, Зоя! не везет нам с тобой. Опять — разлука и, быть может, долгая.

И вдруг тревожная радость встряхнула мне душу: можно и даже необходимо, неизбежно наше свидание сейчас же. Я не могу потерять свободу, пока не узнаю, не услышу из ее уст, что наше счастье воскресло... Я хочу на прощанье услышать на ухо: «милый, родной, люблю тебя»... А потом извольте: обыскивайте, берите, сажайте и так далее.

Я вышел из переулка и, перейдя на противоположную сторону улицы, деловой беспечной походкой направился мимо нашего дома. У ворот — полицейский: зловещий признак; подальше — три извозчика и ночной карульщик — тоже ничего хорошего... Голоса, ведут кого-то... Уселись и едут, обгоняя меня. Неприятное, черт возьми, ощущение: лучше поднять воротник. Отлично: проехали! Так и есть: на среднем извозчике, рядом с жандармом, словно давнишние знакомые, бедняга Николай Иванович; жандарм слегка поддерживает его за талию, словно кавалер — даму...

— Прощай, брат!.. Все там будем!.. А домой я сейчас всё-таки не пойду. Не дурака нашли: там, конечно, засада, попадешь, как кур во

щи...

В общем скверно. Почему же радостно бегут ноги? Зоя, Зоя, Зоя, сейчас я увижу тебя и без слов пойму, вернулось ли «невозвратное»...

У них еще огонек. Пройду двором, спокойнее. Звонка нет. Тревожно стучу в железную скобку двери. Ну, наконец-то!..

— Кто там?

— Свои! К... Игнатович.

— Да они никак полегли уж.

— Нет, у них огонь.

— Сейчас скажу. Как про вас сказать?..

— Студент, который провожал их из театра.

— Ладно!..

Жду, весь насыщенный тревожным волнением от случившейся беды, значительности своего посещения и неизбежной встречи с любимой девушкой... Идут...

— Вы, Геннадий Николаевич?

— Да.

— Что случилось?

Приоткрылась дверь, мелькнуло освещенное огнем свечи лицо Веры Игнатович.

— У нас «гости»! Николай Иванович приказал кланяться, а я пока в бегах. Необходимо поговорить. Нужна помощь.

— Идите!.. Переждите в кухне... Зоя приведет себя в порядок...

Игнатович ушла. Я нетерпеливо ждал, когда меня позовут, и чувствовал неловкость от сердитого ворчания кухарки, которая скрипела из темного угла:

— Неужели самовар опять?.. Спокою нет от самоваров ваших...

— Спице, спице!.. Никаких самоваров не потребуется...

— Уснешь с вами!..

— Геннадий, можно!..

Вхожу за Игнатович в комнату и прежде всего встречаю глаза Зои, большие, горящие испугом глаза под накинутой на голову шалью. Она сидит на кровати, неподвижная, с тревожным вопросом во всей фигуре.

— Скверно, господа!.. Николай Иванович взят, я — последняя ночь на воле...

— Боже мой! — прошептала Зоя, и, вскочив с кровати, села рядом со мной и прижалась, вздрагивая плечами и кутаясь в шаль.

— Что же делать, Геннадий?..

Игнатович злобно посмотрела на Зою и огрызнулась:

— Сидите уж... Без вас обойдутся...

Зоя встала и вздрогнувшим голосом произнесла:

— Может быть, я здесь лишняя?.. Я могу уйти...

— Нет, Зоя! Мне необходимо сказать вам...

— Может быть, я — лишняя? — вызывающе спросила меня Игнатович.

— Вас, Игнатович я попросил бы на несколько минут...

— Извините... эта комната принадлежит не одной Зое, а нам обеим...

Зоя как-то сжалась, и наступила тяжелая минута общего замешательства...

— Мне надо, Зоя Сергеевна, поговорить с вами относительно... Надо сообщить моей матери и потом еще сделать кое-какие распоряжения... вроде духовного завещания... Простите, Игнатович, если я нарушил ваши права на комнату, но...

— Теперь ночь. Никуда я не пойду из своей квартиры...

— Я вас и не прошу об этом... Я прошу вас, Зоя!.. Пойдемте и немного погуляем и поговорим... Потом я вас провожу... Полчаса какие-нибудь...

— Хорошо... Я — сейчас. Подождите меня у ворот...

Я молча кивнул головой и тихо пошел вон. Когда я в полутьме искал в кухне калоши, в тишине ночи мне почудился сдерживаемый плач. Что такое? Кто это плачет? Зоя?.. Нет, она что-то говорит. Неужели Игнатович!.. О чем? Чем я ее так разобидел?.. Ах, да черт с ней!..

Я прохаживался около ворот и думал, что я скажу Зое. Сказать надо много-много, а все слова убежали. Осталось только одно: люблю и хочу услышать только это же слово из твоих уст. Не умею начать... Помоги, Господи! Идет она... Тревожно поскрипывает снежок под ее торопливыми шагами. Забилося сердце и трудно вздохнуть...

— Как тихо! — сказала Зоя, остановившись около меня, и потупилась...

— Мне показалось, что у вас кто-то плачет... Пойдемте!..

— Вы, Геннадий, жестокий человек...
Неужели вы не видите, что Вера любит вас?

— Я просто не могу и не... хочу, Зоя, этого видеть. Я ее ненавижу.

— За что?

— Не знаю. Может быть, за то, что она... плачет...

— Любит?

— У нас так мало времени... Бог с ней!.. Я пришел только к вам.

Я хотел перейти к делу, но говорил совсем не то, что хотелось. Я начал давать ей совсем ненужные поручения, которые мог исполнить любой мой товарищ: написать и успокоить старуху мать; если меня арестуют — сходить к матери Николая Ивановича и сказать ей, чтобы не беспокоилась за мои показания при допросах, а комнату — сдавала, не дожидаясь моего освобождения; просил Зою еще о чем-то... Она волновалась, переспрашивала, боясь что-нибудь не понять, или позабыть, или сделать не так, как надо. Она дорожила каждым моим словом, каждым жестом, каждым взглядом. А голосок ее вздрагивал всё сильнее и в глазах была тоскливая растерян-

ность... Мы шли всё дальше, вперед, сами не зная, куда... Вышли за город и очутились на дороге, ведущей к кладбищу. Тишина была вокруг удивительная. Вчера весь день шел пушистый снег, и теперь хаос покрытых чистым снегом домовых крыш весь город превратил в сказочный, сделанный из снега, а все деревья, на которых осел и застыл сырой туман — в фантастические искусственные растения из белых пышных кружев...

— Последняя ночь на свободе!.. — прошептал я после долгой паузы, когда ничего больше не мог придумать для поручения Зое.

Я почувствовал, как под моей рукой вздрогнула рука Зои, и спросил:

— Вам не будет меня... не доставать?..

— Но ведь это, Геннадий, неизбежно... Такие люди должны страдать... Им надо любить свои страдания, иначе... Помните, как вы говорили тогда, на нашей вечеринке, в своей речи!.. Я ведь пока только хочу сделаться *такой*, а... вот Вера... она вам ближе.

— Нет, Зоя, вы мне самый близкий человек, потому что... я люблю вас.

— Вы, Геннадий, никому еще... никому

другому не говорили этого?

— Вы, Зоя, всё еще не верите мне?..

Прошло несколько минут, ужасных для меня минут: я должен был сказать правду, мучился этой правдой и боялся ее сказать: мне казалось, что она разобьет вдребезги хрустальное сердце этой белой девушки, похожей на молодую березку в снежных кружевах. Так и не сказал я ей страшной правды про черную женщину. И когда я поднял опущенную голову, Зоя отвернулась и стала отирать платком слезы...

— Зоя Сергеевна!..

— Не смотрите!.. Не надо... Вы — жестокий!.. Можете возненавидеть меня за эти слезы, как случилось с Верой...

— Зоя, милая!.. о чем?..

— Да неужели вы не понимаете!.. Неужели вам надо еще говорить!..

Я схватил ее руки в перчатках и стал целовать.

— В перчатках! В перчатках! — смеясь «сквозь слезы», закричала Зоя и стала вырывать руки, а когда вырвала, взяла меня под руку, спрятала лицо в муфту и прошептала:

— Как мне жаль бедную Веру!.. Она тебя так любит... Ты — жестокий...

— Воскресло? Да?

— Да.

— Всё?

— Всё...

— Поцелуй!

— Ах, какой ты... Зачем это?.. Ведь знаешь уж...

Но я не соглашался, что это — лишнее, и боролся с мохнатой муфтой, которая прятала от меня щеки и губы...

— Какой ты... нехороший!..

— Любишь?..

— Не спрашивай же!

— Не забудешь, когда меня спрячут в каменный мешок?

— Н... не знаю.

Замолчали. Идем дальше. Скользят ноги по накатанной дороге. Где-то лает одинокая собака. Надо бы назад, в город, но там — разлука и тоска. Уйти бы куда-нибудь далеко-далеко, чтобы никого не видеть и ничего не знать и только любить эту кроткую, застенчивую девушку.

— Куда же мы... Этак зайдем на край света...

— Что ты говоришь, Зоя? На край света!..

Вздрогнуло сердце... «На край света»!.. Всплыло в памяти что-то страшное, чего я боюсь и что скрываю. Старый, хмурый бор, избушка, занавешенное красным окно и зарницы молнии под грохот перекатывающегося по лесу грома. Кровь прилила к лицу и захотелось броситься на колени, прямо в снег и, целуя ноги белой девушки, просить прощения...

— Скажи... мне правду... Геннадий!

— Что? Какую правду?!

— Ты... не говорил Вере, что любишь ее?

— Ах, ты опять о Вере!.. Нет, не говорил...

— Ну, слава Богу!.. Что это? Кладбище!.. Нет, нет. Пойдем назад...

— Ты испугалась?..

— Неприятно... Хочу жить... быть счастливой... Теперь ты... не разлюбишь?

— Верь!

— Ты любишь всех людей и за всех хочешь страдать. Если бы я научилась так же...

— Ты умеешь!..

— Нет! Есть на свете один человек, которого я...

Голубка! Опять покраснела и спрятала смущенное лицо в муфту... Мы шли к городу медленно, нехотя, и оба становились грустнее по мере приближения к дому. Словно подходили когда-то к пристани, где Зоя должна была слезть с парохода прошлой весной.

— Ты придешь ко мне на свидание в тюрьму?..

— Конечно, родной, приду!.. Но пустят ли меня?..

— Когда кончатся допросы, пустят. Но для этого надо назваться невестой... Ты на это согласишься?

— Да...

— И это не будет обманом... для удобств?

— Нет. Это будет... моей правдой!.. Я никогда не боюсь... Теперь мне все равно...

— А если меня ушлют куда-нибудь далеко, ты...

— Значит — и меня тоже!..

— Ты будешь моей женой?

— Да.

Сказала «да» так просто и посмотрела с пе-

чальной, доверчивой улыбкой прямо в глаза.

— Ну... Прощай!.. Погоди, я сперва тебя... я хочу перекрестить тебя. Ты не веришь, а я всё-таки хочу... Я верю!..

Три раза она перекрестила меня, сказала: «иди, с Господом!» и, упав на грудь, расплакалась, как маленькая девочка...

— Прощай!..

— Христос с тобой... Будь здоров и... не грусти!

Ушла. Господи, какое счастье любить тебя и быть тобою любимым!..

— Ну, а теперь за дело!..

И всю ночь до рассвета мы с Касьяновым трудились над сокрытием в безопасные места нашей нелегальной библиотеки и наворованного в типографии шрифта. А когда благополучно окончили эту тревожную работу, то расцеловались и разошлись...

— Извольте, я готов... ищите, берите, сажайте!..

И я решительно и спокойно зашагал к дому...

— Прощай, Зоя!

Уже светало, когда я, в сопровождении уса- того жандарма, ехал в место своего продол- жительного успокоения. Грустным взором я окидывал знакомые пустынные еще улицы спящего города и мысленно прощался с осо- бенно памятными местами. Вон там, в пере- улке, живет моя милая Зоя! Стоит только под- няться в гору, потом свернуть в переулок и увидишь дорогое крылечко. Ах, как хотелось бы соскочить с извозчика и побежать туда, войти, поцеловать сонную девушку (ведь она теперь спит уже!) и еще раз сказать ей:

— Прощай! Надолго. Не забудь!

А вот и тот домик, где жила Зоя гимназист- кой. Через забор видны старые березы, под которыми мы занимались с ней алгеброй. Ах, как давно это было!.. Потянулась ограда обще- ственного сада, где мы впервые встретились... Весь город полон милых, нежных воспомина- ний, связанных с... Невеста!.. Она — моя неве- ста! Зоя — моя невеста!.. Странное слово. Я по- вторял его одними губами и вдруг радостно засмеялся...

Жандарм покосился и сказал:

— Вам всё смешно, господин Тарханов.

— Смешно, ваше благородие! — ответил я и опять громко расхохотался.

— По сторонам нечего глядеть!

— Я еще не в тюрьме, милый.

— Говорить нельзя!

— А думать я могу?

— Этого никому не закажешь...

— Вот то-то и есть, братец... Душу в тюрьму не посадишь..

— Тпру!..

— Приехали.

В предрассветных сумерках угрюмо выселились тяжелые стены и башни тюрьмы с какими-то странными воротами в глубокой нише. Загремел тяжелый засов и заскрипели железные ворота.

— Политический!

Под мрачным сводом ворот кто-то ходил с фонарем, звенел ключами. Переговаривались вполголоса, а потом приблизился человек с пашкой и револьвером на боку и строго приказал:

— Пожалуйста в контору!.. За мной.

Долго держали в конторе, что-то писали и о чем-то и с кем-то говорили по телефону, а потом стали обыскивать, выворачивая карманы и обглаживая всё тело цепкими, дрожащими руками:

— Вот патрет при них какой-то!..

— Прошу разрешить взять его с собой в камеру. Это — моя... невеста.

— Нельзя.

Я долго спорил и горячился, но пришел злой смотритель и сказал:

— Никаких невест! Пожалуйте в камеру...

Уведите его в № 2.

— В башню их, ваше благородие?

— В башню № 2.

Меня повели длинными корридорами, вдоль которых прохаживались тюремные стражники с звенящими ключами.

— Пожалуйте сюда!

Угловая дверь стукнула и растворилась, кто-то слегка подтолкнул меня в спину, и дверь закрылась.

Так вот она, тюрьма, о которой я так часто думал! Башня, круглая, высокая, с круглым окошечком вверху. Кровать, столик, табурет,

жестяная лампочка... Словно я донес, наконец, какую-то тяжелую ношу и не было больше сил держаться на ногах. С трудом сбросив шубу и калоши, я упал в жесткую постель и заснул крепким, тяжелым сном, мертвым сном без сновидений... Когда я проснулся, то не сразу вспомнил, где я и что вчера случилось. Но вверху, под потолком, мне приветливо улыбнулось солнечное пятно решетчатого окошечка, и пробужденная память с быстротой молнии воскресила весь вчерашний день и всю ночь, вплоть до тюремных ворот... Сколько пережито в этот прошедший день и прошлую уже ночь! Кажется, что за всю жизнь не было столько горя, тоски, радости, волнений и мук совести, столько огромного счастья. Целая вечность осталась там, за этими каменными стенами круглой башни. Я лежал и, вспоминая этот день и ночь, вновь переживал прожитое и снова терзался муками, был в театре на «Евгении Онегине», сидел в буфете и доживал последние часы своей жизни, потом был спасен Зоей, одной ее таинственной фразой: «я никогда не призналась бы потом Онегину, что всё еще люблю его»...

Кажется, она сказала так?!.. А потом — проводы до дому, снежки, ласковый голосок и ласковый взгляд, умные разговоры о чем-то с Игнатович... Странная особа: обижается, что я люблю не ее, а Зою... Потом зловещий красный абажур на квартире и спина Николая Ивановича, любовно обхваченная рукой жандарма... Потом тревожный ночной визит к Зое и последняя прогулка на воле в тихую ночь и... счастье, счастье... счастье!.. Если подумаешь, что в это утро я мог бы уже лежать холодным трупом на столе анатомического театра, охватывает какая-то бешеная радость... Не жить, не знать, не любить... так жестоко обмануться!.. Зоя, Зоя! О, прекрасное, любимое имя! Ведь в нем — жизнь, по-гречески «Зоя» значит — «жизнь»!.. Это ты вернула меня к жизни, это ты отняла меня у смерти!

— Благодарю тебя, как Бога, который послал мне светлого посланника, чтобы удержать мою руку от последнего непоправимого движения!..

Весело играет на стене солнечный зайчик. Должно быть, теперь хорошо на улицах: солнечно, радостно,людно. Счастливые воробьи:

они так весело и оживленно разговаривают где-то вверху, под самым окном... Посмотрел бы в окошечко, да высоко, не достанешь..

Загремел засов двери, брякнули ключи. Ко мне! Кто там идет?..

— Кипяточку!

Стражник с добродушным лицом принес и поставил на столик жестяной чайник с кипятком и оглядел камеру.

— Чай-сахар имеете?

— Имею, всё припас... А вот бумаги и чернил!.. Надо письма написать.

— Не сразу. Вот пойдет надзиратель с вечерним обходом — и заявите...

— Сколько времени?

— Одиннадцатый.

— А хорошо сегодня на улице?

— Очень приятно.

— Погоди-ка!..

Ушел. Опять бряцание ключами, лязг железа и полная тишина...

— Ну-с, надо приспособляться к новой жизни...

Пожалуйста, жених, чай пить из жестяного чайника; о самоварчике пока не мечтайте!..

Заварил чаю, походил, подробнее ознакомился с новым жилищем. Если бы не круглая, сводчатая комната да не так высоко окошко, в общем не так уж дурно... Другой бедняк-студент сказал бы: «дай Бог всякому!»... Готовая квартира, отопление, освещение и еще три рубля шесть гривен в месяц жалованья... Ничего! Проживем! Терпи казак — атаманом будешь... Это «многих славных путь»... Я перебирал в памяти любимых писателей, и оказывалось, что все они сидели в тюрьмах, а некоторые побывали даже и на каторге... Стал рассматривать стены. Есть тайные пометки, фамилии, изречения, даты водворения в башне. «Арестован 15-го мая 188... г. С. Т.» «Ах, подруженьки, как скучно»... «Иванов — предатель»...

«Жизни вольным впечатленьям душу вольную отдай, человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай», «а, б, в, г, д — е, ж, з, и, к — л, м, н, о, п»... Азбука для перестукивания. Это — вещь полезная. Однако, чай готов. Пожалуйста кушать! Уселся и с удовольствием стал пить горячий напиток, так тесно связывающий меня с вольными жителями.

Пил, а сам думал о том, что делает теперь Зоя и как она тоскует обо мне... Почему так приятно знать, что по тебе тоскует на воле прекрасная девушка? Не знаю. Но от этой мысли на лице бродит приятная улыбка и хочется смеяться. Приятно также думать, что сегодня мой арест служит главным предметом разговоров среди студентов и товарищей, среди курсисток и профессоров. Это связывает меня бесчисленными нитями с волей, с городом, с людьми и с солнцем, которое играет на стене зайчиком.

— Слышали... Геннадий Тарханов сегодня ночью арестован!

— Ну!

— Вместе с Николаем Ивановичем.

— За что?

— Неизвестно. Говорят, нашли много нелегальщины...

— Типография взята...

— Врешь! Никакой типографии, а склад нелегальной литературы...

Воображаю эти тревожные разговоры, тревожные лица, тревожные слухи...

А за что я, действительно, взят? Ведь ниче-

го предосудительного у меня в комнате не нашли. Чорт их знает! Загадочно. Впрочем, на первых же допросах всё это должно выясниться. Подождем, над нами не каплет. Жаль вот, нет французской булки. Палаша всегда приносила еще тепленькую. Палаша!.. Славная баба: заплакала, когда меня увозили, и спрашивает у жандарма:

— Куда вы его, идола, увозите? Что он вам помешал?..

— Молчи, а то протокол составлю...

— Составляй!.. Больно я испугалась. Мало вам одного, обоих забрали!..

— А славная старуха — мать у Николая Ивановича: как она гордо говорила с жандармами. Ни одной слезинки!

— Я вам ничего не скажу: если угодно, можете и меня в тюрьму...

Молодец старушка!.. Хорошо! Много на свете честных, стойких людей.

— Ну-ка еще стаканчик, господин политический арестант!

— Гм... Политический арестант. Я — политический арестант. Неужели? Да, это несомненно. Зоин жених — политический арестант.

стант...

*Н-о-очь, успели мы всем нас-ла-
диться...*

*Что ж на-ам делать, не хо-о-чет-
ся спа-а-ать...*

Стук в железный засов двери, потом появление стражника.

— Петь здесь не полагается. Здесь — тюрьма, а не дома!

— Тюрьма? Я и забыл, братец...

— Вот вам обед.

— Уж обед? А я еще чай не кончил...

— Не мое дело. Нам нельзя с политическими разговаривать.

— Нельзя? Почему?

— Так. Приказ такой.

— А ты — женатый?

— Я-то? Женатый... У меня трое детей... В деревне...

— Скучаешь, поди?

— Конечно! Сам слободен, а всё одно что политический... Нельзя нам...

— Погоди-ка!..

Махнул рукой и ушел, не оборачиваясь. Вот чудак! Ну-ка, что у вас за обед? Поди, не

хуже кухмистерской Волкова... Гм!.. Что такое и как оно называется?.. Что-то в роде щей: плавают кусочки капусты, пахнет кисленько, цвет — янтарный. Попробовал. Гм... Нет, у Волкова всё-таки добросовестнее. Хлеб ничего себе, корочка даже не без пикантности. Надо есть: другого не дадут. Главное — набить чем-нибудь проклятое брюхо, а там наплевать... Эх, да тут еще каша гречневая!.. Ну, унывать нечего. У других и этого нет... одним чаем пробиваются... Удивительно: все щи съел и всю кашу! А всё-таки неудовольствие на пиццу выразить следует, а потом устроиться на собственное иждивение: за восемь рублей можно получать и здесь приличный моему званию обед. А теперь поვაляемся и помечтаем о Зое, о моей милой невесте. Эх, голубка, как бы я хотел очутиться теперь с тобой на волжском пароходе!.. Помнишь? Синяя ночь, мириады звезд, соловьиные песни в горах, красные и зеленые огоньки, эхо свистков протяжных, иногда грустных таких... Сели бы мы с тобой где-нибудь в темном уголке на балконе и, прижавшись друг к другу, стали бы смотреть то на звезды, то в глаза друг дру-

гу. Ветерок бы играл прядью твоих золотых волос и щекотал бы мне щеку...

— Пожалуйста на прогулку!..

— Куда?

— На прогулку...

— С нашим удовольствием!.. Да здесь совершенно правильный образ жизни. Сколько можно гулять?

— Четверть часа.

— Ну, это маловато, ваше благородие!..

— Не зовите так.

— А что же? Из уважения к вашей деятельности.

— Услышит надзиратель, на меня обидится...

— На тебя-то за что?..

— Подумает, я так приказываю...

— Обидчивый он, должно быть.

Ах, какой дивный денек!.. Солнечный, ликующий... Еще конец января, а в этом дне уже бродят какие-то предчувствия приближающейся весны. Солнышко-то как припекает!..

Я встал у каменной стены, где доставало солнце, и, зажмурив глаза, стал вслушиваться в голоса жизни за оградой нашего мрачного

замка.

— А вы, господин, гуляйте!..

— А вам какое дело, хожу я или стою!

— Нечего у стены прохлаждаться!.. Ходите, а то пожалуйте обратно...

— Странно...

Я пошел гулять по расчищенной около стен дорожке, а страж подошел к стене и старательно осмотрел то место, где я стоял.

— Что, не проковырял я стены пальцем?

— Разговаривать нельзя. Ходите и больше без всяких выражений!..

Походил я «без всяких выражений» по дворику, попил грудью пахнущего снегом бодрящего воздуха, посмотрел на небеса, по которым куда-то проплывали вольные тучки, и, послав привет в ту сторону, где жила Зоя, пошел домой, в свою мрачную башню... И когда я туда вернулся, я впервые почувствовал неволю... Раздразнил меня яркий солнечный день, разбередил тоску по свободе и по моей, и близкой и далекой, невесте... Опять и близко и далеко ты, мой чистый белый голубь!..

Тускло прошел остаток дня. Ушло от окна солнышко, повисли в камере сумерки и свод-

чатый потолок башни почернел. Нечего было делать и плохо думалось. Я то валялся в кровати, то начинал, как белка в колесе, кружиться по круглой комнате. То останавливался и, прислушиваясь, ждал чего-то, то садился на табурет и бурчал потихоньку:

Наша жизнь ко-рот-ка, все уно-о-сит с собою...
Наша ра-а-дость, друзь-я-а, пронесется стрело-ю...

А в тишине, объявшей тюрьму в сумерках, было слышно, как по коридору шагал побрякивая шашкой, тюремный страж. Как неожиданному другу, обрадовался я желтому огоньку жестяной лампочки. Казалось, что кто-то родной тайно пришел разделить мое тоскливое одиночество. Потом — опять кипяточек, чай и, наконец, поверка.

— Нельзя ли книг, бумаги, чернила?..

— Преждевременно. Хлопочите у жандармского полковника: вы пока под следствием...

Опять тишина, глухие шаги в коридорах, побрякивание оружием и ключами...

Ах, как долга ночь в одиночной тюрьме!..

Всё кажется, что кто-то стонет и потихоньку плачет... Не спится: мысли бродят на воле и летают около любимых людей и любимых мест. Чуть задремлешь и снова очнешься; прислушаешься, вздрогнешь от лязга оружия за дверями:

— Смена!..

Ах, как долга ночь в одинокой башне!..

XXVI

В ритмичном однообразии бегут дни и ночи, и нечем отличать их друг от друга. «Кипяточек», обед, прогулка, опять «кипяточек», желтый огонек лампы, поверка и гробовая тишина пропитанной какой-то нервной напряженностью тюремной ночи... Словно оторвалось время от своей бесконечной протяженности и разорвало твою жизнь пополам... Позади — ярко, прекрасно, красочно и пестро, а теперь и впереди — тихая звучная пустота. Никаких известий не долетает из живого мира, словно он прекратил свое существование. Все забыли, все!.. Хотя скорее бы начались допросы... Ни книг, ни писем, ни бумаги; никто

не отвечает на «выстукивание»... Эта проклятая башня похожа на каменный склеп. С нетерпением ждешь бани и всенощной. В бане моешься вдвоем с тюремным стражником, но совершенно позабываешь о тюрьме: в огромной деревянной бане мы оба голые и потому происходит полное уравнивание в наших положениях; мы тихо и дружно разговариваем о деревне, о родных, о мужиках и горожанах, помогаем друг другу потереть спину, шутим и смеемся:

— Коли разденешь людей, так все одинаковы... Который стражник, а который политический — разбери-ка поди!..

— Не разберешь... А только промежду вас мало толстых и старых...

Постепенно становимся откровеннее, переходим к недозволенным разговорам. Стражник озирается и говорит шопотом, грозит пальцем... Да, ничем не запрешь человеческой мысли... Не придумали еще таких замков!..

После бани чувствуешь себя снова бодрым и снова способным терпеливо нести тоску одиночества. А перед праздниками хожу в

тюремную церковь послушать, как под кандалный звон поют уголовные арестанты. Для политических в церкви есть особые клетки: ничего не видно, только — слышно. Кротко звучит под сводами старческий тенорок священника, с каким-то исступлением поют арестанты воззвания к Господу, и вздохи перемешиваются с бряцанием ножных кандалов... Море человеческого страдания гудит своим прибоем в этом пении и Распятый Страдалец воскресает в памяти и в сердце...

Вот уже три недели, как я в тюрьме. Эти три недели кажутся тремя годами — и тремя часами: последний на воле кажется бесконечно далеким, а протяженность тюремного пребывания прячется под однообразием дней, которых нечем различать. Понятие о времени становится туманным. Иногда забываешь, какой день и какой час. Всё больше твоя жизнь становится механической. Когда ночью спишь с раскрытой форткой, бывает слышно, как на городской башне бьют часы: с поразительной быстротой колокола выбивают час за часом. И когда вспомнишь, что с каждым боем колоколов обрывается новый час твоей

жизни, то вдруг делается страшно: ведь из таких кусков состоят дни, недели, месяцы, годы... Начинаешь думать о смерти, потом вскакиваешь и начинаешь бегать по камере. Хочется закричать:

— Отдайте мне мою жизнь! Вы не имеете права сокращать ее. Отдайте мне эти украденные у меня часы, дни! Ведь в них, в каждом из них — кусок моей радости, счастья юности!..

Но оглядишься вокруг и печально ухмыльнешься: круглые глухие стены никому ничего не скажут...

После прогулок — хуже: словно разбередишь тоску любви и тоску по воле. Забыла, забыла... Я хотел бы пристально посмотреть в твои глаза и молча прочесть в них свой приговор. Может быть, если бы я был на воле, я смог бы снова разбудить твое изменчивое сердце, как это я сделал уже однажды. Но я бессилён, а твоя любовь убегает всё дальше, с каждым часом дальше... О, проклятие... вам, круглые желтые стены!.. Когда-нибудь я разобью вас своим лбом и освобожу душу, оставив один труп... Пусть он валяется в башне и сво-

им смрадом кричит о свободе...

Однажды после прогулки, когда я был в таком настроении, дверь камеры растворилась и вошел надзиратель:

— Получите письма!..

Письма! Мне письма! Целых восемь писем!.. Какое счастье!.. Я схватил письма и, как собака с костью, отошел в угол и стал ждать, когда смолкнет звон ключей. Письма. От кого? Это — почерк мамы, а это... от Зои, от Зои!.. Ура, меня не забыли!.. Сперва — от Зои: шесть открыток... «В губернскую тюрьму, политическому арестанту Геннадию Николаевичу Тарханову». «Милый, родной мой, люблю и тоскую. Твоя З.».

— Как я счастлив! Как я счастлив! И как я люблю тебя...

Я смотрел на письмо, перечеркнутое со всех сторон желтыми полосками испытующей тайны писем жидкости, нежно поцеловал его и не мог наглядеться на слова и буквы, ожившие и говорящие мне много тайного, о чем не откроют вам никакие ухищрения...

«Милый, родной, любимый!.. Сегодня ходи-

ла в жандармское просить свидания. Не дают, голубчик. Обещают после допроса. Теряю терпение. Будь здоров! Терпи! Помни, что ты не один и, где бы ты ни был, с тобой — друзья и твоя З.».

Хлынула в душу такая радость, такая беспредельная благодарность жизни, всему миру, всем людям-друзьям, что не стало сил сдержать благостных слез, и я, повалившись в постель, уткнулся в подушку лицом и долго всхлипывал и глотал слезы радости... Какой я счастливый!..

«Здоров ли ты, мой хороший? Страшно беспокоюсь. Сегодня ночью видела скверный сон и, проснувшись, долго плакала. Когда же меня пустят к тебе! Целую и благословляю. Если можно, напиши, что помнишь и... Твоя».

«Люблю и помню. Сегодня ходила жаловаться к губернатору. Обещал поговорить по телефону с полковником. Скоро увидимся. Напиши хотя два слова. Вся твоя З.».

«Что же это такое?.. (три строчки вымараны цензурой жандармского управления). Разве невеста не так же близка тебе, как мать? Ее — пустят, а меня не хотят. Сейчас еду к гу-

бернатору. Целую тысячу раз. Твоя навсегда З.».

«Родной мой! (вычеркнуто пять строк). По-
даю жалобу министру внутренних дел. Раз-
бранилась с товарищем прокурора и с пол-
ковником. Если не получу разрешения на
свидание, поеду в Петербург. Не может быть,
чтобы был такой закон. Люблю всеми силами
души. З.».

Какая она... энергичная и упрямая! И как
деятельна ее любовь! Почему же все письма
пришли разом? Когда они написаны? Рас-
сматриваю почтовые штемпеля: продержали
и измазали... читали и, конечно, посмеива-
лись...

Я злобно сжал кулаки и стал бегать по кру-
гу...

Только бы выйти, только бы выйти на во-
лю!.. Значит, и мои письма только сегодня по-
лучены Зоей... Напрасно я упрекал ее в забыв-
чивости... Вместо радости ей — опять огорче-
ние... Какая свинья ты, Геннадий Николае-
вич, неблагодарная свинья!.. И кислятина:
просидел три недели и раскис. Стыдись, бра-
тец, вспомни судьбу Сони!.. Ни одного упрека,

ни одной слезинки даже в такой момент, когда она писала последнее в жизни письмо...

— Святая... Прости мое малодушие!.. Что пишет мама?..

«Милый сын Геннадий! Я живу здесь уже вторую неделю и жду, когда мне позволят с тобой увидеться. Измучилась, бегая по разным канцеляриям, устала, хвораю. Не жалейте вы своих родителей! Вчера внесла в контору тюрьмы двадцать рублей на твое содержание. Питайся хорошенько. Как только позволят, приду, а пока остаюсь любящая тебя мать»...

«Милый сын Геннадий! Сегодня встрети-лась у полковника с какой-то девицей, называющей себя твоей невестою. Подтвердить полковнику, что это — твоя невеста, не решилась, потому что впервые вижу эту особу...» Не дочитал. Почувствовал в матери врага и громко заговорил, ходя по камере:

— Это — не особа, а девушка, которую я люблю, которая... да, дороже тебя мне! Поняла? Как ты смела... Какое тебе дело... Оставь меня!.. «Особа»!.. Как это грубо... «Питайся хорошенько»... У вас на первом плане — брюхо,

а с душой вы не любите стесняться... Так знай же, что если будет поставлен вопрос о свидании с которой-нибудь одной из вас — я выберу «эту особу»... Ведь и ты была когда-то такой особой. Забыла... Эгоисты, вы требуете монополии на любовь детей, а сами...

— Пожалуйте на допрос!

— Наконец-то!.. Как манны небесной жду я этого допроса...

— Потрудитесь одеться: допрос в жандармском правлении, а не в конторе.

— Тем лучше... Прокачусь по городу...

Допрос! Допрос! Ведь это значит, что скоро я увижу Зою, получу право иметь книги, перо и бумагу, буду знать, в чем меня обвиняют и чего можно ждать в будущем. С этим допросом связан перелом в моей жизни. Да здравствует допрос!

— Я к вашим услугам.

В конторе жандарм принял меня под расписку в разносной книге и повел к воротам. Впервые после того как они затворились за мной, ворота раскрылись. Возликовала душа, всколыхнулась и, как птица из клетки, полетела с радостным пением на свободу. Было

сверкающее морозное утро, тихое такое, белое утро; телеграфные проволоки казались мохнатыми от иглистого инея, деревья стояли в белых кружевах; под лошадиными мордами болтались белые бороды; снег под полозьями приятно поскрипывал; над белыми крышами домов клубился кажущийся через солнце розоватым дым.

— Солнце на лето, зима на мороз, — сказал извозчик, похлопывая рукавицами, и мы поехали. Глаза, привыкшие к мраку и стенам, привольно убегали в длинные перспективы улиц, жадно пили яркий свет и торопливо перескакивали с предмета на предмет, а грудь широко раскрывалась и с жадностью вбирала глубоким дыханием свежий морозный воздух; дрожала какая-то радость во всем теле и хотелось ехать бесконечно долго. Иногда взор ловил торопливо шагавших по тротуару студентов, учащихся девушек — тогда испуганно вздрагивало сердце и начинало стучать в висках: не Зоя ли спешит к губернатору, добиваясь свидания со мной? не знакомый ли товарищ бежит на лекции? Вот если бы Зоя!.. Закричал бы, не выдержал...

— Тарханов! Целую!..

Кто это?.. Игнатович... Радостно кивнул головой, а Игнатович стала махать муфтой.

— Не оглядывайтесь! Нельзя.

Вот неожиданная встреча! Не люблю Игнатович, а страшно рад этой случайности. Увидит Зою и первым делом расскажет, что видела меня. Зоя будет завидовать и расспрашивать о всех подробностях нашей встречи! От этого мы почувствуем себя хотя немного поближе друг к другу. Что она крикнула? «Целую!..». На каком, однако, основании? Ну, да Бог с ней! Как смешно она махала муфтой: бежит и машет муфтой. Ведь в сущности она недурная девушка, хороший товарищ, даже красива. Касьянов безнадежно томится по ней. А вот я... не выношу, а она ко мне тяготеет. И тоже безнадежно. Как всё это странно складывается!

— Тпру!..

Поднял голову — «Фотография»...

— Почему «Фотография»?

— Стало быть надо. Пожалуйте!..

— А, вот в чем дело: привезли снимать политического преступника. Иду впереди жан-

дарма и горжусь своим положением: вот и я попаду в галерею портретов, которые будут потом запрещенными. Кто-нибудь потом будет рассматривать мой портрет и сочувственно говорить:

— Это Тарханов... Какое симпатичное, умное и грустное лицо!..

Войдя в фотографию, я прежде всего подошел к зеркалу. Давно уже я не видал своего лица и теперь с радостью и любопытством встретил его в зеркале: побледнел, выросли длинные волосы, в глазах — тень грусти и страдания. Интересное лицо; интеллигентное, напоминает писателя.

— Ну-с, можно! У меня всё готово, — сказал с виноватой улыбкой молодой фотограф, приглашая жестом руки в ателье. Я пошел за фотографом, а жандарм за мной. Еще раз мельком взглянул в зеркало, поправил волосы и, скрестив на груди руки, как молодой Чернышевский, встал перед аппаратом.

— Руки надо по швам, — неуверенно заметил жандарм.

— Я не солдат! — огрызнулся я, не изменяя позы.

Трижды меня снимал фотограф — и ни разу я не согласился убрать руки с груди. Попросил сделать полдюжины в свое распоряжение для родных.

— Мы не имеем права без разрешения...

— А я сам имею право делать это с собственной физиономией?

— Без полковника нельзя, — сердито сказал жандарм.

— Отлично, я поговорю с полковником.

Из фотографии меня повезли в жандармское правление на допрос. На улицах сталолюднее. Прохожие, кто со страхом, кто с сочувствием, провожали наши санки, иногда в изумлении останавливались и качали головой. А мне это было очень приятно, не знаю — почему. Приехали.

Канцелярия. Пишущие в молчании жандармские унтеры. Тишина, шопот, осторожное звяканье шпор и скрип стальных перьев. Из закрытой двери вышел унтер на цыпочках и поманил меня пальцем. Вхожу в большую комнату. За большим столом, накрытым зеленым сукном, сидят: полковник, ротмистр и прокурор.

— Присаживайтесь!..

Сел, исподлобья посматриваю на врагов и делаю спокойно-невинное лицо. Полковник пошептался с ротмистром и тот начал спрашивать, сколько лет, какого звания, привлекался ли раньше по политическим делам и т. д. Когда спросил, холост или женат, я серьезно ответил:

— Пока холост, но скоро женюсь.

— Это к делу не относится.

— Да, к делу не относится, но ко мне очень относится. Я прошу вас, господин прокурор, занести в протокол, что у меня отобрали портрет моей невесты и что отказывают в свидании с ней.

— И это к делу не относится.

Начался перекрестный допрос. Знаком ли с Николаем Ивановичем, давно ли состою в партии народовольцев, знаком ли с каким-то «Кудрявым»...

— С Николаем Ивановичем не мог быть незнаком: он — сын моей квартирной хозяйки. В партии счел бы за честь состоять, но, к сожалению, не состоял; никакого «Кудрявого» или лысого не видал и не знаю...

— Где были в ночь ареста?

— Гулял с невестой.

— Где взяли «Письма» Миртова?

— Купил на толкучке в бумажном хламе.

— Где именно?

— У какого-то татарина-старьевщика. Прочитать не успел.

— Предупреждаю, что сознание облегчает участь преступника...

— Но вы объясните, в чем мое преступление; я этого еще не знаю.

— У нас есть указания, что вы занимались пропагандой среди студентов.

— Ваше счастье, но у меня-то их нет!

— Посмотрите внимательнее: не узнаете ли вы вот этого господина!

Подали фотографическую карточку кудрявого парня, по виду рабочего.

— Впервые имею удовольствие видеть.

— А если я вам скажу, что это лицо призналось в знакомстве с вами?

— Значит кто-нибудь из вас: вы, господин полковник, или это лицо, сказали ложь...

— Я попрошу вас быть по деликатнее! — заметил прокурор.

— Ну, извратили истину.

Полковник остановил на мне тяжелый, продолжительный взгляд. Я ответил тем же. Не сморгнул глазом. Я видел, что кроме «Писем» Миртова и подозрений у них ничего не имеется, и потому воспрянул духом и стал храбр и дерзок. Особенно меня обрадовала ложь относительно этого «Кудрявого», которого я, действительно, никогда в жизни не видал... А затем ни слова о нелегальной библиотеке, о наворованном шрифте, о членах нашего кружка... Ура! Я — в полной безопасности. Ротмистр пишет протокол, а прокурор о чем-то тихо совещается в отдалении с полковником. Видно, что прокурор раздражается. Это тоже прекрасней признак.

— А-а... Так вы, господин Тарханов, не желаете показать, что получили этот гектографированный экземпляр «Писем» Миртова от сына вашей хозяйки? — спросил издали полковник.

— Я, господин полковник, не могу клеветать на людей. Я вам повторяю, что купил их на рынке и сам отвечаю за свою любознательность. За это удовольствие я уже месяц

сизу в башне... Не было бы обидно, если бы хотя успел прочитать...

— Не советую, молодой человек. Прекрасно, если вы говорите правду...

И полковник начал отеческое внушение: он говорил о престарелой матери, о гибельных и лживых увлечениях молодежи, о строгих карах и бедствиях в будущем. Я сделал кроткий вид и тихо прошептал:

— Ко мне это не относится... Не понимаю вашего сожаления...

— Вы вот собираетесь, молодой человек, жениться без согласия матушки. Я имел удовольствие познакомиться с вашей невестой. Дай Бог, чтобы ваш выбор был удачен, но скажу одно: эта девушка дерзка и...

— Господин полковник!.. Это к делу не относится.

Полковник рассмеялся, прокурор — тоже. Я сейчас же этим воспользовался.

— Я прошу свидания с невестой и матерью, о разрешении иметь книги, бумагу, чернила...

— Получите... А свиданье я могу вам дать... Ммм... Воскресенье, в двенадцать дни.

— Благодарю вас...

— Потрудитесь подписать протокол допроса.

Я перечитал протокол и трясущейся от радости рукой подписал и капнул чернилами.

— Виноват!..

Стоящий поблизости унтер схватил лист и слизнул кляксу.

— Теперь можете...

— Домой?..

— Не-е-т-т... Пока еще в заключение. Не имеете претензий на помещение?

— Нельзя ли перевести из башни?..

— Это я могу для вас сделать теперь же...

Эх, молодежь, молодежь!..

Я слегка поклонился и пошел за жандармом, не чуя под собой ног от счастливого исхода так долго ожидаемого мною допроса... А когда ехал в тюрьму, то потихоньку посмеивался в приподнятый воротник и говорил мысленно:

— Не на дурака напали, господин полковник!..

В тюрьму я вошел на этот раз без всякой тоски и озлобления. А когда проходил по ко-

ридору в башню, то весело бунчал:

— Трам-та-та, та-рарам...

XXVII

Воскресенье! Воскресенье!.. Не скоро еще воскресенье: сегодня только вторник... Еще осталось целых пять дней... Как дадут свидание: сперва с мамой, потом с Зоей, или с обеими вместе? Лучше бы врозь: мама будет стеснять нас. Хочется смотреть на Зою и ласкаться с ней глазами, слушать ее голос и перемолвиться о том, как нам быть в будущем. Для мамы она только «особа», а для меня — всё...

Теперь я жил только ожиданием. Дни тянулись бесконечно долго. Хотелось бы их просто вычеркнуть из своей жизни. Ложился спать я с мыслью: «слава Богу, еще день прошел!» — а просыпался с тоской нового ожидания. Старался спать как можно больше, но как нарочно сон убегал от меня, и я валялся в полузабытье, и ночь была особенно тяжела, потому что в тишине ее я оставался с глазу на глаз со своим ожиданием. Меня перевели из башни в обыкновенную камеру, и теперь, ед-

ва наступали сумерки, со всех сторон начинались глухие нервные постукивания переговаривающихся заключенных. Казалось, что стучат не люди, а какая-то внутренняя сила в камне стен. Иногда эти постукивания, похожие на работающий телеграфный аппарат, рождались где-то очень близко: под подушкой или под кроватью. Раньше я жаждал этих переговоров с помощью стуков, но теперь они мучили меня: мне хотелось думать только о Зое и о предстоящем свидании с ней, а тут со всех сторон мешали. Прямо пытка какая-то. Кто-то в соседней камере стучал прямо мне в ухо, стучал с требовательной и раздраженной настойчивостью.

— Ту-ту, ту!.. Ту-ту, ту!.. Ту-ту-ту!.. тртртртр... Ту! Бог его знает, кто он такой. Не хочу. Убейся!

И я сердито отлягивался ногой в стену. На третий день после прогулки, когда я прилегло подремать и над ухом снова застукал камень стены, я стал считать... Что такое? Кажется — мое имя! Постучал, слушаю и считаю стуки, в уме перевожу их на буквы: «К-а-с-я-н-о-в»... Уж не Касьянов ли? Неужели он!

— К-т-о-т-ы?.. К-т-о-т-ы?..

Я выслушал свою тайную кличку и перепугался: а вдруг рядом шпион! И стена радостно застучала:

— Г-е-н-к-а, Г-е-н-к-а...

— К-т-о-т-ы?

— К-а-с-я-н-о-в.

— В-а-с-к-а?

— Д-а.

— К-о-г-д-а?

— Н-о-ч.

— Н-а-ш-л-и?

— Н-т.

Вот так история! Близко ходят около нашей нелегальной библиотеки, а найти не могут. Опасность, однако, близко...

— З-а-ч-т-о?

— О-б-ы-с-к, н-а-ш-л-и х-и-т-р-у-ю м-е-х-а-н-и-к-у.

— С-к-о-л-ь-к-о?

— О-д-и-н.

Дурак, держит по ночам у себя в квартире «Хитрую механику»!.. Постукал еще, узнал кое-какие новости и попросил больше не стучать: загремел засов двери, кто-то входил в

камеру.

— Если будете перестукиваться, пожалуйста полковнику и не получите завтра свидания...

— Я? перестукиваюсь? С чего это вы взяли?.. Да я не умею и перестукиваться-то!..

— Что же, сама стена стучит?

Лучше пока воздержаться: ждал-ждал, почти дождался и вдруг не дадут. Эх, опять стучит Касьянов...

— М-о-л-ч-и, о-п-а-с-н-о.

Суббота... Завтра, завтра... Последний день моих мучений!.. Он был бы длиннее всех предыдущих, если бы не было бани и всеобщей...
ной...

— В баню желаете?

— Да, да... Конечно!

— Собирайтесь!

— Сию минуту...

Э, да сегодня тает. Ласковый денек! Весной пахнет. На карнизах башен огромные ледяные сосульки роняют тяжелые капли. На тюремной крыше каркает ворона. Тропа к бане сыроватая. Мокрый воздух. Захотелось поговорить с вороной: махнул ей шапкой, она по-

летела и закаркала:

— Кар-карл-карл!

Хорошо! Возьми меня, ворона, с собой полетать над Зоиным домом!

В бане мылся медленно, лениво, стараясь протянуть побольше времени. Говорить с стражником не хотелось. Бултыхался в воде, потихоньку мурлыкал и взбивал в шайке пузырьстую мыльную пену.

— Масленая на дворе...

— Что ты говоришь?..

— Блины скоро, а там пост...

— Да, а там — Пасха! Христос воскрес!.. Политический ведь Он был...

— А вы полно... грех так-то...

— А как же!

Начал объяснять. Стражник покачивал головой и вздыхал:

— Так-то оно так, а всё-таки...

— А за что Его распяли, — знаешь?..

— Жиды Его...

— Свой народ.

Заспорили. Стражник рассердился.

— Ну, мойтесь, мойтесь, а то и ничего... Одевайтесь! Не наше дело...

Не хотелось есть, оставил обед нетронутым. На прогулке всё смотрел, как падают сосулек водяные шарики, и как воробьи дерутся на сырой голой березе, каким-то образом попавшей на тюремный дворик, где прогуливались политические. Шуба на плечах казалась сегодня тяжелой, ходил нараспашку, часто смотрел в небо и жадно глотал влажный воздух. До, всенощной томился, словно умирающий. За всенощной пришел в умиление, молился Богу, верил в Него, просил не открывать нелегальной библиотеки и благодарил за скорое свидание с Зоей. А ночью... ночью метался в постели, как больной в жару, и не находил удобного положения. Вставал, ходил, пил воду и, раскрыв форточку, прислушивался, как где-то беспокойно лаяли собаки, и смотрел на одинокую звезду, синеватым огоньком смотревшую с синих небес ко мне в камеру... Разговаривал с ней о Зое:

— Быть может, и Зоя теперь смотрит на тебя... А если она спит уже, загляни к ней в окно и тайно разбуди сердце и шепни о том, как тоскует ее милый...

Захотелось писать стихи. Подошел к стене

и стал царапать спичкой:

*Надо мной склонилась русая го-
ловка
И коса упала ко мне на плечо...
В полутьме сверкнула глазами
плутовка
И поцеловала крепко, горячо...*

— Тук-т-т-т-тук!..

Не спит Касьянов, мешает писать стихи.
Чего еще тебе надо:

— Тук!

— Н-е-с-п-и-ш?

— Д-а.

— Ч-т-о д-е-л-а-е-ш-ь?

— Х-о-ж-у.

— Я т-о-ж-е...

Ах, как мучительно долга эта последняя
ночь перед свиданием!..

...Словно кто-то подтолкнул в сердце: рас-
крыл глаза и вспомнил: сегодня — свидание...

— Зоя, Зоя, Зоя!.. Белая девушка с золоты-
ми тяжелыми косами!

Начал готовиться к встрече: тщательно
умылся, надел лучшую одежду, вместо зерка-
ла посмотрел в рефлектор жестяной лампоч-

ки, покрутил усики. Уже всё готово, а до свидания остается еще больше трех часов. Не стоят ли мои часы? Нет, идут. Ходил по камере и в такт шагу потихоньку напевал:

*«Вот нейдет,
Да вот придет!..»*

Кружилась голова от непрерывного круговращения. Я бросался в постель и, сжимая руками подушку, шептал:

— Скоро ли?

Часы раскрыты. То и дело смотрю на них и сержусь: совсем не двигаются, проклятые. Лучше не смотреть. Идут... Отпирают камеру...

— Пожалуйста на свидание!

Вскочил и задохнулся от волнения и радости...

— Погодите!.. Выпью воды...

— Шапку-то захватите!..

— Ах, да... шапку... Отлично! Вот... Где же она, шапка?.. Экое наказание!..

— Вон она, на кровати!..

— Кто пришел?

— Не могу знать.

— Старая или молодая?

— Нам неизвестно...

Бегу по длинным коридорам, стражник едва поспевает за мной. Словно лечу: замирает дух и щекочет под сердцем, не могу сдерживать смеха...

— А вы, господин, не бегите... Этого не полагается... Направо, направо!

Вот и контора. Незаметно перекрестился и вошел в будку, похожую на телефонный чуланчик. Проволочная решетка. Через нее видна женщина в черном и жандармский ротмистр...

— Мама!

Мама вздрогнула и озирается: не понимает, откуда раздался мой окрик.

Ротмистр показал ей на стул, около решетки, и она торопливо приблизилась.

— Мама!..

— Геня, Геня!.. Что ты наделал!..

Мать опустила голову и заплакала. Я смотрел на мать, и мне самому хотелось плакать: бедная старушка, похудела, состарилась еще больше и никак не поймет, что я не простой арестант, не обыкновенный преступник, и

что мать должна не плакать, а гордиться таким сыном. Как ей это растолкуешь?..

— Мама! Не плачь... Ничего скверного я не сделал... Давай лучше поговорим, а то не успеем: свидание очень коротенькое...

— Что теперь с тобой будет?! Господи, помоги перенести это!.. Я...

Путаясь в словах и глотая слезы, мама стала рассказывать мне о своем разговоре с полковником и просить меня во всем сознаться чистосердечно.

— Полковник сказал, что тогда сейчас же выпустят...

— Не верь! Не в чем мне сознаваться.

— Тебя хозяйский сын смутил... Знаю я... Ты увлекаешься, а другие этим воспользовались...

— Мама, не стоит об этом говорить. Я здоров и весел, ничего не боюсь и прошу тебя не волноваться. Ничего у меня не нашли и вообще...

Подошел ротмистр и заметил:

— Разговаривать о деле нельзя, мадам. Говорите о частных делах...

— Я говорю со слов полковника...

— Не надо, мама!.. Не ищи там друзей... Скажи, понравилась тебе моя невеста?.. Придет она сегодня сюда?..

— Я не знаю, Геня, какая невеста... Видела раз у полковника девушку...

— Ну вот она и есть!.. с золотыми косами!..

— А полковник мне говорил, что была еще другая и тоже назвалась твоей невестой и просила свидания...

— Как другая? Кто? Откуда?..

— Какая-то Вера... Вера... а фамилию забыла...

— Что за чепуха! Какая Вера?. Неужели Игнатович?

— Вот, вот!. Она. И полковник ни одной не разрешил... не поверил обеим девицам...

— Никогда Вера Игнатович моей невестой не была и не будет... Врет!

— Я, Геня, не знаю... Да и стоит ли теперь думать о женитьбе, когда еще Бог знает, что будет впереди. И молод ты, и в тюрьме...

— Ну, это, мама, мое дело...

— Рассудительная девушка не пойдет за тебя, а...

— Мама, оставим!.. Повторяю, что у меня

есть невеста, зовут ее Зоей Сергеевной. Прекрасная девушка. Как только я выйду на волю, мы сейчас же повенчаемся...

— Подождал бы, подумал...

— И ждал, и думал... Вообще это дело решенное и нечего... Я попрошу тебя сходить в жандармское и заявить, что моя невеста... Господин ротмистр! Прошу передать полковнику, что я прошу о свидании с первой девушкой...

— Потрудитесь написать официальное прошение на имя прокурора.

— Прекрасно!

— А как же с книгами, бумагой, чернилами?..

— Разрешено. Можете выписать через контору тюрьмы.

— Прекрасно! Когда меня привезли в тюрьму, у меня отобрали портрет моей невесты. Могу я взять его в свою камеру?

— Нельзя: он приобщен к делу.

— Будет еще допрос?

— Неизвестно. Смотря по ходу следствия... Кажется, есть новые данные...

— Не верю.

— А в таком случае прошу меня не спрашивать. Извините, мадам, свидание кончилось...

— Неужели, господин офицер?.. Ведь я больше полгода не видала сына!..

— Это всё равно...

— Не проси, мама!.. Зря унижаешься.

— Я тебе купила кое-что из белья... Сухарей и мыла... Марок купила...

— Пора, мадам!..

— Сейчас, сейчас... Кормят-то плохо?.. Худой ты какой!.. Ах, Господи!

— Хлопчи, мама, чтобы кто-нибудь взял меня на поруки... Прощай!.. Не беспокойся!..

— Пожалуйте!..

Я махнул матери шапкой и вышел из чулана. Так кончилось мое мучительное ожидание первого свидания...

Пришел и ткнулся в постель... Тоска, тоска, тоска...

Принесли что-то. Коробка. Конфеты. От кого? Мама или... Перебираю конфеты, внимательно рассматриваю их... Несколько конфет развернуто, бумажки брошены тут же, в коробку... Взял заливной орех на бумажной

формочке...

— Зоя, Зоя, милая невеста!..

На дне формочки выдавлено булавкой: «твоя З.»... Милые конфеты! Необыкновенные конфеты!.. Единственные на свете!.. Родные!.. Я взял заливной орех и долго смотрел на него: этот орех был в руках Зои... Чтобы написать: «твоя З.», надо было вынуть орех... Я тебя, орех, не съем! Живи со мной в одиночной камере, помогай мне ждать Зою и постоянно смотри на меня с полочки, куда я тебя поставлю...

— Тук, ту-ту, тук-ту-ту!.. погоди, Касьянов, некогда...

— Тук!

— Н-а-с в-ы-д-а-л-и, б-ы-л н-а д-о-п-р-о-с-е.

— Постой, постой!.. К-т-о?

— Н-е з-н-а-ю.

— Н-а-ш-л-и?

— Г-о-в-о-р-я-т, н-а-ш-л-и.

— В-р-у-т, л-о-в-я-т, в-с-ё о-т-р-и-ц-а-й.

— О-т-р-и-ц-а-ю.

— К-т-о с-и-д-и-т р-я-д-о-м?

— В-е-р-а И-г-н-а-т-о-в-и-ч.

— К-о-г-д-а в-з-я-л-и?

— С-е-г-о-д-н-я, н-о-ч.

Вера взята!.. Как так?.. Эх, бабье!.. А что же с Зоей... Неужели...

— Тук-ту-ту, тук-ту-ту!

— Тук!

— С-п-р-о-с-и В-е-р-у п-р-о З-о-ю.

— О-н-а т-о-ж-е а-р-е-с-т.

Зоя арестована, Зоя!.. Она сидит с нами!.. Где она сидит?.. Милая!.. Что же случилось там, на воле?.. Как же конфекты?.. Не было ли чего-нибудь в конфектах? Не написала ли по неопытности чего-нибудь лишнего? Ах, Зоя, Зоя!.. И ты — политическая арестантка... Теперь не скоро увидимся... И жалко Зою, и радостно, что мы оба под одними сводами тюрьмы... Словно кто-то еще крепче связал наши жизни и наши души...

Как только сгустились сумерки, начал без умолку перестукиваться с Касьяновым и через него с Верой Игнатович. Обоих арестовали сегодня ночью. Ничего не нашли, кроме пузырька с гектографическими чернилами. Сказали, что купили для метки белья. Не удалось узнать, в каком номере сидит Зоя. Вера обещала узнать и постучать... Медленно выясня-

ется дело: есть буквы, для которых приходится стукнуть девять раз, а когда говоришь с Верой через Касьянова, то теряешь всякое терпение... Что сделала Зоя при обыске? Оскорбление? Какое? Кому?

— Н-а-з-в-а-л-а н-а-х-а-л-о-м и т-о-л-к-н-у-л-а.

— К-о-г-о?

— Ж-а-н-д-а-р-м-с-к-о-г-о п-о-л-к-о-в.

Она не даст себя в обиду. Очевидно, полковник начал давать рукам волю... Я бешено бегал по камере и сжимал кулаки.

— Только бы узнать, в чем дело!.. Папаша какой!.. Погоди!..

Всю ночь стукали, устали, перестали понимать друг друга и, обессилив от нервного напряжения, замолчали. Во сне приходила Зоя: наклонилась над изголовьем, уронила косу на подушку и шепчет:

— Я здесь, с тобой!.. Никому не говори... Люблю тебя!..

XXVIII

Вот уже три месяца, как я в тюрьме. С того

дня, как я узнал, что и Зоя пребывает под кровом того-же мрачного здания, удивительное успокоение снизошло в мою душу. Бедная мама, обивши все пороги у властей предержавших и ничего не добившись, уехала и ждать мне стало некого. Никто не придет, да никого мне, откровенно говоря, и не надо. Зоя со мной, есть книги, перо, бумага; хорошо и спокойно. Дело, видимо, затянулось: на допросах спрашивают о нелегальной библиотеке, о гектографе, о шрифте, но совершенно ясно, что ни библиотеки, ни шрифта они не нашли, а только знают, что они существуют. Держат в тюрьме с целью поморить и кого-нибудь смутить и побудить сознаться и указать, где спрятаны вещи. Так и начинают всегда допрос:

— Ну-с, вы имели много времени подумать. Не пожелаете ли теперь сознаться и указать, где сокрыты шрифт и книги?..

— Я вам уже сказал всё, что имел сказать... Никакой библиотеки и никакого шрифта не видал и ничего о них не знаю. Вы имели тоже достаточно времени, чтобы убедиться, что всё — это измышление ваших агентов...

— Так не желаете показать?

— Не могу, ибо ничего не знаю...

— Увезите!..

Всё-таки приятная прогулка по городу, развлечение и отдых от однообразия тюремной жизни. Допросы мы все очень любим: они дают новую пищу для наших разговоров через стенку и догадок о том, насколько поднялись или опустились наши акции. Допрос, баня и всеобщая по-прежнему вносят оживление в мою жизнь и разбивают ее на правильные интервалы, помогающие времени бежать вперед...

Уже привык к тюрьме и к тюремной жизни и ее особенностям. Иногда даже чувствую какую-то странную симпатию к этим мрачным каменным стенам и башням. Завелись приятели среди стражников и среди уголовных арестантов. Есть с кем поболтать в сумерках и есть о чем подумать. В одиночестве мысль работает быстро, жадно, остро: книги прямо глотаешь одну за другой, делаешь выписки, набрасываешь свои заметки. Иногда является желание писать стихи или повести... Разрешили купить лучше лампу и за-

вести маленькое зеркальце, зубочистку и чернильницу. На столе уже виден некоторый комфорт и прочная оседлость. Из допросов видно, что власти имеют большое желание прицепить всех нас к делу Николая Ивановича, а для этого потребуется очень много времени: до сих пор нет связующих элементов. Я, как сожитель Николая Ивановича, для них — лакомый кусочек, но именно я-то и не даюсь в руки. Замучили допросами бедную Зою: каждую неделю возят в жандармское. Зоя сидит в № 6, и вести от нее доходят через четвертые руки, вести отрывистые, иногда непонятные, перепутанные при передачах. Начинаю тревожиться за ее здоровье: иногда, ночью, прислушиваясь к напряженной тишине, узнаю ее кашель в конце нашего коридора... Полковник ей мстит за дерзости и оскорбление во время обыска. А может-быть тут имеет значение и то обстоятельство, что она — моя невеста.

Каждое утро камеру убирает уголовный арестант Флегонт. У него — приятное лицо, худое, с кроткими голубыми глазами, в которых я часто ловлю молчаливое сочувствие.

Иногда, когда ожидающий у двери стражник отвлечется и займется разговором с кем-то в коридоре, Флегонт шепчет, подметая камеру:

— Терпеть надо, Енадий Николаич... Когда-нибудь отольются наши слезки.

— Хочешь папиросу?

Мигнет, чтобы положить на постель, и, убирая под кроватью, стянет папиросу, а потом молча приложит руку к сердцу.

Наладилась прочная молчаливая симпатия: переглядываемся ласковыми взглядами и вздыхаем. Однажды Флегонт начал говорить со мной жестами пальцев. Старался понять, но не понял. Потом догадался, что Флегонт предлагает передать что-нибудь товарищам. На маленьком куске тонкой бумаги написал: «Ты кашляешь, беспокоюсь. Г. Т.»; свернул, надписал: «В № 6» и положил на постель, рядом с папиросой. Флегонт понял и мигнул, но стражник заметил и отобрал записку и папиросу. И с этой поры вместо Флегонта стал убирать камеру другой арестант, не внушавший доверия. Вообще после этого я стал замечать что-то подозрительное в окружающей мою камеру обстановке. Касьянов, безнадеж-

но влюбленный в Веру Игнатович и давно оставивший меня в покое и преследовавший перестукиванием свою соседку, неожиданно стал надоедать мне и спрашивать о том, о чем он должен был хорошо знать сам: где библиотека и кому сдан шрифт? Спрашиваю: кто говорит, отвечает — Касьянов.

— Н-е в-е-р-ю.

— П-о-д-и-к-ч-о-р-т-у!

А в соседстве, по другую сторону, тоже — новость: было пусто, а теперь, по ночам, слышен мягкий шум шагов и женское покашливание. Очевидно, новая комбинация. В голове копошится смутное предчувствие «ловушки». Справа несомненно — шпион, а вот кто — слева? И зачем эта новая комбинация? Прислушиваюсь к тусклым звукам жизни за стенами, у соседей. Всё больше убеждаюсь, что сосед справа должен изображать Касьянова, который куда-то исчез. А вот слева... Не может быть! Неужели — Зоя?!

Ночью прижимаюсь ухом к стене и ловлю слабое покашливание: страшно напоминает Зою. Неожиданный стук от мнимого Касьянова:

— Р-я-д-о-м с-и-д-и-т т-в-о-я н-е-в-е-с-т-а...

Вихрем кружится мысль и вдруг, как молния в хаосе туч, вспыхивает в сознании догадка, испугавшая и обрадовавшая: с одной стороны подсадили Зою, а с другой — шпиона, хотят выудить из наших разговоров нужную им тайну... Даже застучало сердце от этой догадки. Сразу всё стало ясно и великое злорадство наполнило душу:

— Эх, вы! Комики!.. Благодарю вас за соседство слева, а справа нам не помешает. Коварство и любовь!..

И, спрятав лицо в подушку, я стал потихоньку хихикать. А потом подошел к соседу и простучал: «Касьянов, спишь?» Словно с цепи сорвался мнимый Касьянов: моментально застучал громко, никого не боясь:

— «Не сплю. Как дела? Спроси невесту, куда они спрятали шрифт».

— «Не понимаю, о каком шрифте говоришь».

— «Она знает. Стучи ей. Сидит рядом».

Не могу сдерживать смеха, хихикаю в руку и стучу, что невеста не знает азбуки и не умеет перестукиваться. Велит научить, выбивая

буквы по порядку алфавита, без рядов. Обещает подкинуть ей нашу тюремную азбуку. Отвечаю: «сделай это скорее, необходимо».

Это была веселая ночь: словно я был в театре и смотрел какой-то водевиль с переодеванием. А когда водевиль кончился, я лег в постель и всем существом стал ощущать близость милой Зои. Трудно передать это ощущение: радостное беспокойство и грусть тихой нежности непрерывно, как волны прибоя, набегали на душу, катились в крови к сердцу и баюкали, и ласкали. А когда слух ловил глухие звуки милого голоса, я закрывал глаза и мне казалось, что я вижу за столом у лампы склоненную над книгой золотую головку и печальную улыбку на милом лице. Вот она встала и медленно, плавно ходит по камере. И только одна стена разделяет нас. Если бы она знала, что я — рядом!.. Опять так близко и так далеко... Я громко кашлял: может быть, узнает; потом прислушивался. Нет, не догадывается, не узнает. Было досадно и немного обидно. Снова начались мучительные ночи: радостно-тревожное чувство всё нарастало и нарастало. Много раз пытался постукивать,

но ответа не было: шаги смолкнут, но ответных стуков нет. Не знает азбуки, а может-быть боится. Она — умница, осторожная. Не следует на нее сердиться. Дня через три мнимый Касьянов постучал мне, наконец:

— «Азбуку подбросил, говори».

— «Молодец»...

Как только наступили сумерки, начал осторожно постукивать. Я знал, что нам мешать не будут, но не хотел отступать от наших обычаев, чтобы не зарождал сомнения в соседе. Поэтому сдержал свое нетерпение и проявлял фальшивую осторожность. Тихо, нежно так выстукиваю:

— 3-0-я, 3-0-я, 3-0-я, 3-0-я.

Вопросительный кашель, тишина, два удара в стену.

— 3-0-я, 3-0-я, 3-0-я...

Громкий радостный смех за стеной, такой знакомый и странный.

Снова громко кашляю. Тишина. Эх, будь что будет: взял да и запел во весь голос:

«Эх, ты, ноченька, ночка темная...»

Громкий стук в стену и глухой голос, поющий за стеной:

«Ночка темная, ночь осенняя...»

Громкие шаги в коридоре, звон ключей, лязг железа. Слышно, как отпирают соседнюю камеру и спорят с Зоей. Потом идут к ней, отпирают.

— Петь не полагается. Переведем в башню.

— Разве не полагается?

— Что вы, первый день здесь живете?!..

— Забыл. Не буду.

— Из-за вас нам неприятности. Если запое-те еще раз...

Идите, больше не надо... Теперь обойдемся и без песен. словно солнце засияло в камере после непогоды и так хорошо стало на душе. Теперь мы будем оба чувствовать друг друга близко и в смутных шорохах за стеной угадывать и сливать наши мысли. У Зои, благодаря любезности соседа, теперь есть условная азбука для перестукивания и мы можем изредка обмениваться лаской слов. Боюсь одного: не начала бы Зоя выстукивать что-нибудь тайное, что не следует знать коварному соседу... По-

этому, в первую же попытку поговорить с Зоей, я, после краткого «люблю», «на допросе добиваются узнать о какой-то библиотеке и шрифте, о которых мы с тобой ничего не слышали». Не знаю, поняла ли мои слова неопытная Зоя, но мой сосед сразу понял; в тот же вечер он мне выстукал: «переспросите, она не поняла». Забыл, прохвост, что он — Касьянов, и начал говорить со мной на «вы»...

В моей тюремной жизни начался новый период. Я ни на одну минуту не был одиноким: со мной всегда была моя Зоя. Было похоже на то, будто мы живем в одной квартире, в соседних комнатах. Стена не мешала близости, а скорей помогала ей. Днем, когда шум тюремной жизни мешал улавливать жизнь в соседней камере, я читал и писал, а как только тюрьма затихала, я, прильнув к стене, слушал, как Зоя ходит по камере, как она двигает табурет, пьет чай, покашливает, тихо вытягивает песенку или говорит сама с собой. Что говорит — разобрать нельзя, но довольно голоса, интонаций: приятно угадать хотя бы настроение духа и знать, что она жива и здорова. Ночью, ложась спать, мы прощались: «ло-

жусь, спок. ночи, целую» — выстукивала она, а я, целуя то место стены, в которое приблизительно ударял карандаш Зои, отвечал: «безумно люблю, целую стену». Зоя стучала: «я — тоже». Утром мы здоровались просто ударом в стену, при чем я никогда не стучал первым, чтобы не будить моей голубки. Когда я уходил на прогулку или когда меня увозили на допрос, я с удовольствием возвращался «домой», то есть в свою камеру: «дома» меня ждала Зоя. Я даже торопился и беспокоился, как у меня там, «дома»? Вероятно, и Зоя испытывала то же самое: возвращаясь «домой», она, как и я, первым делом оповещала меня о своем возвращении: ударяла один раз в стену. Ярko горела любовь через каменную стену!.. Я всё чаще писал стихи в честь Зои и перестукивал их моей вдохновительнице.

Был уже март и в природе чуялась близкая весна: всё синее становились небеса, прозрачнее воздух и начинало пахнуть землей и тающим снегом; по ночам, чрез раскрытую форточку, ярко мигали звезды и резко звучали голоса ночи и шорохи скатывающегося с крыш снега; звонче били ночью часы на городской

башне и тревожнее где-то далеко лаяли собаки. Из окна моей камеры, закрытого снаружи деревянным конусом с открытым раструбом в небо, был виден купол и крест тюремной церкви, на которой иногда садились черные грачи. Иногда и ночью не было заморозков, и тогда было слышно, как за окном падает с крыши капель и как ворчит тающий снег. Снег таял, а любовь разгоралась всё ярче. Иногда ночью, раскрыв форточку, я садился на стол, и прислушивался к звукам предвесенней ночи и всматривался в звезды. Мелодично перезванивали часы на башне и ночь внимательно вслушивалась в тающий в воздухе перезвон колоколов. В памяти бродили неясные воспоминания о весенних звездных ночах, таинственно прячущейся в кустах белой сирени с одуряющим запахом, о легком контуре белой девушки в ночных сумерках сада и горячем поцелуе... Когда это было?.. Ах, это будет, будет!.. Будет весенняя ночь, звезды, таинственные кусты цветущей сирени и белая застенчивая девушка с тяжелыми косами... и поцелуй, долгий-долгий, от которого помутится голова, как от опьяняющего аромата.

та белой сирени!..

Зоя, моя любимая, моя прекрасная Зоя! О, как я люблю тебя, моя невеста! Ты должна это почувствовать даже во сне, если ты уже заснула... Да, да, конечно, она кашляет... не может уснуть и думает о том же... Тук-тук! Отвечает: «так-так». Это значит: «Любишь?» — «Да, да!».

— Боже, как я счастлив!.. Как я счастлив!..

XXIX

Голубой кусок неба, яркое, но невидимое солнце, шум дружной капли с карнизов и неумолчный похожий на звон бубенчиков говор стремительных ручейков; задорный разговор воробьев и мурлыканье воркующих голубей под окном; протяжный перекликающийся перезвон в церквах, близких и далеких: Великий пост...

В раскрытую форточку так и тянет весной. Не хочется слезать со стола. Всё бы смотрел на кусок голубого неба и слушал, как звенят ручьи и воркуют милые голуби! Встал на стол, всунул лицо в форточку и не могу нады-

шаться влажным, прозрачным воздухом. Хочется закричать в фортку:

— Люди, здравствуйте!

— Господин, слезайте со стола! Нельзя.

— Что же, вылечу в форточку, что ли?

— Не вылетите, а всё-таки не допускается.

— Требую выставить зимнюю раму.

— Не выставляется у нас... никогда.

— Вон как у вас... Довольно глупо у вас...

— А вы не рассуждайте, а то... Вот вам кипяток и письмо!..

— А, ну так бы и говорили.

Заварил чай. Письмо — от мамы: тысячу раз целует, прихварывает, страдает за меня и за себя, хлопочет о разрешении взять меня на поруки. Просят три тысячи, а взять их негде. Могла бы еще кое-как сколотить тысячу, а три — нет сил; есть одна надежда на одного человека, но пока не хочет обольщать и смущать меня надеждой. «Три тысячи. Легко сказать! Значит, ты наделал хороших дел, если меньше как за три тысячи не могут выпустить тебя на поруки к родной матери». Дальше — упреки и скрытые слезы, жалобы на плохое здоровье и усталость от огорчений. На

Пасхе собирается приехать в Казань.

Только на мгновение мелькнула радость в душе, когда мать написала про поруки. Обожгла мысль о свободе и сейчас же померкла и пропала: выйти на свободу одному, без Зои — нет, не хочу, не могу, не имею права!..

Где-то поет скворчик и поют протяжные колокола. И радостно, и грустно на душе. Уронил на руки голову, а невидимое солнышко как-то ухитрилось пролезть в окно и ласково греет руку. Свежий ветерок течет из фортки на голову, шевелит волосы. Хочется дремать под грустный перезвон великопостных колоколов. Роятся в памяти какие-то далекие воспоминания о страстных днях, о пасхальной заутрене, еще о чем-то далеком-далеком... Смутно рисуется детство, доброе лицо умершего отца, игрушки, пасхальные яйца, лужок, мама в белом платье, молодая, не та, которая хочет приехать на Пасху. Чего-то жаль, о чем-то хочется вспомнить и не можешь, что-то убежало и не вернется...

Радостно поет где-то скворчик и грустно перезванивают колокола.

— Пожалуйте на прогулку!

— На прогулку? Это хорошо. Надо посмотреть, где это поет скворец и воркуют голуби...

Всякий раз, выходя на прогулку, я торопился посмотреть на запертую дверь соседней камеры: ведь там, за дверью, сокрыто мое счастье! И на этот раз я взглянул на дверь. Взглянул и в тревожном изумлении остановился: дверь растворена, камеру убирает мой приятель Флегонт. Вопросительно взглянул на Флегонта, он — моргнул глазами.

— А вы пожалуйста!..

— Иду...

— Потом у них в 5-м номере уберешь! — бросает на ходу стражник Флегонту.

Камера соседа справа тоже растворена. Странное впечатление производят раскрытые двери камер: и радость, и тоска сжимают сердце... словно раскрытые клетки, из которых улетели на волю птицы. В душу хлынула жажда свободы, и зависть зашевелилась там, и радость за Зою, и досада на нее.

— Идите, не оглядывайтесь!

— Иду, иду...

Прошли длинный коридор, свернули и начали спускаться по лестнице. И тут-то случи-

лось *это* неожиданное, невероятное, о чем я часто мечтал, как о чуде, и что несколько раз я видел во сне: навстречу вели Зою... Всё это случилось так неожиданно для всех, и для нас и для стражников, что произошло полное замешательство. Стражники метнулись назад, а мы — друг к другу. Молча мы схватились за руки и впились друг в друга глазами. Вихрь радости закружился в ушах, и мы не нашли слов, чтобы что-нибудь сказать друг другу. Впрочем, всё это было делом одного момента, потому что стражники быстро спохватились и, оттащив нас друг от друга, повлекли в разные стороны.

— Зоя!..

— Геня! Милый!..

Вот всё, что мы успели прокричать друг другу, уже потом, издали... Мой стражник по дороге с кем-то успел переброситься бранным словом, кому-то погрозил доложить смотрителю про эту недоглядку, а я смеялся от восторженной радости, которая клокотала во мне, как вода под огнем, и готов был обнять сердитого стражника и того, кого он ругал бранными словами.

— Спасибо, милые, спасибо вам, дорогие!..

— Не разговаривать!

— Я сам с собою.

— С собой не о чем разговаривать. Гуляйте!

— С собой дозволено. Покажите инструкцию: там нет такого параграфа.

— Гуляйте в молчании, а то уведу в камеру...

Поет скворчик на Зоином окне, поет умильно и радостно. Не даром он пел с самого утра. Спасибо, скворчик! Грустно перезванивают великопостные колокола, а в сердце уже пасхальный трезвон под «барыню»... Хожу, а ноги подплясывают, и всё хочется громко, на всю тюрьму, запеть или закричать в город:

— Люди! Я видел Зою!

Как она похудела! Какие у нее большие глаза и синие, как это небо... Как радостно они засмеялись и схватили мою душу! Не могу припомнить, как она была одета. Только сейчас встретил, а не могу представить всей ее фигуры. Стоят в памяти только большие синие глаза, светлая улыбка и какой-то испуг; потом помнятся качнувшиеся косы. Как я не догадался поцеловать руку или косу: рука бы-

да в моей, вот в этой самой руке, а коса ударила меня по щеке, золотая коса! И теперь еще кажется, что коса щекочет щеку... «Эх, дурак ты, братец!».

— А вы, господин, не ругайтесь!..

— Да я — себя.

— А кто вас знает, кого вы... Гуляйте в молчании!

Значит, не выпустили, а возили либо на допрос, либо на свидание. Скорее — на свидание: она стучала что-то про отца. Не приехали отец, этот странный человек, пригрозивший нашей любви губернатором и преосвященным. Беспокоит меня этот господин, которого я никогда не видал: не наболтал бы чего-нибудь, не напортил бы нам с Зоей... Надо нам поговорить и условиться, как быть, если отец что-нибудь затеет неподходящее к нашим планам: мы решили, как только кончится дело и состоится приговор, повенчаться в тюрьме и поехать вместе в ссылку, если ссылкой кончится. А если только высылка или надзор — мы изберем для жительства один город и там уже решим, когда повенчаться и нужно ли вообще венчаться. Я — против этой

формальности принципиально, но Зоя не хочет огорчать родных и просит повенчаться. Пусть, для нее я готов на эту жертву...

Вон, около тюремной стены уже обтаяло и видна земля. Надо походить по этой мокрой земле. Как это приятно ступать по обнажившейся земле; мягко, скользко, остается след от резиновой калоши! Вон вьется веселый ручеек. Подошел, запрудил его ногой: скопилась мутная вода и побежала мимо. Не удержишь! Весна, тебя не удержишь! Любовь, тебя не запрешь в тюрьму!.. А голуби всё воркуют. Они рады, что мы с Зоей встретились. Где они? Ах, вон куда забрались: в нишу каменной стены. Для них нет неволи и им не надо венчаться, и никто их не отдаст под надзор полиции и не вышлет. Счастливые голуби! Если бы мы, люди, могли жить так же, как вы, голуби!..

— Пожалуйте домой! Прогулка кончилась.

Да, надо домой. Там ждет Зоя. Куда ее, голубку мою, возили? Что она расскажет? Почему-то волнует меня тревожное ожидание и страх, не случилось ли чего-нибудь неприятного для нас обоих.

Словно чувствовало сердце недоброе. Вой-

дя в камеру и осмотревшись, увидел на постели, за подушкой, записку и сейчас же понял, что ее подкинул от Зои мой приятель Флегонт.

«Приехал отец, хлопчет на поруки. Как скажешь, так и сделаю. Если хочешь, не выйду. Тяжело оставить тебя одного, словно теряешь навсегда. Милый, родной мой! Как же быть? Надо скорей повенчаться. Если отец будет мешать, не выйду из камеры. Верь и не грусти! Что бы ни было, никто и ничто нас не разлучит. Ночью буду ждать ответа, а лучше бы написал и передал Флегонту. Он — надежный. Трудно говорить через стену, много пропускаю, путаю. Весна, родной! Как хорошо на улицах! Ах, когда же мы с тобой... Твоя невеста».

Несколько раз прочитал письмо и стал быстро ходить по камере. Как же быть? Что предпринять? Висела над нами какая-то смутно сознаваемая беда; пугала близкая возможность разлуки; на кого-то я страшно сердился, а на кого — не мог сказать определенно. Кто-то покушался отнять у меня мое счастье, а права на это не имел: Зоя — моя, только моя,

больше моя, чем отца и матери. Никто не должен вмешиваться в нашу судьбу. Не позволю. Ходил всё быстрее и думал всё решительнее. Потом взял лист бумаги и решительным почерком, крупным и размашистым, сопроводя письмо чернильными непочтительными кляксами, написал в жандармское управление: «Политического арестанта, Геннадия Тарханова, прошение. Давно уже состоя женихом политической арестантки такой-то, имею честь просить о разрешении повенчаться с ней в тюремной церкви в самом непродолжительном времени. Геннадий Тарханов, политический арестант из камеры № 5». Во время вечерней поверки передал это прошение помощнику смотрителя и сердито сказал:

— Потрудитесь немедленно отослать в жандармское управление!

— Новое показание по делу?

— Совершенно новое. Вас оно не касается.

— Я не только могу, но я обязан читать всё, что пишут в тюрьме политические.

Читает и чуть заметно ухмыляется, негодяй.

— Смешно?

— Имейте в виду, что теперь только вторая неделя Великого поста и потому...

— Это не ваше дело.

— Едва ли...

Покачал головой и пошел, с улыбочкой на губах, из камеры. Не могу передать той злобы и ярости, которые я испытывал, глядя в толстый затылок уходящего помощника смотрителя. Если бы в моих руках был какой-нибудь тяжелый предмет, я пустил бы им в этот жирный затылок. Но у меня в руках ничего не было и я только до крови закусил нижнюю губу и сквозь зубы прошептал:

— Ммеррзавец!

И опять стал бегать по камере, пока не закружилась голова и не помутилось в глазах. А когда это случилось, бросился в постель и лежал без движения до тех пор, пока не подали зажженной лампы и кипятку для чая.

Медленно пил чай и обдумывал свое положение. Что, если нам не разрешат повенчаться в тюрьме? Отец возьмет Зою на поруки и, конечно, постарается разлучить нас навсегда: увезет куда-нибудь, за границу например.

Там она встретит кого-нибудь, полюбит и... Нет, она любит меня бесповоротно! Хорошо, если Зою куда-нибудь вышлют, а то ведь может всё дело кончиться для нее высылкой на родину и отдачей на поруки родителям. Это практикуется. Этого я боюсь больше всего. Попадет в западню моя Зоя и трудно будет добыть мою плененную Царевну. Отец у ней похож на Кащея Бессмертного — это видно из его грубого письма ко мне. Скверно, Геннадий Николаевич!

И впервые еще я почувствовал ненависть к стене, которая нас давно разделяла.

— Проклятая!.. Ничем не прошибешь...

Постучал. Стена ответила. Прилег на постель, прильнул к холодному камню и начал выстукивать свое решение:

— Надо немедленно обвенчаться. Поняла?

— Тук тук!

— Немедля подай прошение в жандармское. Поняла?

— Тук, тук!

— Когда повенчаемся, выходи на волю, только не забудь меня!

— Н-е з-а-б-у-д-у, н-и-к-о-г-д-а.

Потом я сообщил Зое, что моя мать тоже хлопочет о поруках и ищет денег, но что я не выйду, если Зоя останется еще в тюрьме. На это стена простучала мне:

— М-и-л-ы-й, л-ю-б-л-ю, ц-е-л-у-ю.

Итак, всё сделано. Теперь нечего бояться. Раскрыл фортку и стал слушать и смотреть в звездное небо. Была тихая ночь, лунная, печальная какая-то. На тюремной церкви ярко сиял под лунным светом крест. Синий купол слился с фоном неба и казалось, что крест висел в воздухе, как вещее чудо или знамение. Я долго смотрел на горящий синими огнями крест и вдруг мне захотелось молиться. Я встал на стол, опустил на колени и стал шептать:

— Господи, спаси нас!.. Ты можешь. Ты видишь, как мы страдаем...

Успокоенный, я собирался спать и по обыкновению, постучал, чтобы проститься с Зоей. Но ответа не было. Я прильнул к стене ухом и услышал что-то, похожее на тихий плач... Она плачет, плачет. О чем, голубка? Тревожно постучал в стену и прислушался; встала, с шумом отодвинула табуретку и по-

дошла к стене.

— Ты плачешь? О чем?

— Я не могу выйти на свободу без тебя. Обвенчаемся, и я опять вернусь в мою камеру.

— Прекратите разговоры!

— Я не говорю.

— Значит, стена стучит? сама? Надо вас развести... вот что.

— Не буду, не буду...

Всем хочется нас развести. Проклятые!..

XXX

...Опять раскрытая дверь. Опять увезли Зою на допрос. Как ее мучают!.. А может-быть на свидание с отцом. Не хочется гулять: дрожит в груди тревога. Надо скорее «домой»...

— Довольно! Больше не хочу гулять.

— Пяти минут не прошло еще.

— Всё равно, веди меня в камеру. Не хочу.

— Как угодно. Мне всё равно.

Не вернулась: камера по-прежнему раскрыта. Дрожит в груди тревога. Хожу, приостанавливаюсь и жду, когда хлопнет соседняя дверь, заскрипит засов и забренчат ключи.

чи: это случится, когда Зоя вернется в камеру. Радостно вздрагивает сердце при каждом далеком стуке дверью, при каждом шорохе в коридоре. Нет, не то... А может быть она уже в камере? Может быть, я как-нибудь пропустил ее возвращение. Подхожу к стене, прикладываю ухо, напрягаю слух и внимание. Нет, не слышно... Камера — пуста. Не верится. Стучу в стену условным призывом. Нет, не отвечает... Господи, что же это значит? Снова крадусь к своей двери и, затаив дыхание, прислушиваюсь к звукам и шумам в коридорах. Нет, нет! Смотрю на часы, успокаиваю себя: прошло не больше часа, на допросе иногда держат по два часа... Что им от тебя нужно? Что они мучают мою бедную голубку! Хожу, как зверь в клетке, тыкаясь в углы, а тревога всё растет и растет. Смотрю на молчаливую стену: холодная, мертвая, угрюмо-молчащая стена. Она знает, но не скажет. Никто не скажет, не напрасно ли я жду желанного звона ключей!

— Зоя, моя милая невеста!..

Проходит еще час, и проходит другой. Зловещая тревога уже гонит прочь успокаиваю-

щие догадки и безостановочно гложет душу, и шепчет на ухо:

— Нет, не жди! Она не вернется.

Идут, бренчат ключами... Она!.. Нет, это ко мне.

— Обед.

— Я не буду обедать. Постойте, скажите, где девушка из № 6?

— Не знаю.

— Прошу вас... ради Бога!..

— Ничего неизвестно...

— Умоляю вас, скажите, где она, моя невеста?.. Скажите только, вернется она? Да, конечно она вернется?.. Ну, так убирайтесь вон! К черту с вашим обедом!..

Ушел. Злобно звякнул железный засов... Один, один! Она не вернется... Зоя, Зоя!.. Как мне скучно! Если бы ты знала, как мне скучно!..

Где ты? хотя бы знать, где ты и что с тобой! Не скажут. Никто не скажет. Ты не могла выйти, бросить меня, не сказав ни одного слова. Нет, ты не могла! Здесь кроется какая-то подлая проделка. Милая, тебя обманули!.. Я ручаюсь, что ты, оставляя утром тюрьму, уже ду-

мала о том, чтобы поскорее вернуться. Нас обманули, Зоя!

— Что же делать? Господи, научи, что делать! Тоска, невыносимая тоска... Кто там еще лезет в мою камеру? Что вам от меня надо?!

— Потрудитесь прочитать бумагу и расписаться в прочтении...

— Какую бумагу?.. Зачем? Надоели мне ваши бумаги. Лучше скажите, куда вы девали арестантку из № 6?

— Эта бумага вам выяснит.

Вырвал бумагу, читаю: «Сим политический преступник Геннадий Тарханов уведомляется, что прошение его о разрешении повенчаться в тюремном храме во имя Всех Скорбящих оставлено без последствий, так как указанная в оном прошении невестою заключенная того же тюремного замка девица в означенном замке не находится».

— Где же она?

— Это к делу не относится.

— Как не относится, когда мы с ней хотим повенчаться?

— Не кричите! Не забывайте, что вы не начальник, а я не ваш подчиненный! Мы не

обязаны разыскивать невест.

— Ну, так убирайтесь к... вон!

— Потрудитесь расписаться и не возвышать голоса...

— Без последствий!.. Очень хорошо сказано.... Оное прошение... Оная девица!.. Оный тюремный замок!.. Извольте, расписался: «оную бумагу читал Геннадий Тарханов». Всё? Теперь уверены, что оная девица не пойдет за меня замуж?

— Не следует, подписываясь, делать таких росчерков и клякс. Вы не министр, а политический преступник.

— А разве министры всегда делают кляксы?.. А вы их слизываете...

— О ваших дерзостях будет доложено, куда следует...

— А мне, ваша светлость, наплевать!

— Вот этаких на поруки не следует выпускать, а хорошенько проманежить.

Помощник вышел, а я стал бегать по камере и возбужденно говорить сам с собой и хототать:

— Без последствий!.. А! Хотят оставить нашу любовь без последствий!.. Не следует меня

выпускать на поруки!.. Проболтался, голубчик: теперь ясно, как Божий день, что Зою взял на поруки отец и что ее обманули: повезли на допрос и передали отцу, этому господину... Кащею Бессмертному!

Тоска, ах какая страшная тоска! Не знаешь, куда себя девать, куда спрятаться от тоски. Кажется, разбил бы лоб об эту холодную, мертвую стену, за которой жила моя похищенная Принцесса... Тоска, тоска, тоска! Чорт с вами, теперь мне нечего жалеть, переводите в башню, в карцер, куда угодно. Мне всё равно, я хочу запеть, громко, с тоской запеть свою любимую песню... Тюрьма, слушай:

*Эх, тоска, братцы-товарищи, в
грудь запала глубоко,
Дни веселия, дни радости отлете-
ли далеко!..*

— Прекратите пение! Нельзя.

— Чего там нельзя!..

*Эх, за что ты изменила мне, я ль
тебя да не любил?!
За тебя, моя изменница, свою ду-
шу загубил...*

По коридору забегали, бряцая шашками и ключами тюремщики, а в противоположном конце какой-то политик уже подхватил и пел густым басом на всю тюрьму:

*Полно, брат-молодец, ты ведь не
девица,
П-ней, — тоска-а-а пройдет...
Пей, пей! — тоска пройдет.*

И угрюмая тюрьма вышла из безразлично-го равновесия. В разных концах, вверху и внизу, пели и перекликались; никто не боялся угроз и не хотел признавать прав тюрьмы на безмолвие. Долго смотритель со стражниками бегали по камерам, упрашивали, стращали, умоляли, но как только водворялась тишина в одном конце, так в другом начиналось пение и перекличка. Я уже стих, мне надоело озорничать от тоски и отчаяния, а товарищи продолжали шуметь. Моя громкая «песня о тоске и изменнице» прорвала весеннюю жажду свободы, песни, любви, общения, и все порядки полетели к чорту. Но вот мало-по-малу шум стал ослабевать и, наконец, совсем прекратился. Воцарилась тишина, угрюмая и тяжелая, казавшаяся, после непривычного

шума и взрыва молодой жизни, еще более глубокой и мертвой. Могила, каменная могила...

Прошла ночь, первая одинокая ночь. Опять раскрыта форточка, опять — синее небо, звезды, вздохи и шорохи земли, тайно, в ночном безмолвии, приготавливающейся к встрече желанной гостьи-весны; опять мелодичный перезвон на городской башне... Только нет за стеною той, которую я люблю, и некому уже сказать «спокойной ночи»!..

Лежу в постели с раскрытыми глазами и всё еще не верю, что умерла стена: всё чудится, что нет-нет да и скрипнет башмачок, милый башмачок милой девушки!.. Несколько раз, задремав, весь встряхивался и пробуждался; должно быть, во сне казалось, что стена тревожно зовет:

— Тук-тук!

Прижимался ухом к холодному камню и весь превращался в слух. Потом, ослабев от нервного напряжения как больной, валился на подушку и, отдуваясь, шептал запекшимися губами:

— Нет. Не вернется!..

Ах, как долга эта первая одинокая ночь и как часто бьют на городской башне часы!.. Бежит время, а кажется, что оно навсегда остановилось и что никогда уже не придет утро и не взойдет над землей солнце...

XXXI

Всё выше и прозрачнее синее небо и всё горячее солнце. На тюремном дворе уже нет снега, обнажилась земля, а под стеной уже вылезла зеленая травка; на одинокой березе наливаются почки; под раструбами водосточных труб блестят лужи и мелкие ручейки, как ленточки, разбегаются в разные стороны. Беспрерывно трещат по мостовым невидимого города извозчичьи пролетки, гул их, веселый и торопливый, уносит мысль на оживленные улицы, где снуют свободные люди в новых весенних костюмах, девушки в синеньких вуалетках, с новенькими зонтиками...

Скоро Пасха: сегодня началась Страстная седмица. Должно быть, многих выпустили: как-то очень уж тихо и одиноко в тюремных коридорах... Не слышно по ночам тревожных

стуков, кашля, вздохов; громче разговаривают между собой тюремщики и нет в них прежней суетливости и беспокойства. Уголовные арестанты моют полы, скоблят что-то и стучат железными ведрами. Должно быть, и в этом каменном гробе ждут и готовятся к встрече Христа, которого сами же и распинают... Эх, вы, слепые кроты!

Почему-то великопостный перезвон тянет, приковывает мысль к великим страданиям, к терновому венцу и кровавому поту Распятого за великую любовь к людям. Скоро будет уже две тысячи лет, как люди вспоминают об этих страданиях каждый год, а всё еще не поймут, что они каждый день, каждый час распинают своего Бога...

Я люблю в Страстную седмицу ходить в церковь: в эти дни люди как-то ближе делаются друг другу и, как раскаявшиеся преступники, грустят о какой-то неведомой хорошей жизни и смутно сознают суету и пустоту тех благ жизни, за которые они непрестанно грызут друг друга за горло... Даже в фарисеях в эти дни начинают теплиться искорки искреннего покаяния...

Каждый день я хожу к часам и к вечерне. Закрою глаза и прислушиваюсь к кроткой молитве, так просто и искренне раскрывающей перед Богом все человеческие слабости:

— «Господи, владыко живота моего...».

Вздыхают люди, опускаются на колени, и вся церковь наполняется покаянным настроением. Хочется прощать даже врагам своим, не ведающим бо, что творят.

В тюремной церкви так странно и резко, под звон кандалов, звучат слова кроткой молитвы. В голове встают непримиримые контрасты: вот они, люди — одни заковали других, как опасных зверей, в железные цепи, рассадили по клеткам и теперь вместе сокрушаются и молят Бога:

— «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!...».

— «И не осуждати брата моего...».

Мешает это отдаваться тому настроению, которое испытывал в такие дни в церкви свободным. Только начнешь отлетать от земных злоб, как вдруг — звон кандалов или бряцание оружием, — и раскрываешь глаза, и саркастическая улыбка начинает шевелить гу-

бы. Думаешь: «если на небе есть Господь, как ему. должно быть обидно, горько и смешно смотреть и слушать слепых рабов своих!..».

Хотелось вспомнить детство, всю неделю пропоститься и даже поговорить. Нет, не могу! Ничего не выходит. Не покидает дух сомнения: кандалы не дают ему притихнуть и слиться с молящимися братьями в общей кроткой, такой прекрасной молитве... Буду слушать великопостное пение и вспоминать хотя, а не переживать то, что не хочет вернуться...

Купил пучок вербы с белыми пушистыми, похожими на маленьких зайчиков, цветами, купил толстую восковую свечку с золотом. Хожу аккуратно к часам и к вечерне, жую пахучий воск, подпеваю арестантам, а сам вспоминаю, как говел, бегая из церкви в церковь, когда был гимназистом, как возвращался от всенощной с горящей свечой и как лазал на колокольню звонить... И полетит мысль далеко-далеко, и забудешь, что ты — в тюрьме. Ах, проклятые кандалы, вы опять разбудили мой рассудок! Дайте мне полетать на воле!..

— «Господи, владыко живота моего...»

Позади меня стоит стражник и, опускаясь на колени, бряцает шашкой. И мне вдруг приходит в голову мысль: «а что, если я сейчас побегу?». Забудет про Владыку своего живота и первым делом вспомнит владыку тюрьмы и пустит в меня пулю из револьвера...

В среду за часами в мою клетку заглянул батюшка в черной ризе с серебряными крестами. Он с изумлением посмотрел на меня и очень кротко, с соболезнованием, спросил:

— Пожелаете исповедываться?..

— Нет, батюшка, не могу...

— Почему так? Я вижу, что вы, не в пример другим политическим, посещаете храм Божий... Вы, вероятно, боитесь, предполагая, что я выдам начальству ваши политические грехи...

— Политические грехи, батюшка, иногда на небесах считаются добродетелями...

— Никогда! Заблуждаетесь.

— Христа обвиняли, батюшка, в том, что он называл себя царем...

— Не время и не место... — сказал батюшка и скрылся.

Пропала охота ходить в церковь. В Вели-

кую пятницу я зажег у себя в камере огарок свечи с золотом и слушал, как в тюремной церкви пели арестанты «Слава долготерпению твоему, Господи», как в синей тишине весенней ночи перекликались колокола городских церквей, и невыразимая тоска щемила мне грудь, выдавливала на глаза слезы. Глухое пение, перезвон колоколов и огонек восковой свечи напоминали о смерти и погребении... И вдруг в памяти нарисовался полутемный зал в старом доме, гробик с тремя горящими свечками и бледное личико Вовочки в кружевном чепчике, сложенные ручки с восковыми пальчиками... Закрыв глаза и вижу около гробика тонкую женщину в черном, с страдальческим выражением на прекрасном лице... Уйди, Калерия! Я не хочу вспоминать о тебе. Я не люблю тебя, я никогда не любил тебя, я лгал себе самому, когда говорил тебе о своих муках и о радостях любви!.. Я люблю Зою, мою чистую белую невесту с золотыми косами. Только ее! Уйди же, Калерия, я не хочу тебя видеть!.. Я не хочу о тебе думать...

— Зоя, Зоя!.. Где ты, моя светлая голубка?

Я с сердцем погасил восковой огарок, рождающий в памяти черный призрак прошлого, и, ходя по камере, с грустью тихо декламировал свои стихи, посвященные Зое:

*Ярко блещут звезды в синеве
небесной,
Через окно струится аромат весны,
Над землей уснувшей роем бестелесным
Носятся на крыльях феи грез и сны...
Звездочка мигнула в вышине далекой
И опять зажглася синим огоньком...
Звездочка, брось луч свой к девице синеокой,
Разбуди ей сердце и шепни тайком!
Ты шепни о том ей, как тоскует милый,
И отдай ей крылья от моей мечты, —
Пусть, хоть на мгновение, сказочную силой
Превратится в грезу, фею Красно-*

ты!..

*Надо мной склонилась русая
головка*

*И коса упала ко мне на плечо...
В полутьме сверкнула глазка-
ми плутовка*

И поцеловала крепко, горячо...

Синеет в раскрытой форточке кусок небесной синевы с одинокой звездочкой, ласковый теплый ветерок приносит пугливые еще грезы о радостях весны, а колокола невидимого города грустно и торжественно перекликаются, то далекие и тонкие, то близкие и гудящие низким басом... А в тюремной церкви арестанты в кандалах с верой и упованием поют:

— «Слава долготерпению твоему, Господи»!

Какая теплая ночь! Насторожилась и прислушивается к перезвону колоколов. И небеса притихли. И звезды задумались. Какая-то тайна есть между небом и землею. Что-то знают земля и небо, чего не знаем и никогда не узнаем мы, люди. И от этого кроткая печаль волнует душу. Странно: на свободе, когда чи-

тал Бюхнера, не верил в Бога и верил только в Дарвина, всё было так ясно и понятно: Бога нет, как дважды два — четыре, его придумали умные и ловкие люди, чтобы удобнее и легче было морочить простаков... А вот теперь опять всё неясно и всё непонятно. Смотрю в синюю глубь неба с задумчивыми звездами, прислушиваюсь к плавающим в тишине звонам колоколов — и душа наполняется каким-то благоговейным трепетом, и ясно чувствуешь какую-то великую тайну между землей и небом.

— Нет, не может быть, чтобы не было Бога...

— «Слава долготерпению твоему, Господи!» — поют арестанты.

Я глубоко вздыхаю и молюсь в форточку на кусок далеких, полных тайны небес.

Но вот всё стихло. Не поют арестанты, замолчали колокола. Молчат земля и небо. Кончились великие страдания Христа, положившего душу за други твои... В страданиях за правду и ближних люди приобщаются к великим страданиям Христа. И, может быть, поэтому в душе моей иногда ярко вспыхивает

радость, что я томлюсь в тюрьме в эти дни великих страстей Господних... Да, да, это так! «Слава долготерпению твоему, Господи!»! — шепчу я и, успокоенный, с тихой и кроткой душой, ложусь в постель. Не спится. В раскрытой форточке синеет кусок неба с одинокой звездочкой и притягивает к себе какой-то неведомой силою. Влажной прохладной волною льется с воли тревожащий воздух весенней ночи. Какую-то радость приносит он из неведомых краев на своих крыльях, пробуждает в памяти какие-то смутные, радостные воспоминания... Весенний шум старых берез с молодыми листочками; голубые небеса с плывущими куда-то белыми облачками; зеркальная поверхность родной Волги с убегающими в синюю даль горами; дымок парохода, грустный, далекий свисток: плоты в розовом тумане весеннего вечера на реке...

— Зоя, Зоя!..

Старый сад с липами, с таинственными шатрами из зеленых кружев листвы, с одуряющими ароматами сирени, с огнями скрытого деревьями старого дома... Белая, как снег, гибкая Джальма в синих сумерках теплой

молчаливой ночи, распахнутое окно беседки... и прекрасное лицо черной женщины с черным пламенем странных, пугающих душу глаз...

— Уйди, Калерия!.. Я не хочу вспоминать и не хочу думать о тебе.

Не уходит. Властно стоит в памяти и насмешливо смотрит прямо в глаза...

— Какие бесстыжие глаза у тебя, Калерия!.. Не смотри на меня! Уйди!

Не уходит. Приближает свое лицо, порывисто дышит горячим дыханием в щеки и раскрывает свои красные губы...

— Пойдем... пойдём...

— Куда ты влечешь меня? Разве ты не знаешь, что я люблю Зою, что Зоя — моя невеста?

— Пойдем на край света!.. Уже пришла весна. Шумит старый сосновый бор, распустились на озере белые лилии и желтые кувшинки, выросла мягкая душистая трава... Разве ты не слышишь, как пахнет земляникой?

— Ах, Калерия... Какая ты красивая!..

— Да, да... Идем же на край света... встречать, весну!..

На другой день я проснулся разбитый и

усталый, с смутной тоской на душе... И когда я вспомнил кошмарные сны пролетевшей ночи, я почувствовал жгучий стыд и, закрыв глаза, прошептал:

— Прости, Зоя... Я не виноват... Мне стыдно и... гадко...

XXXII

В Великую субботу прилетели вестники радости: вечером, после поверки, стражник принес мне в камеру кулич, пасху и десяток красных и зеленых яиц.

— Вот вам... разговеться!..

— От кого? Постой, скажи, от кого...

Ушел. Я стал рассматривать пасхальные приношения, и сердце запрыгало от радости:

— Мама!.. Вижу по куличу, что мама... Приехала милая старушка... Да, конечно, она: узоры на куличе — наши, семейные, такие памятные... Ах, милая старушка, как я рад, что увижу тебя, родная! Как я люблю тебя, раньше я этого не чувствовал, а вот теперь...

Я понюхал кулич и еще более убеждался, что от него пахнет нашим старым домом. Ми-

лый кулич, словно молчаливый друг, ты с любовью и лаской смотришь на меня со стола и говоришь мне:

— Христос Воскресе, Геня!

А яйца красили тетки. Вот эти старшая тетка, а эти красные — младшая. Смешные тетки! За что я их не любил? В сущности они очень милые старые девы, меня любят по-своему, берегут мою нравственность, как они сумели сберечь свою собственную. Это смешно, но надо уметь понять и простить. Говорят, младшая была очень недурна, имела несколько женихов, но как только жених заговаривал о любви и делал попытки поласкаться с невестой, так она оскорблялась, рыдала и гнала вон жениха.

— Он нахал, развратник! — кричала она из запертой комнаты, и роман обрывался на самом интересном месте. Эту тетку до сих пор называют в уезде «невестой невестною»...

— Ах, вы тетки, старые лебедки!.. Ей-Богу, и вас я люблю...

Теперь на моем столе — кусочек нашего дома, кусок нашего пасхального стола. Что же, и то хорошо. У меня всё по кусочкам: ку-

сок неба, кусок воздуха, кусок свободы, кусок стола, кусок Пасхи Христовой. Раньше был, вот здесь, в каменной стене, кусок Зои... Теперь его — нет... Всколыхнулось радостью сердце: может быть, мама достала три тысячи и возьмет меня на поруки?.. Свобода, свобода! Только в неволе начинаешь понимать, какое это огромное счастье распорядиться своим телом: куда захочешь — иди, на что хочешь — гляди, что хочешь — слушай, а чего не, хочешь — не слушай, на кого хочешь — гляди, а на кого не хочешь — не гляди... Куда я пойду? К Зое! На кого буду глядеть? На Зою! Что я буду слушать? Голос Зои! На кого смотреть? На Зою, на Зою!.. Первым делом женюсь на Зое. Как это устроится, я еще не знаю, но это должно быть и будет. Наверно, мама привезла мне весточку о Зое и о том, как всё это должно устроиться...

— Тетки, вы уже наверно оплакали мою нравственность!..

Кто-то идет. Не ко мне ли?.. Бренчат ключи, гремит железный засов.

— К заутрене пойдете?

— Как же, как же!.. Обязательно!.. Всене-

пременно!.. Неукоснительно!.. Постойте!

— Что вам?

— А Христос-то воскреснет...

— Ну, и слава Богу!

— Что взяли?

— Чай, не мы Его распинали?..

— Вы, вы, вы!..

Ушел. Тихо. Удивительно тихо. Опять притаилась ночь, напряженно молчит земля и ждет чего-то в торжественном молчании своем... Притих город. Тоже ждет чего-то. И притихла тюрьма. Надо готовиться к заутрене: умываться, надеть все чистое, причесаться, вообще принять необычный вид. Хочется быть чистым и красивым...

— Пожалуйста в церковь!..

Быстрым шагом спешим в церковь. Промелькнула темно-синяя ночь, с трепещущими в высоте звездами, обдало приятной весенней прохладой, и потянулся полутемный коридор, которым проводят политических к Богу. Опять в клетке, опять позади — стражник с шашкой. Но пред глазами — кусок ярко-освещенной церкви, паникадило с зажженными свечами, верхушка иконостаса. В

церкви тихо, напряженно тихо. Даже не звенят кандалы. Только шопот, вздохи и какие-то шорохи...

— Бум-у-ум! — ударил гулкий басовой колокол в городском соборе, и задрожал воздух, и мигнули огни восковых свеч. Следом за этим гулким мощным ударом загудели колокола во всех городских церквях и тоненьким голоском ответила им наша тюремная церковь... Загудела земля от колоколов и тревожно задрожала душа... Разом загремели арестанты кандалами, стражники — оружием, духовенство — кадилами, новыми праздничными ризами. Закачались перед глазами верхушки хоругвей... Пошли встречать Христа. Пошли только избранные: поп, дьякон, дьячок, смотритель и его помощник, надзиратели, хор певчих. А мы остались ждать. С нами, арестантами, остались и стражники. Несколько минут тишины, нарушаемой сдержанным покашливанием, а потом — глухое пение за каменными стенами: «Воскресение Твое, Христе Спасе...» Но вот растворились двери тюремной церкви и ворвался радостный, победный хор молодых голосов:

— «Во-скре-се-ние Т-во-е, Христе Спа-се, анге-ли по-ют на небеси...»

Зашумела, загремела вся церковь. Сотня арестантских надорванных голосов подхватила эту торжественную песнь, возвестившую Христово Воскресение, и теплые слезы полились из моих глаз... Дрожала душа от неведомой радости и огромной скорби, от любви к людям и от ненависти к ним за то, что они сами распинают друг друга, и не было сил спрятать эти слезы... Запели «Христос Воскресе», я прижался к стенке своей клетки и расплакался. Кто-то тихо дотронулся до моего плеча и сказал:

— Христос воскресе, барин!

Обернулся — стражник, с доброй улыбкой на грубом солдатском лице.

— Воистину воскресе!..

Вытер слезы и крепко поцеловал стражника три раза. А он вздохнул и прошептал:

— Мамашу, видно, вспомнил... Господь страдал и нам велел терпеть...

— Нет, Господь нам не велел мучить друг друга...

— А ты тише!.. Нельзя... Молча молись, Гос-

подъ все понимает...

— «Друг друга обымем, и ненавидящие нас простим все Воскресением!..»

Молятся арестанты, громыхая кандалами, и на восклицания священника: «Христос воскресе», дружно, торопливо и радостно гудят разбитыми голосами:

— Воистину воскресе, батюшка!..

— Приложиться бы к кресту надо... — шепчет стражник.

— Иди, не бойся: не убегу.

— Кабы надзиратель не заметил. Нельзя нам...

— Иди!..

— Ну, смотри... Грех будет... — Не беспокойся...

— Убежать некуда, ворота заперты, а неприятностей много будет...

— Вот видишь!..

Я перекрестился, и стражник спокойно пошел прикладываться.

Вернувшись от заутрени, я уселся к своему пасхальному столу и начал разговляться куличом и пасхой. Чем-то родным пахло от стола и от кулича с пасхой. Чудилось, что со

мною невидимо сидят за столом мама, покойный папа, брат, тетки...

— Ну, милые, Христос воскрес! — говорил я и нюхал кулич.

— Зоя, моя светлая чистая невеста, Христос воскрес!..

И, отыскав на холодной стене то место, в которое я бил карандашом, перестукиваясь с Зоей, я трижды поцеловал камень...

— Тук-тук, тук-тук!..

Что такое? Кажется, зовет кто-то... Или слышалось... Нет:

— Тук-тук-, тук-тук!

Прижал ухо к стене. Да, несомненно — стучат, но не меня: это очень далеко. Кто б это мог быть? Ага, кто-то еще дальше отзывается. Слушаю:

— Х-р-и-с-в-о-с-к-р.

— Н-е-в-е-р-ю.

Кто-то не верит. А вот я верю, верю, верю!.. Я встал посреди камеры и громко запел:

— «Христос воскрес из мертвых»...

— Прекратите! Нельзя...

— Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!..

— А вы потише!.. Нехорошо.

— Славить Христово Воскресение нехорошо?

— Бог с вами, только потише...

— Христос воскрес!

— Да, воистину, только тише надо. Неравно смотритель пойдет...

— Скажи, много сидит наших?

— Есть еще.

— А Николай Иваныч сидит?

— Его увезли куда-то. Нельзя... Спите!.. Молчу. Бог с вами!

Не спится. Тоска и радость безостановочно волнуют душу. Синяя весенняя ночь беспокоит смутными воспоминаниями и радостными предчувствиями. Все хочется смотреть в форточку на небо, на звезды и прислушиваться к тайнам земли и неба...

Так и заснул я, сидя за столом и положив голову на руки. И видел странный сон: будто бы с звездных небес прилетел белый голубь и бьется крыльями в закрытое железной решеткой окно моей камеры; а позади его, то подлетая близко, то отлетая, ныряет в воздухе темный коршун; я раскрыл форточку и маню

в нее белого голубя, а голубь боится и не влетает...

Когда я проснулся, гулко и радостно трезвонили колокола городских церквей, гремели по мостовым извозчичьи пролетки и яркий солнечный день сиял светлой радостью над землею...

— Пасха! Пасха!.. Зоя!.. Мама!.. Христос воскрес, милые!.. Сон... Я видел удивительный сон... Белый голубь!.. Вот здесь, за решеткой, бился белый голубь... Зоя, Зоя, может быть, это ты прилетала ко мне в пасхальную ночь, обернувшись белым голубем?!..

— Пожалуйста на свидание!

— Христос воскрес!

— Воистину!

— Кто пришел?

— Неизвестно.

— Мужчина или женщина?

— Неизвестно.

— Среднего рода, должно быть...

Тороплюсь, опять не найду шапки. Пора бы шляпу с широкими полями, летнее пальто нараспашку, а тут ходи в шубе. Шуба стала тяжелой, ненужной: зимой чувствовал к ней

благодарность, а теперь — ненависть. Не надо калош! К чорту! Надоели. Идем, идем!..

— Где свидание?

— В конторе. Сегодня разрешено вам без решетки...

— Слава Богу, а то лица человеческого не признаешь... Ротмистр будет?

— Помощник смотрителя.

— Трезвый?

— Маленько выпимши... Без этого нельзя.

А между прочим, без разговору!..

Так и бегут ноги, подплясывая под колокольный трезвон многочисленных городских церквей. Кажется, что колокола выбивают «барыню». Вот и контора. Захватило дух. Страшно как-то войти...

Пожалуйте!..

— Мама!

— Геня!

— Христос воскресе!..

Обнялись и застыли. Плачет бедная старушка от радости и горя; ее горячие слезки жгут мою щеку, а худая, костлявая рука, трясясь и прыгая на моем плече, судорожно цепляется за одежду...

— Перестань! Не плачь, не надо унижаться... — шепчу я дрожащими губами, а у самого тоже прыгают из глаз слезы... А колокола радостно трезвонят и гул стоит в ушах от этой колокольной музыки. Помощник зрителя отвернулся, потихоньку смахнул перчаткой слезу и стал сердито откашливать.

— Насморк получил, — говорит он в пространство и сморкается.

— Кулич получил? Пасха понравилась?

— Да, да, мама, всё очень понравилось. А вот ты совсем постарела.

— Я сильно хворала. Думала, не встану и не увижу больше тебя... Ах, ты!..

Опять обняла, целует и что-то шепчет...

— Мама, расскажи, что на воле!..

— Погоди!.. Дайте воды!.. Нет ли воды...

— Дайте воды! — строго крикнул помощник зрителя.

Мама напилась воды.

— Натворил ты бед...

— Каких, мама, бед?.. Ты меня пугаешь...

— Да теперь уж ничего, а было время... Эх, вы, ребятишки!..

— Рассказывай же! Не мучай, ради Бога!..

Мама покачала головой и начала рассказывать: приезжал из Симбирской губернии помещик, отец, «этой особы»...

— Моей невесты, мама, невесты!

— Ну, да, невесты...

— Ну, ну!.. Скорей же, не мучай!

— Сейчас, сейчас... У меня часто боли вот здесь. Говорят, камни в печени... Ох! Прошло...

— Она здорова? да?..

— Теперь поправляется, а было время, думали — не выживет...

— Что такое? Ради Бога!..

— Приезжал отец и рассказывал, что его дочка требует, чтобы ты женился на ней.

— Ах, мама! Вы или ничего не поняли, или не хотите понять... Я люблю ее и мы давно решили с ней повенчаться. Она требует не от меня, а...

— Ну, да... Отец не хотел, а теперь приехал и сам просит, умоляет...

Ужасные новости рассказывает мать: Зоя, моя милая белая голубка, была на краю могилы: она выпила целую коробку порошков морфия и два дня ее отнимали у смерти, ме-

шая всеми средствами ее сну, готовому каждую минуту перейти в сон вечности. Оставила какую-то записку — мама не знает, — но теперь отец приедет в Казань и будет хлопотать, чтобы нам разрешили обвенчаться...

— Зоя... Ах, какая ты... Но она теперь здорова?

— Да, а потом еще отняли у нее револьвер...

Я ходил взад и вперед по конторе и, хватаясь за голову, напряженно думал о том, как сделать, чтобы сохранить белую голубку от возможного повторения такой непоправимой ошибки.

— Мама, если ты меня любишь, я прошу тебя немедленно поехать к ним в имение и побережь Зою. Знай, что если она... умрет, я — тоже...

— Да теперь уж не умрет.

— Почему ты так уверена?

— Отец скоро привезет ее сюда.

— Зою? Сюда!

— Да. Она требует.

— Молодец!.. Ах, какая она... Я ходил и смеялся от радости.

— А ты посиди около меня... Всё ходишь... Эх, ты!.. Смутил девушку... Молод еще. Ну, да уж если дело так вышло, твой долг...

— Какой долг?.. Не долг, а мое счастье, моя радость, моя жизнь!.. Ты, мама, ничего не понимаешь... Или не желаешь понимать.

— Во всяком случае тебе надо сперва выйти из тюрьмы, почиститься, пообщиться... Вон какие волосы отрастил. Неужели вас здесь никогда не стригут...

И смешно, и досадно; хочется наговорить матери дерзостей и хочется обнять, поцеловать и сказать:

— Милая, старенькая, седенькая мамочка, перестань ты, пожалуйста, говорить благоразумные глупости!..

— Мы обвенчаемся здесь, в тюрьме.

— Вот так радость!.. Ну, а потом?

— Потом... Потом я буду досиживать, а она...

— Досиживать?.. Медовый месяц ты будешь досиживать... в тюрьме!..

— У нас, мама, никаких медовых не будет... Глупости! Мещанство!..

— Вот послушайте, господин смотритель,

как нынче рассуждают...

— Ммм... да. Их дело...

— У нас всю жизнь будет медовый месяц...

— Ах, Бог с вами!.. Не поймешь вас...

— А дожидаться, когда ты добудешь денег и возьмешь на поруки... Слуга покорный...

— Бог даст, это выйдет скоро... Надеюсь после Фоминой выкупить тебя, озорник... Муж!.. Ну, какой ты муж?! Смешно смотреть...

— Ну, мама, не забывай, что мы здесь не одни... Нас слушают...

— Я не слушаю, — пробасил помощник смотрителя.

— Не слушаете, а реплику подаете очень быстро и кстати...

— Не спорь, Геня!..

— А ты, мама, всё-таки привези мне летнюю пару, пальто, новую шляпу с большими полями... И еще духов! Ландыша...

— Эх, жених...

— Ну, будет, мама, острить, а то рассержусь...

— Да дай Бог!.. Она, видно, из хорошей семьи... У них, говорят, больше шестисот десятин земли в Симбирской губернии...

— Ах, мама, уши вянут... Чорт с ними, с десятинами!..

— Свидание кончилось...

— Позвольте, господин смотритель, по случаю Пасхи-то побыть мне подольше!

— Не могу. Не один ваш сынок у нас. Другие тоже желают иметь свидание. А затем, я и сам... Я должен разговеться, как принято...

— Не проси, мама!.. До свидания... Когда придешь?..

— В среду обещали... Ну, будь здоров!.. Теперь буду хлопотать о поруках... Прощай! Христос с тобой...

— Кто дал, мама, денег?..

— Догадайся!..

— Свидание кончилось... Прошу вас, мадам...

— Иду, иду...

— Калерия!..

— Кто, мама?..

— Пожалуйста в камеру!..

...Калерия... Калерия... Меня выкупает Калерия... Как же это?.. Это невозможно!.. Я не могу так... Я не хочу так...

В голове кружились мысли, как опадаю-

щие листья под осенним ветром; я шел пошатываясь и спотыкаясь, словно пьяный... Лицо мое горело от стыда, а руки тряслись, как у преступника, только что выбросившего обгаренный кровью нож...

Так вот он, этот странный вещий сон в пасхальную ночь!.. Белая голубка и черный коршун... Нет, я боюсь свободы, которую мне приносит эта черная птица...

— Что мне делать, что мне делать?.. Господи, что мне делать?..

XXXIII

В каком-то кошмаре прошли первые три дня Пасхи. Безостановочно трезвонили колокола, в ушах гудел непрерывный звон, болела голова от вихря дум, от напряженного искания выхода из так зловеще складывающихся случайностей. Сердце то стучало тревожно, то словно переставало биться, и холодный пот появлялся на лбу. Я ходил по камере, ходил до полного изнеможения, валился в постель, сжимал подушку и шептал:

— Не знаю, ничего не знаю... Надо вам обе-

им сказать всю правду... Тебя, Зоя, я люблю, безумно люблю, а тебя, Калерия, я ненавижу... Тебе, Зоя, я не могу отдать чистоты, потому что я отдал ее Калерии, а ты, Калерия, не думай, что, выкупив меня за три тысячи из каменной клетки, ты купишь и вернешь прошлое: оно не возвратно и ни за какие миллионы ты не вернешь его. Пред тобой, Зоя, я глубоко виноват; если можешь, прости и люби; если не можешь — прощай, мне больше нечего ждать и незачем жить... А ты, Калерия, ты... должна упасть на колени перед чистой белой девушкой и сказать, что ты отняла мою чистоту, да, отняла...

По ночам меня мучили сны, то зловещие, то грубо чувственные: в этих снах являлась то белая, то черная женщина, иногда одна превращалась в другую, и когда я склонялся над плачущей девушкой с золотыми волосами, чтобы утешить ее, — я пугался от неожиданного превращения: вместо слез раздавался хохот, вместо золотых волос на меня падали волны черных, как поверхность расколотого куска черной смолы, вместо грустных синих глаз бесстыдно сверкали чувственным пламе-

нем — черные...

— Что же делать?.. Мне кажется, что я схожу с ума. Калерии я могу сказать в лицо всё, что хочу сказать, но Зое... Как я скажу Зое, что я уже познал женщину и что этой женщиной была та, которая меня выкупила из тюрьмы?.. Нет сил сказать...

— Трус, презренный трус!.. Зоя не боялась смерти, а вот ты, трус, боишься даже рассказать о том, чего ты не имеешь права скрыть от любимой девушки...

— Скажу, скажу, всё скажу!.. Делайте со мной, что хотите... Мама, если бы ты могла быть другом своего сына... Но ты не поймешь... Ты — родная и чужая... Мама, погоди вносить деньги: я боюсь этих денег... Сейчас я напишу тебе.

«Милая, хорошая мама! Погоди вносить за меня деньги Калерии. Сперва я должен написать ей письмо и подождать ответа. Быть может, я еще не захочу воспользоваться добротой Калерии. В среду, при свидании, я объясню тебе подробнее, а пока умоляю, требую, чтобы ты не выкупала меня на эти деньги. Геннадий».

Не успеет мама получить этого письма: сегодня — вторник... Надо послать телеграмму...

«Мама, требую не брать меня на поруки, завтра переговорим. Геннадий».

— Что вы стучите? Чего надо?

— Мне необходимо послать телеграмму матери. Немедленно!

— Смотрителя нет, а без него — нельзя.

— Пошлите в жандармское. Немедленно! Надзиратель прочитал телеграмму и позевнул:

— Ладно... Только едва ли...

— Чего «едва ли»? Немедленно!

— Время праздничное, навряд полковник будет дома сидеть.

— Это не ваше дело!

— Да вы не кричите! Захочу, так и вовсе не пошлю. Никакой тут экстренности нет: никто не помирает. Стало быть, и полежать до завтра может...

— А если помирает?

Надзиратель повернулся и ушел.

— Вы ответите!

Молчание... Только лязгает железо, запи-

рающее мою камеру... Злоба, бессильная злоба, клокочет в груди и нет ей выхода. В диком иступлении я схватываю со стола железный ковш и начинаю им бить в окне стекла. С жалобным звоном летят на пол стеклянные осколки, и этот звон еще более усиливает мое неистовство: я бью стекла второй рамы и кричу:

— Вот вам! вот! вот!..

Свежий воздух полился холодными волнами в камеру, освежил мою голову, и я опомнился. Выбросил на пол ковш и, сев на кровать, в нервном истощении, опустил руки и голову.

— Что такое?..

— Ничего... Рамы выставил... Весна, давно пора выставить, а вы...

— Что же это за безобразия!.. Жалко, смотрителя с помощником нет...

— Я требую прокурора...

В карцер можно и без прокурора... Вот завтра доложу смотрителю...

— Сегодня, а не завтра... Я требую!..

— Вот и спите да мерзните... Сегодня вставлять некому, а переводить в другую камеру

без зрителя мы не имеем права... А если продолжать будете, то и связать инструкция позволяет...

— Инструкция... Какая инструкция?.. Гм!.. Смешное слово...

— Вам всё смешно... Погодите, не пришлось бы поплакать... Безобразие!

— Да, скверно... Окно не виновато... Идите!.. Не буду... Извините великодушно...

— Извините... Нет уж, пускай зритель как знает, а я извинять не имею права...

— Ну, наплевать... Уходите с Богом!

Надзиратель крикнул стражника, тот привел Флегонта. Убрали все стекла, очистили рамы, испробовали крепость решетки, отобрали всё твердое и острое, даже ручку с пером, и ушли... Смешно: они боятся, как бы я не покончил с собой... Нашли дурака!.. Я жить хочу, страстно, ненасытно хочу жить, а они...

После сильного нервного возбуждения наступил полный упадок сил. Я с трудом таскал по камере ноги и не мог сжать пальцев в кулак. Растерянная улыбка не сходила с моего лица, дергались губы и веко левого глаза. Пробовал говорить с собою и удивлялся сво-

ему голосу: слабый, глухой, не мой голос... Смешно и странно слышать... Валялся в кровати и думал, почему это не звонят в колокола. Словно я разбил не стекла окна, а все колокола в городе. Посмотрел в окно и тут только увидел, что уже стемнело. Как это так незаметно подкралась ночь, такая тихая и ласковая, кроткая и печальная ночь?.. Где-то играет оркестр духовой военной музыки... То тихо, почти не слышать, то громко, совсем близко. Не поймешь, где. Может быть, в том саду, где мы впервые увидели и полюбили друг друга. Да, конечно там: когда ветер с той стороны затреплет на голове волосы, музыка заиграет громко, всем хором инструментов, а когда ветерок затихает — слышны только басы, барабан, кларнеты. Что там играют такое знакомое-знакомое, от чего щемит сердце? Вальс, грустный вальс. Где и когда я слышал? Почему радостно и тоскливо от этого вальса?..

— Тра-ра-рам, та-та, тарам-та-та-та...

Ах, да!.. Вспомнил: это тот самый вальс, под который я мучился ревностью на вечеринке, глядя на танцующую с распорядителем гордую Зою... Какой милый, родной

вальс!..

— Тарам-та-та, та-та, тарам-та-та-а-та-та, та-аа-а-та...

Боже, как это было давно!.. Кажется, что с тех пор прошло больше года, а ведь это было всего четыре месяца тому назад... Сколько утекло воды за эти четыре месяца... Опустил голову на руки и, в приятном полузабытье, слушаю то рождающиеся, то умирающие звуки военного оркестра. Грезится что-то далекое, милое, прошлое, успокаивающее, баюкающее душу лаской... Вот заиграли опять... Что-то заунывное и задушевное... «Лучинушку!»

— Лучи-на, моя лучи-и-нушка да березо-о-овая, ах, что же ты...

Хочется плакать от непонятной грусти о чем-то потерянном. О чем? Не знаю. Не всё ли равно, о чем!.. Холодный ветерок льется на голову, на спину, на руки... Немного холодно, но хорошо. Точно купаешься в Волге в жаркий летний день... Ах, как хорошо на Волге в жаркий летний день! Солнце припекает, как огнем, песок на берегу — горячий, словно нагретый в печке, а вода прохладная. Поле-

жишь голый на горячем песке, а потом — кувырк в воду: сперва дух захватит от резкой перемены, а потом ничего... Только покрякиваешь от удовольствия... А потом прозябнешь, вылезешь и бух в горячий песок, как в печку! И теперь мне то жарко, то холодно, словно купаюсь в Волге и в ее песках. Что это: музыка, или только кажется?.. Нет, музыка смолкла, это в ушах осталось впечатление от музыки и от колокольного трезвона... Как странно: словно вылетевшие из оркестра обрывки музыки всё еще летают над спящим городом и не находят себе пристанища... А всё-таки холодно. Дрожь в теле. А в висках точно бьют стеклянными молоточками; похоже на часы.

Неужели уже светает? Да, вон там бледнеет и зеленеет небо, потухают звезды. На городской башне мелодично бьют часы. Сколько? Три... неужели я пролежал на руках за столом с десяти до трех?.. Озяб, — надо лечь и хорошенько укрыться, с головой. Можно сверху — шубой...

— Ну-ка, милая шуба, выручай: кажется, схватил лихорадку...

Я улегся, не раздеваясь, укрылся одеялом и шубой, поджал ноги и застучал, как голодный волк, зубами...

— Брр!.. Холодно. Ужасно холодно! Надо — с головой... И жарко, и холодно.

Странно: в ушах всё еще звучит грустный вальс...

— Трам-та-та-та, та-тааа... Зоя, идем танцевать вальс!.. Идем, милая!..

...Удивительно: даже ночью не перестают трезвонить в колокола...

Душно и жарко. На кой чорт вы накрыли меня шубой!.. Черти полосатые!.. К чорту шубу!.. Жара смертельная, а они меня еще шубой... Не имеете права. Я потребую прокурора...

— Мама, не вели им покрывать меня шубой... Жарко...

— Тарам-та-та, та-та, та-рам-та-та-там-та-ааа...

XXXIV

— Вставайте! Собирайте вещи!..

— Куда? Не хочу... Я хочу спать... Убирай-

тесь от меня.

— Вас матушка в конторе ждут...

— Мама?.. Ах, да... Мама!.. Я сейчас... У меня ужасно болит голова...

— Собирайте вещи... Флегонт! Собери им вещи...

— Зачем вещи? Это мои вещи...

— На волю, на поруки вас к матушке... Поздравляю...

— На волю?.. Ну, что ж...

— А вы поскорее!.. Это можно бросить?

— Что это?

— Орех в сахаре...

— Нет, нет!.. Отдайте его... Это моя тайна...

— Вещи, ваше благородие, готовы.

— Неси в контору... Пожалуйста! Сюда, сюда!.. Что с вами?..

— Очень болит голова... Сегодня очень холодно?

— Нет, тепло...

— Странно. Вы говорите, на волю?..

— Да. Сюда, в контору...

— Мама!

— Геня! Ты — свободен... Я так рада, милый!.. Скорее уедем из этого проклятого до-

ма... Что с тобой?.. Ты в жару...

— У меня лихорадка, мама...

— Да на тебе нет лица!.. Что с тобой здесь сделали!..

— Ничего, мама... погоди, я что-то хотел спросить тебя... Забыл. Очень важное что-то... Ах, да!.. Не вноси покуда денег Калерии...

— Да ты что, голубчик, бредишь, что ли?.. Я внесла уже и поэтому только тебя выпускают на волю...

— Я сперва должен видеть Калерию...

— Калерию? Вот тебе раз!.. Калерия за границей. Зачем тебе понадобилась Калерия?..

— Не знаю, мама... Ничего не знаю... Давайте как хотите. Мне ужасно хочется спать, мама...

— Ты болен... Ах, Господи!.. Что же это такое...

— Вещи, сударыня, на извозчике...

— Ну, уйдем скорее!.. Застегнись хорошенько!..

— Распишитесь в получении сына.

Мы уселись на извозчика и поехали. Звонко трещала пролетка, покачивалась на рессорах, и катилась всё вперед, а я сидел, присло-

нясь к матери, с закрытыми глазами, и мне казалось, что мы едем назад... Я раскрывал глаза и изумленно смотрел на необычайное зрелище шумливого, торопящегося города... Смотрел, но не испытывал никакой радости, а только одно изумление.

— Ах, мама, как мне хочется спать!.. Скоро ли мы приедем и куда ты везешь меня?

— На пароход.

— Разве уже ходят пароходы?

— Да, сегодня — первый пароход... У тебя лихорадка...

— Ничего... Как приедем на пароход, я лягу в каюте спать и просплю до самой Самары... Ах, как хочется, мама, спать!..

— Надо бы к доктору, да опоздаем на пароход. — Не надо. Пройдет, мама... Заедем на телеграф: я дам телеграмму Зое, — она приедет в Симбирск... и там мы обвенчаемся...

— Решили отложить до осени: твоя невеста должна сперва хорошенько поправиться, да и ты сам... Жених!.. Краше в гроб кладут...

— Кто решил?.. Как смели решать без нас?

— Мы с отцом твоей невесты решили...

— Не ваше дело!.. Стой, извозчик! Я — сию

минуту, только дам телеграмму...

— Застегнись! Ах, какое мученье!.. Загорелось жениться...

«Христос Воскресе, Зоя. Я свободен, выезжай Симбирск. Геннадий».

— Готово! Едем!..

— Полковник сказал, что ваше дело кончится к осени... и тебя могут посадить еще месяцев на семь досиживать...

— Ну!

— Ну... А ты — жениться...

— А я — жениться... До осени еще пять месяцев... Оставь, мама, эти разговоры, у меня и так болит голова...

— И телеграмма не успеет дойти. Вечером мы будем в Симбирске, а...

— В Симбирске мы останемся и подождем... Я должен видеть Зою...

— Успеешь...

— Нет, не успею... Дайте, наконец, нам свободу и возможность распорядиться самими собой... Довольно с нас одной тюрьмы...

— Застегнитесь же, ради Бога, на все пуговицы!

— Не желаю. Мне жарко.

— Уступили за две тысячи... — Не пони-
маю...

— Торговалась с полковником, как на база-
ре. Две тысячи внесла, а третью надо послать
Калерии...

— Ах, да... Калерии... Не говори мне ничего
про Калерию...

— Она теперь не такая... Она исправи-
лась...

— Не мое дело...

— Она опять сошлась с мужем... У ней —
ребенок родился...

— Какое мне дело! Пускай родился... Мне
это вовсе не интересно.

— Ухаживал, чуть с ума не сходил, а те-
перь не интересно...

— Никогда не напоминай мне об этом.

— Эх, ты!.. Неблагодарные вы... Она приня-
ла в тебе такое участие, а ты... Три тысячи не
бараний рог... Не всякий согласился бы...

— Перестань, ради Бога!.. Иначе я соскочу с
извозчика и... вернусь в тюрьму...

— Конечно, она легкомысленная женщи-
на, а всё-таки добрая и отзывчивая.

— Тпру!..

— Матрос! Прими вещи...

— Какой пароход?

— «Гоголь».

Гудят свистки пароходов, развеваются на мачтах флаги, клубится из труб черный дым, скрипят сходни, поют грузчики, волоча по сходням что-то тяжелое:

*«Аа-ах, ней-дет, да-вот пойдет!
Аа-ах, ней-дет, да-вот пойдет!»*

А там, за пароходами, блестит свободная, широко разлившаяся река, а вдали синеют еще голые горы с пятнами ярко-белого снега в ложбинах и оврагах. Клочки порванной зимней одежды гор... Поплескивает тяжелая мутная еще вода в борт парохода и звенит, словно пароход — стеклянный. Пассажиры нарядные, словно вместе с пароходом их всех заново отремонтировали и выкрасили в яркие цвета. Говор, крики, пение грузчиков, грохот от бросаемых в люк товаров, французский лепет дам на балконе и русская ругань на палубе...

Стою на пароходе, смотрю на широкий простор водяной равнины, на синеватый кон-

тур далеких гор и потихоньку бунчу:

*«Выдь на Волгу! Чей стон разда-
ется
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовет-
ся...»*

А в душу радостной волной льется свобода и хочется, простерши вперед руки, закричать:

— Здравствуй, матушка Волга, родимая река!.. Привет тебе, раздольная!..

— Я опять свободен, и любим я, матушка-Волга!..

Кричать неудобно. Я снял шляпу и широким жестом руки махнул сверкающим на солнце водяным равнинам.

Хорошо! А озноб опять начинает ломать кости. Холодно, хочется потягиваться, погреться около горячей трубы... Вот как только отвалит пароход от пристани, пойду в каюту, лягу под шубу, закроюсь с головой и, поджав ноги, буду спать, спать, спать...

Загудел и задрожал пароход, шевельнулись колеса и зашумела внизу вода.

— Отдай носовую!

— Есть!

Поплыла мимо конторка с провожающими, замелькали в воздухе платки и зонтики, задвигались баржи, пароходы, мачты, показалась Казань с белым кремлем, с золотыми куполами собора, с красной высокой башней Сумбеки...

— Прощай, Казань!..

— Застегнись ты, ради Бога!..

— Иду, мама... У меня опять лихорадка...

— Иди пить чай...

— Нет, ты пей, а я лягу и буду спать, долго буду спать... До самого Симбирска... Спать и спать... больше мне ничего не надо...

— Ты кашляешь...

— Ничего... пройдет... Не беспокойся, старенькая... Я пойду... Что ты смотришь так беспокойно?

XXXV

...Какой жаркий день. словно в жарко-натопленной печке. Зачем вы меня закрываете? Не надо. Вот я полежу еще на горячем песке и буду снова купаться... Ты, мама, не бойся, я не утону. Я отлично плаваю по-саженному... Пу-

стите же, не держите меня!..

...Я требую выставить рамы: вы не имеете права закрывать форточку. На улице весна, а вы скрываете от меня и говорите, что — зима. На прогулку я не пойду и обедать не буду. Не хочу я пить! Чего вы суете мне в рот? Убирайтесь от меня! Зачем вы кладете камень на голову? Не имеете никакого права...

...Мама, кто это в белом? Прокурор? Доктор... Не верь, он притворяется доктором. Скажи, что это — не я... Тише, опрокинешь лодку! Гребите, братцы, ровнее. Касьянов! Запевай «Вниз по матушке по Волге!»..

...Ах, Зоя... ты совсем не умеешь перестукиваться. Ну, я слушаю... Не понимаю. Зачем тебе подвенечное платье? Оставь нас, мама!.. Это не твое дело. Ну, вот и перевернулись... Я весь мокрый... С ног до головы...

— Это хорошо.

Кто это говорит, что «хорошо»... Дурак какой!.. Дурак, брат, ты, Касьянов. Что вы со мной делаете?..

— Ничего, ничего...оборотите хорошенько голову. Дайте ему ложку портвейну...

Вкусное вино... Налей, Касьянов, как следу-

ет... Оно горячее... Смешно...

— Калерия!.. У тебя горячие глаза... Как угли, раскаленные черным огнем. Уйди!.. Не люблю... Не жми мне руку... Не садись ко мне на кровать!.. Ах, это ты, мама... Я хочу спать. Разбуди, когда будем подходить к Симбирску... Ночь или день?..

— Ночь... уже девятая ночь...

— Когда же Симбирск?.. Я еще успею уснуть?.. О чем ты всё вздыхаешь? Мне очень хорошо... Я скоро выздоровлю...

Раскрываю глаза, смотрю на потолок, обвожу взором стены и удивляюсь. Незнакомая комната, белая с голубым; раскрытое окно, большое, светлое окно; в окно смотрит голубое небо, видны верхушки зеленых берез... Поют птицы за окном и кудахчет курица... Странно! Что такое со мной случилось? Где я и как сюда попал? Серое, не мое одеяло... И ноги точно не мои: длинные-длинные. Где-то медленно выбивают маятником часы...

— Ты проснулся...

— Мама!.. мама!.. Ты...

— Не говори, доктор не велел разговаривать...

Доктор?.. Да, да, да... Вспомнил: ведь я болен, в больнице...

— Славу Богу!.. Слава Богу!..

— Мама... Где мы?.. в Симбирске?

— Да.

— Приехала Зоя?..

— Не говори же... Спи больше.

— Я не хочу спать... Скажи про Зою!..

— Она здесь, в Симбирске.

— Позови ее ко мне...

— Доктор не велит...

— А я хочу...

— Ты плачешь... Ах, ты, Господи!.. Вредно волноваться, а ты...

— Пришли ко мне Зою!

— Ну, спросим доктора: он велел подождать. Может быть, разрешит.

— Попроси его... Ей-Богу, я скорей выздоровлю!.. Даю вам слово...

— Вот наказание!.. Я пожалуюсь, если будешь разговаривать...

Я уткнулся в подушку и тихо плакал, как обиженный маленький мальчик. И чувствовал я себя как маленький мальчик: сердился на маму и хотел назло ей умереть. А когда

растворилась дверь и гулко прозвучал строгий голос доктора, обходящего всех больных в сопровождении фельдшерицы, я испугался и притих, притворился спящим и боялся, что мать будет на меня жаловаться доктору.

— Ну-с, молодой человек, как наши дела?..

— Капризничает он...

— Оставь, мама!

— Требуется невесту...

— Эге!.. вон он чего захотел. Это хороший признак. Ну-ка, жених, сядьте, я послушаю...

Температура?

— 36,7.

— Отлично. Повернитесь, жених, спиной!..

Вот так.

— Время ли теперь думать о женитьбе...

— Да-с, придется еще полежать... А пожалуй и того... на юге пожить... Дышите глубже! Еще!.. Хорошо, в общем хорошо. А жениться всё-таки рано. Это, молодой человек, всегда успеется.

— Я прошу, доктор, не жениться, а только дать мне свидание с невестой.

— Денька через три-четыре... и то при одном условии... на приличном расстоянии...

Смотреть друг на друга можно, а приближаться — никоим образом...

— Через два дня... А раньше?

— Я сказал, не через два, а через три-четыре. А впрочем, завтра увидим. Главное — не волноваться...

— Если не пустите, я буду волноваться гораздо больше, доктор. Нельзя ли завтра!.. Ну, хотя послезавтра!.. Мы не видались целую вечность.

Утро вечера мудренее... Завтра увидим, а не увидим, так посмотрим.

Доктор пошел прочь, мать — за ним. О чем-то они тихо разговаривали в дверях, а я лежал и улыбался во весь рот: скоро увижу, наконец, мою Зойку, мою прекрасную любимую Зойку... Какая она стала?.. Господи, как я счастлив!

— Мама, что сказал доктор? Можно завтра? да?

— Можно завтра... А потом советует пожить в Крыму до осени...

— Ура... О чем же ты грустишь и вздыхаешь?.. Всё идет прекрасно...

— В Крым надо... Напрасно я отправила

тысячу назад, Калерии...

— Мы обвенчаемся и вместе поедem в Крым... Господи, как это великолепно!..

— Лежи, не вскакивай на постели! Нельзя.

— А какой теперь месяц?

— Завтра — первое мая...

— Неужели — май? Не может быть!

— Май. Лежи же, Христа ради...

— Лежу, лежу... Всё лежи да лежи... Надое-
ло уж...

— Скажи — слава Богу, что жив остался...
Думали не встанешь совсем.

— Глупо, значит думали... Зоя где остано-
вилась?

— Молчи!

— Не замолчу. Скажи, где!

— У родных.

— Приходила она сюда?

— Каждый день заходит. И сегодня прибе-
гала уж...

— Милая... милая... Она боялась, что я
умру...

— Вместе ревели в приемной... Она ничего
девушка, нравится мне...

— Вот видишь!.. А ты... Она удивитель-

ная... такой больше нет на свете!..

— Перестанешь ты болтать, или мне к доктору итти и пожаловаться?

— Молчу, молчу, мама... А смеяться можно... Это не вредно, а напротив...

— Потихоньку смейся...

Лежу и смеюсь. Не знаю, чему смеюсь... Всё смешно: и рука у меня смешная, и ноги очень длинные, как у покойника, и прическа у мамы смешная... И фельдшерица курносая — нельзя смотреть на нее без смеха...

— Ну, будет уж!.. Посмеялся и довольно...

— Это невозможно... Ей-Богу!.. Уморительно!.. А какой сегодня день?

— Ей-Богу, я сейчас пойду к доктору...

— Молчу, молчу, мамочка... Ябеда ты какая... сутяга!..

— Кушайте!

— Опять — манная каша!.. С первого дня началась эта каша...

— Не капризничай!

— Когда же дадут курицу?

— На обед.

А всё-таки вкусная каша, душистая. А посреди — лужица из растопившегося желтого

масла. Даже слюнки потекли.

— А ложку!.. Забыли ложку!..

— Извините, сейчас подам...

Смешная, курносая... Похожа немного на Веру Игнатович. Где-то теперь Вера и Касьянов?.. Живо съел кашу, выскоблил дочиста тарелку, а есть всё хочется.

— Вот вам молоко.

— Весьма и очень, сестрица милосердная, признателен...

— Я не сестра, а фельдшерица...

— Ну, всё равно.

— Всё равно, да не одно.

Поел, попросил зеркало и стал смотреть на себя: худущий, глаза ввалились... Ба, усы как выросли! Не ожидал.

— Мама, посмотри, как у меня выросли усы... Можно закрутить...

— Еще бы: жених!

— Не затворяй окна!

— Не дует?

— Нисколько. Должно быть, там сад. Как весело распевают птицы...

— Молчи и слушай.

Симбирск... Я в Симбирске. Как-то чувству-

ется другой город. Я очень люблю Симбирск. Он на высоких зеленых горах, тихий такой, ленивый, очень похож на старосветского помещика. А главное, — это — Зоин город, и теперь в этом городе Зоя. Это чувствуется, что она теперь в этом городе. Ах, скорей, скорей, беги, время, и приближай меня к Зое! Я так соскучился по ней, так соскучился, что готов соскочить с кровати и помчаться разыскивать ее. Как вспомню, что завтра или послезавтра увижу Зою, обольется сердце кровью и хочется хохотать во всё горло, хохотать, хохотать и болтать ногами... Воображаю, как в эту дверь войдет девушка в белом платье и вскрикнет от радости... Лучше, если бы в этот момент мы были одни...

— Мама, когда придет Зоя, ты нас оставишь не надолго одних?

— Надо спросить доктора...

— У тебя — всё доктор!.. Шагу не ступишь без доктора. Неужели ты не понимаешь, что...

— Пожалуйста, доктор велел издали.

— Нам надо поговорить о многом наедине.

— Скажите пожалуйста!..

— Красива она? Правда?

— Худущая, как и ты...

— А какие у ней чудные волосы!

— Что-то уж больно много их... Свои ли у ней волосы?

— Ну, вечно с подозрениями... Ничему хорошему не желаете верить.

— Теперь так фокусничают девицы, что не узнаешь.

— У ней толстые косы, золотые...

— А ты взвешивал?

— Да, взвешивал.

— Теперь она в прическе.

— В прическе!..

— Целая копна на голове.

Зоя в прическе!.. Это смешно, ужасно смешно... Интересно, как она выглядит в прическе. Милая!.. Целая копна волос...

— Узлом, мама?

— Чего узлом?

— Да волосы-то!.. Бестолковая какая...

— Узлом, узлом... Теперь у всех узлом.

— Это очень красиво!

— А мне не нравится...

— Ты ничего не понимаешь.

— У меня были волосы до колен.

— Мало ли что было... А теперь вылезли.

— С вами вылезут... Погоди вот, женитесь, пойдут дети, — и твоя Зоя начнет... и зубы станут болеть, и волосы вылезать...

— У нас не скоро будут дети. Мы... понимаешь, мы решили лет пять жить, как... ну, понимаешь... как брат с сестрой. Дети мешают общественной деятельности...

— А ну вас... не болтай пустяков!

— Потрудитесь вставить термометр?

— Опять термометр?

— Да, пора уж...

— Надоел ваш термометр...

— Ставь, ставь!..

Поставил под мышку термометр, лежу, смотрю в потолок и рисую себе Зою в причёске... Гм!.. смешно...

— Сколько?

— 37,2.

— Ну, вот, оболтался... Повысилась...

— Больше не буду... Это пустяки...

Я притих. Убедился, что болтать вредно, и стал бояться, как бы повышение температуры не отдалило нашего свидания с Зоей. Сделался кротким и послушным. Опять стал смот-

реться в зеркало, находил, что худоба меня не испортила, а совсем напротив, еще более сделала похожим на какого-то писателя. Гм!.. «Что ни говори, а в моей физиономии есть что-то писательское»... Так и уснул с зеркальцем в руке.

XXXVI

Ликуйте, земля и небо: сегодня ко мне придет Зоя!..

— Сколько времени, мама?

— Десять било.

— Давно?

— Только сейчас пробило. Неужели не слышал?

— Странно: не слышал. А может-быть одиннадцать?

— Десять. Рано спустил ноги: устанешь. Она придет в одиннадцать.

— Еще час. Целый час!

Не знаю, что делать. Разрешили смотреть в старой «Ниве» картинки, да надоели эти картинки. Рассматриваю в пятый раз. Буду разгадывать ребусы. Устают руки держать тяже-

люю книгу: этой книгой можно убить читателя. Трясутся еще от слабости руки... Устаешь... Пожалуй, лучше пока полежать.

— Мама, возьми эту пудовую книгу.

— Вот видишь! Говорила тебе, — рано сел.

Лежу во всем чистом, волосы рассыпались по подушке, одеяло лежит ровно и красиво; руки наверху, на одеяле, белые, с длинными кистями. Слушаю, как стучают в коридоре стенные часы, как за окном поют птицы, как свистят на Волге пароходы, как время от времени трещат где-то близко извозчичьи пролетки. Пугают эти пролетки: всё кажется, что кто-то подъехал к больнице, что этот «кто-то» — Зоя; вздрогнешь, сядешь в кровати и насторожишься. А сердце застучит громко и неровно.

— Ты что?

— погоди, кто-то подъехал... Нет, показалось...

— Да ведь мимо не проедет. Чего же так беспокоиться!

Уф, даже в жар бросило...

— Мама, дай мне чистый носовой платок!.. И гребенку.

Какая, однако, шевелюра выросла. Хорошо, если бы волосы вились большими волнами, как у Калер... Ну ее к лешему! Покраснел, отбросил зеркало... Святотатством казалось самое произнесение этого имени... словно грязнил чем-то свой светлый праздник...

— Мама, теперь уже не христосуются?

— Вот тебе раз! Шесть недель христосуются. Что ты, татарин, что ли?

— Забыл. Едет, едет... Она, мама... Зоя!.. Чувствую, чувствую...

— Да погоди...

Мама идет к окну. Протяжно бьют где-то часы одиннадцать.

— Одиннадцать!.. Она!..

— Да, она... Пойду встретить...

Мать вышла из палаты. Что делать?.. Лечь или сидеть?.. Господи, что это со мной! То жарко, палит лицо огонь, то холодно, так холодно, что стучат зубы... Забыл сегодня почищать зубы... Опять звонят в ушах стеклянными молоточками. Лучше лечь... Нет сил сидеть и ждать... Лег лицом к двери и жду в огне и трепете. Идут! Идут!..

— Можно? — прозвучал за дверью голос и

ударил меня прямо в сердце.

— Можно, можно... Зоя!

Распахнулась дверь, и на пороге приостановилась стройная, высокая девушка, вся в белом, в пастушеской соломенной шляпе с загнутой голубенькой вуалеткой, с синими васильками и бело-желтыми ромашками, под шляпой тяжелая гряда золотых волос, в одной руке перчатки и кружевной зонтик, в другой — куст белой сирени... словно сама весна в ослепительном сиянии вошла с цветами родных полей и садов.

— Зоя! — прошептал я упавшим, не своим голосом, сел в постели и протянул к девушке руки.

Вспыхнуло розами милое лицо, схватилась милая рука за грудь, опрокинулась голова...

— Иди же, голубка!..

Рванулась от двери, упала на колени около постели и, спрятав свою голову у меня на груди, стала смеяться и плакать...

— Да погоди же, дай мне посмотреть на тебя...

Я хотел откинуть ее голову, а она не давалась и продолжала плакать. Я вытащил колю-

чую булавку, сбросил шляпу с васильками и потонул губами в мягком, душистом и щеко-чушем золоте волос... А куст белой сирени валялся на полу и источал одуряющий аромат...

— Милый, милый... Я уже думала, что никогда... никогда больше не увижу!..

Кто-то сердито покашлял у двери. Зоя поднялась на ноги и, отскочив к окну, отвернулась и застыла в неподвижности.

— Ах, это ты, мама...

— Я... Сирень-то что бросила?.. В воду ее надо...

Пошла искать посуду для сирени.

— Зоя!.. Она ушла... Да погляди же на меня!..

— Стыдно... Знаешь, папа уже согласился... А было раньше хуже тюрьмы... Я тебя ужасно люблю... Но доктор говорит, что тебе нельзя скоро жениться..

— Повернись же ко мне, Христа ради!.. Христос воскрес!.. Ты, мама?

— Я.

— Убеди Зою, что теперь еще христосуются!..

— Поди, сама знает. Не татарка...

— Вот слышишь, Зоя!.. Христос Воскресе!..

Обернулась, вся пунцовая подошла ко мне, наклонилась, опустила глаза:

— Ну, воистину воскресе!..

И чуть-чуть коснулась губами моих губ. И снова отвернулась.

— Если ты не будешь на меня смотреть, я рассержусь... Слышишь?

Улыбнулась, вскинула на меня глаза и села на стул у постели. Я пожирал ее глазами... Похудела, но стала еще прекраснее. Прямо изумительная, поразительная красота!.. Неужели она, эта самая девушка, будет скоро моей женой? Невероятно!..

— Посмотри же на меня!

— Я, Зоя, немного устал... Извини, я немного полежу...

— Конечно, голубчик!.. Меня не стесняйся, а то... не буду...

— Ну, чего не буду? Любить?..

Громко засмеялась, ударила белой шелковой перчаткой по руке и сказала, блеснув синими глазами:

— Ходить не буду, а не «любить»...

— А любить будешь?

Кинула взор на мать и, обернувшись ко мне, кивнула глазами... Ах, как передать это мимолетное движение прекрасных глаз? Нельзя передать: нет таких слов у человека. Вот если бы в черную ночь с черными ползущими тучами вдруг на одно только мгновение раскрылся кусочек синего неба и в это окошечко на одно же мгновение выглянуло всё солнце!.. Нет, не то... Солнце не пряталось: оно сидело рядом на стуле, и не было никаких туч, а было всё синее, и белое, и золотое... Только белое, синее и золотое.

— Ты похудела...

— И... подурнела...

— Ты? Какая ложь!.. Ты прекраснее всех ангелов на небе.

— Вот уж это, господа, грех... Ангелов-то уж не надо трогать...

— Ты, мама, смешная... Ей-Богу, ты смешная!..

— Нет, я сильно подурнела, Геня...

— Неправда!.. На вот волшебное зеркальце и спроси: «я ль на свете всех белей, всех румяней и умней?...». И оно тебе скажет, что — ты!.. Ах, Зойка... Съел бы я тебя!..

Мать расхохоталась и сказала:

— Еще долго, брат, на диете просидишь...
Не рассчитывай!.. Вон доктор идет...

— Ну-с... Счастливы? Только не так близко... Температура?

— 37,2.

— Желудок?..

Мы с Зоей отвернулись друг от друга. Чорт бы его взял, этого доктора, с глупыми, неуместными вопросами!..

— Всё, решительно всё хорошо... Ничего не надо, нигде не болит... Я совершенно здоров... И очень счастлив!..

— А всё-таки продолжительное волнение преждевременно. Сколько времени продолжается ваше счастье, то-есть свидание?

— Я только сейчас пришла. Ровно в одиннадцатый.

— А сейчас, барышня, уже полчаса двенадцатого...

— Как так?.. Не может этого быть!.. Я только сейчас...

— Сейчас... В часу шестьдесят минут. Для первого знакомства достаточно...

— Ну, доктор!..

— До-ктор!..

— Не могу-с. Сегодня надо было всего десять минут, а завтра... Впрочем, завтра неприемный день. Придете послезавтра. А теперь прощайтесь!

Мы грустно переглянулись и стали в два голоса упрашивать, чтобы и завтра нам разрешили повидаться...

— Хоть на десять минут!

— Нет, на двадцать. Христа ради!..

— Гм... Откуда вы сирени достали?.. Так рано...

Зоя подразнила:

— Разрешите мне завтра придти с сиренью... для вас!

— Ах, вы!.. Что с вами сделаешь?.. Ну ужнесите взятку, так и быть.

— Мерси, доктор!

— А теперь пора... А то и завтра нельзя...

— Ухожу, ухожу... Моментально ухожу...

Надеваю уже шляпку.

Доктор поклонился и ушел. Зоя растерянно ходила по комнате.

— Куда же я дела булавку от шляпы?.. Потерялась... Ты не видал, Геня?

— Булавку?.. Нет, не видал...

— Эх, вы... и булавки все растеряли...

Обе, и мама и Зоя, ищут булавку. Ах, Зойка, какая она хитренькая!.. Выбрала момент, когда мама нас не видит, быстро скользнула к кровати, наклонилась, поцеловала меня и, поднявшись с булавкой в руке, сказала радостным голоском:

— Мерси, не трудитесь. Я нашла...

А сама пунцовая и не смотрит на меня. Какая хитренькая... Вот не думал!.. Умница! Люблю. Безумно люблю!

— Как идет к тебе эта шляпа!

— Разве?

— Нарядная ты... модница...

— Для тебя!.. Всё только для тебя... Боюсь, что разлюбишь...

Пожала руку матери, послала мне воздушный поцелуй и выпорхнула, сверкнув белой легкой тенью, в дверях.

— Зойка!..

Не слыхала. Ушла моя весна. А в комнате всё еще витает ее белый призрак. Пахнет ландышем и сиренью. Пахнет ее золотыми волосами, ее легким платьем. Всё еще звучит в

ушах ее голос, стоит ее радостное, улыбающееся лицо... Эх, вот счастье: на моей постели ее василек от шляпки!.. Синенький!.. Миленький!.. Вот я тебя поцелую и положу к себе под подушку...

— Мама! Посмотри: она потеряла василек со шляпки...

— Ничего не бережете... Девушка будто ничего себе...

— Ничего себе... Сама Красота, а вы... много вы понимаете!..

— Довольно ласковая со старшими... А полковник в Казани мне наговорил на нее... Я уж так испугалась за тебя...

— Совершенно зря пугаетесь... Радоваться за меня должны, а не пугаться.

— Слава Богу!.. Только жениться-то доктор велит повременить.

— А ты рада этому!

Я почувствовал усталость, лег и вытянул ноги. Закрыв глаза и вспоминал, как всё это было: как она вошла, не хотела на меня смотреть, потом бросилась на колени перед кроватью... Синеглазая... Золотоволосая... Люблю! Больше жизни люблю тебя, Зойка! Теперь уж

до завтра. Завтра надо поговорить обо всем. Сегодня не успели... Не скоро это «завтра»...

Гудит пароход на Волге. Когда-нибудь мы с Зойкой будем ехать на пароходе, вдвоем только в каюте. Ах, как я счастлив, я самый счастливый человек на свете...

Я прикрылся одеялом, перекрестился и прошептал:

— Благодарю, Господи...

— Ты что там колдуешь?

— Какое, мама, счастье жить на свете!..

Спасибо, что родила ты меня...

— Не стоит благодарности...

— Как не стоит. Что ты!..

Я отбросил одеяло и стал хохотать. Мать — тоже.

— Ну, подойди, мамочка, я поцелую тебя...

Мать подошла. Я стал ласкать ее голову, поцеловал в щеку. Отвыкла старенькая от теплой ласки: расплакалась...

— Вот тебе раз! О чем?..

— Спасибо тебе, Геничка... Ты такой ласковый... Бог пошлет тебе много-много счастья!..

— Да, мама, много-много... И я буду делиться им с тобою...

— Нет, зачем... У тебя своя жизнь... Только не забывай... И за то спасибо...

— Благословляешь нас с Зоей?..

— Да, конечно... Вы такие добрые, милые, молодые ребятки...

— Спасибо, мамочка!.. Спасибо! А теперь я немного усну... Устал что-то.

— Поспи. Много волновался.

Я замолк и долго слышал, как мать ходила на цыпочках, оберегая мой покой. Потом сладко и крепко заснул...

XXXVII

Каждый день я с жадным нетерпением жду, когда часы в больничном коридоре начнут бить одиннадцать. Зоя удивительно аккуратна: как только пробьет одиннадцатый удар, я сажусь к окну и устремляю свой взор на дорожку меж берез, ведущую к воротам больницы. Вот уже подкатили дрожки... Идет... идет моя белая пастушка с васильками и ромашками на шляпе. И всегда в руках цветы. Идет торопливым шагом и нетерпеливо смотрит на окна. Увидим друг друга и оба,

улыбаясь, киваем головами... Еще минута, и в коридоре проворно стучат чьи-то каблучки... Чьи? Конечно ее, моей нетерпеливой пастушки!..

— Здравствуй!

— Здравствуй в белом сарафане из серебряной парчи!..

— Тебе кланяется.

— Кто, голубка?

— Солнце правды!..

Смеемся и ласкаем друг друга глазами. Мама уже не стесняет нас: и мы, и она привыкли, чувствуем себя почти родными. Мама не наглядится на нас, называет Зою «Золотой Принцессой», целует ее и всё удивляется, что волосы у нее настоящие. Теперь она в этом убедилась: сама расчесывала их и сплетала в косы, а я смотрел и завидовал... Дело окончательно решено: свадьба осенью. Меня доктора посылают на юг, а я упираюсь:

— Без тебя не поеду: разлюбишь, забудешь...

Нет, попалась, птичка, стой: не уйдешь из сети.

Не расстанемся с тобой ни за

что на свете.

А Зоя, смеясь, поет, глядя мне в глаза любовно так и кокетливо:

Ах, зачем, зачем я вам, миленький дружочек?

Отпустите погулять в садик на лужочек!..

Сегодня очень важный день: Зоя должна принести известие, чем кончилось ее нападение на приехавшего родителя: она должна была просить его отпустить ее в Крым на поправку. Можно бы и без согласия, да денег мало. Да и не хочется снова создать натянутые отношения, после того как всё наладилось к нашему общему благополучию. Сегодня я жду Зою с особенным нетерпением...

— Либо пан, либо пропал!

Бьют часы. Скорей к окну: уже трещит извозчичья пролетка. Что-то она привезла? Идет и смотрит, и вся сияет. Посылает воздушный поцелуй.

— Ура, мама!.. И Зоя едет в Крым.

— А ты как это узнал?

— Идет она... По лицу узнал... Как солнце

сияет!

Вбежала, бросила зонтик, швырнула ко мне на кровать перчатки и стала целовать маму.

— Позвольте, Зоя Сергеевна!.. Почему такое предпочтение?

— Поздравь: всё уладилось!.. Хотя не совсем так, как мы хотели, но...

— А поцеловать надо или нет?.. «Поцелуев твоих нежных страстно жаждет он, страстно жаждет о-он»...

Подставила лицо, а занята чем-то другим. Обидно, сударыня. Я еще целую ее в щеку, а она уже говорит:

— Папа едет со мной... Одну не пускает. Хотя это безразлично...

Мама даже одобряет:

— И прекрасно делает ваш папа.

Погрозил нам пальцем.

— Что ты, мама?.. Зачем ты грозишь пальцем?

— С папой спокойнее будет обоим.

— Ты думаешь?

— Повенчайтесь, а тогда и одни можете...

На все четыре стороны.

Переглядываемся с Зоей и хохочем над мамой.

— Ладно, смейтесь!..

— Знаешь, Зоя, я боюсь твоего папочки.

— Ты! Почему?

— Он напугал меня преосвященным... Пугал и губернатором, да нашел, что этого мало...

Рассказал всё, как было. Я не думал, что это так расстроит Зою. Покраснела, рассердилась и стала сконфуженно оправдывать родителя:

— Конечно, он пошутил... Он только против гражданского брака, а так он ничего не имеет против нашей любви... Теперь он даже желает поскорей сделать свадьбу...

— Боится.

— Чего боится?

— Как бы без попа не обошлись. И в Крым он едет охранять твое целомудрие. Надоела опека. Она грязнит душу...

— Значит, не соглашаешься ехать с папой? Уверяю, что он нам не помешает. Он очень хочет познакомиться с тобой.

— Само собой разумеется: надо же отцу хотя посмотреть, за кого он отдает свою дочь, —

замечает мама.

— Перехватывают письма, а потом...

Меня разочаровал оборот дела, я ненави-
дел уже человека, который назвал вопль мо-
ей души «документом», и потому сердился на
Зюю и хотел сделать ей больно. И сделал:

— Жить под надзором полиции, а любить
под надзором родителя... Очень трогательно
и благоразумно!..

Зоя отвернулась к окну и замолчала. В ее
руках мелькнул белый платочек. Плачет по-
тихоньку. Обидел. За что? Никогда еще не
случалось этого. Не понимаю, что со мной
сделалось.

— Ну вот и поругались! — со вздохом ска-
зала мама. — Эх, вы, ребята! Вам бы еще расти
да учиться, а вы — жениться.

— Зоя, никак ты рассердилась на меня?..
Ну прости... Я так, сам не знаю...

— Нет... Не сержусь... Мне грустно... Не
знаю, почему... Мне хотелось бы всех любить,
со всеми жить в мире и только радоваться.
Нельзя этого сделать. Папа виноват перед то-
бою, но ведь он старик, у него свои понятия..
И теперь он примирился со всем и уже хо-

чет... любить тебя... А ты жестокий.

Отирает платком слезы, вздыхает и неподвижно смотрит в окно.

— Зоя!..

— Что, голубчик?

— Прости меня!..

— А вы простите его, а то ему вредно волноваться-то! — жалобно попросила мама.

Зоя расхохоталась, обернулась и вдруг обхватила шею мамы руками и стала смеяться, плакать и целовать растерявшуюся старушку, для которой была еще так недавно только «особой».

Простила. Какая мягкая, добрая душа! Золотое сердечко. Ну, что ж, ничего не поделаешь. До осени придется мириться и путаться в компромиссах. Зато после, когда опека кончится, я вырву тебя из этой мещанской среды и поведу тебя по новой дороге, к новой жизни, к борьбе за эту новую жизнь. И когда ты сделаешься вполне «сознательной личностью», о которой пишет Миртов в своих «Письмах», — ты сама поймешь, что и родные по крови могут быть нашими врагами.

В первый раз мне разрешили погулять в

больничном саду. Когда мы с Зоей вышли из больницы на двор, направляясь к саду, я задохнулся от радости, потому что впервые еще со дня ареста почувствовал настоящую свободу. Ликующий весенний день, полный яркого света, птичьего гомона и разнообразных звуков и шумов жизни, долетавших сюда с Волги и из города, переполнил мою душу радостью бытия, а ничем нестесняемая близость любимой девушки в светлой радостной одежде напитала душу таким счастьем, что становилось трудно дышать и говорить.

— Побежим, — шепнула Зоя и побежала на обрыв сада, выходящий на Волгу.

Не могу бежать: больно в сердце.

— Погоди, Зоя....

— Ау!

— Иду, иду, голубка....

Господи, как хорошо! Ширь и гладь и Божья благодать:

— Здравствуй, красавица Волга! могучая река! Как широко! Как просторно!

Под горами сверкает зеркало водяных равнин, разлившихся по лугам вплоть до далекого синего леса. Бегут в туманную голубоватую

даль горы и растворяются в прозрачной дымке весенних фимиамов земли, возносимых ею к голубому безоблачному небу. Курится вдали дымок парохода, убежавшего вниз, к синему морю. Лениво тянутся плоты с игрушечными домиками, с игрушечными человечками в ярко-красных кумачевых рубашках. Белые чайки, как комья чистого снега, кувыркаются над водой. Где-то далеко и глухо стучат о воду пароводные колеса; кажется, что невидимый пароход боится опоздать и беспокоится: тревога слышится в шуме его колес. Ах, счастливые чайки! Как я завидую вам. Так хотелось бы схватить в охапку Зою и полететь с ней над водяной равниной вон туда, в синий туман, где пропадают горы и остается только золотисто-голубая дымка неведомой страны...

Сидим с Зоей рядышком на лавочке, прижались друг к другу и молчим. Нельзя говорить, когда душа тонет в счастье. Не знаю, сколько времени мы сидели молча: не было времени, оно остановилось... Но вот Зоя глубоко вздохнула и прошептала:

— Любишь?

Я с укоризной посмотрел ей в глаза, и она

прошептала:

— Прости... Больше не буду...

Обернулась, сорвала с куста зеленый листок и, приложив его к губам, щелкнула. А я сорвал зеленый стручок с акации и сделал из него свистульку. Шалим, как ребята, а сами переглядываемся и что-то говорим друг другу глазами.

— Пойдем!.. Пройдемся...

— Пойдем.

Идем под-руку в самый дальний угол сада и не останавливаемся, когда обрывается дорожка. Бьется сердце, ждет чего-то. Зоя потихоньку напевает какую-то песенку. Оглянулась и потупилась.

— Куда мы зашли... Дальше нельзя... Обрыв.

— Да.

Я тоже оглянулся: глушь, зелень, тайна.

— Ах, Зойка... как хорошо!..

Переглянулись и обнялись. Я целую ее щеки, волосы, руки и не хочу ее выпустить, а она всё беспокоится и пугает:

— Идут, идут...

— Ой, опять колет в сердце...

— Вот видишь!.. Не надо это делать... Вредно. Пойдем назад...

Снова уселись на лавочке и стали говорить о своей будущей жизни. Они с папой поедут в Крым послезавтра, а я через неделю: раньше доктор не захочет выпускать из больницы. Зоя даст телеграмму, где они остановятся. Лучше, если бы я познакомился с папой; прямо заявился бы в номера и сказал: я — жених Зои Сергеевны. Каждый день будем гулять, иногда с папой, а иногда без папы. Зоя уверена, что папа, как только увидит меня, так сейчас же и полюбит. Меня нельзя не полюбить. Очень уж я хороший. А может-быть папа еще обоих нас пригласит в Ниццу: он сперва звал Зою в Ниццу, а потом согласился в Крым.

— А хорошо бы нам с тобой побывать в Ницце!

Я вспомнил Калерию, которая когда-то дала мне адрес: «В Ниццу, до востребования», испугался, покраснел и, потупившись, сказал:

— Не стоит в Ниццу...

— Почему?.. Что с тобой! Почему ты покраснел?

Померк ликующий день, погас яркий свет,

пропал простор родимой Волги, потускнела золотисто-голубая дымка и пропала в душе радость бытия и счастья. Хотелось провалиться сквозь землю, не существовать на свете. А Зоя, взяв меня под руку, заглядывает в лицо и тревожно спрашивает:

— Геня! Геня!.. Да что с тобой, милый? Что ты молчишь?

Я закрыл пылающее стыдом лицо и сказал:

— Я должен тебе покаяться в... Как мне скверно, Зоя!..

— Что, что, голубчик!.. Бог с тобой!.. Ты меня пугаешь...

— Не могу...

— Что случилось?.. Ну, скажи, ведь я — не чужая тебе...

— Ты меня... разлюбишь...

— Да нет же, нет!.. Никогда! Ни за что!

— Помнишь... однажды я сказал тебе, что я — гадкий, грязный, а ты...

— Неправда. Ты — хороший. Ты — чистый...

— Нет, Зоя... Я не знаю, как сказать тебе правду... Я не только боюсь за себя, но... Я боюсь своим признанием оскорбить твою чи-

стоту...

— Какие страшные вещи говоришь ты!.. Не понимаю. Можно подумать, что...

Мы замолчали. Я сидел как приговоренный к казни, доживающий последние минуты жизни. В голове кружились и путались мысли, воспоминания о светлой, неомраченной любви, о том, как мы с Зоей познакомились и как занимались алгеброй. Как тогда было ясно, прозрачно на душе! Пропала светлая, беспечная радость... В памяти рождается грозная ночь, красная занавеска, тревожные зарницы молний, под которыми вспыхивают розовым отблеском черные бесстыжие глаза и разметавшиеся по траве черные волосы...

— Ну, посмотри на меня... Иначе я... Геннадий! Слышишь? Я заплачу...

И заплакала тихо, беззвучно.

— Ты — странный... Ты... не сильно любишь меня... Всё пугаешь. Ты хочешь напугать чем-то нашу любовь и... оборвать ее... Да? Скажи прямо! Да?

— Нет. Видишь ли, Зоя... Я долго обманывал тебя и больше не могу...

И тихо, не поднимая головы, я стал, запи-

наясь и путаясь, рассказывать бедной Зое всю правду, смягчая ее, насколько было можно и насколько умел это сделать. Рассказал. Тихо-тихо. Поют птицы, гудит где-то пароход, где-то поют грузчики: «Вот нейдет — да вот пойдет», ласково поплескивает река, о чем-то перешептываясь с берегом. Поборол стыд и страх: взглянул в сторону Зои. Сидит неподвижно, как изваяние из мрамора, и полными слез глазами смотрит неподвижно в золотисто-голубую дымку волжских туманов. Застыла. Только губы вздрагивают мелкой дрожью и тяжелые капли слез тяжело падают и катятся по щекам.

— Ты больше не любишь меня, Зоя...

— Тише... Молчи... А то заплачу...

Опять долгое, как вечность, молчание. Глубокий одинокий вздох.

— Можешь простить или... нет?.. Зоя!

— Погоди... Не знаю... Сейчас мне больно...

Потом... Я приду...

Встала и тихо, с опущенной головой, пошла из сада.

— Напиши мне! Если не можешь простить, напиши прямо...

Зоя, не оборачиваясь, кивнула головой и скоро пропала в зелени сада, а я так и остался на скамейке. Не смел пойти за нею.

Мне было так скверно и так больно, что хотелось разом кончить все страдания: подбежать к обрыву и прыгнуть в Волгу. Я подошел к обрыву и стал смотреть вниз. Притягивает спокойная гладь реки: должно быть, там, в глубинах родной реки, так тихо и так спокойно... Шагнул ближе, из-под ног посыпались вниз камешки и песок. Вздрыгнул и отпрянул. А потом почти побежал из сада с криком:

— Зоя! Зоя!.. погоди!.. Я должен видеть тебя в последний раз...

XXXVIII

— Ну-с, молодой человек, придется полежать.

— Не могу я, доктор, больше лежать.

— Рано пташечка запела — как бы кошечка не съела, молодой человек...

— Я должен ехать... В Крыму я поправлюсь скорее. Вы обещали через неделю, а теперь идет уже вторая... Я не могу, доктор.

Мама качает головой и жалуется:

— Вы не велели сидеть на сквозном ветру, а он не отходит от окна.

— Закрывайте!

— Открывает. Он уже уложился.

— Рано. Плохо кушаете, молодой человек.

Ах, вы! Слепые, близорукие люди. Вы думаете, что чем больше я буду кушать, тем счастливее буду в жизни? Болит душа, душа болит, а вы... Вот уже скоро неделя, как уехала Зоя, а телеграммы нет. Оставила письмо и уехала.

«Я не могу сказать тебе сейчас, прощаю ли. Не знаю, сама не знаю. Сегодня мы с папой уезжаем в Крым. Дай мне подумать, переболеть душой. Я тебе телеграфирую искренно. Должно быть, прощаю, но больно мне, невыносимо больно, и я боюсь обмануться. — Зоя».

Нет телеграммы. Сажу у окна и смотрю на дорожку к воротам: каждый день дожидаюсь, когда появится почтальон или телеграфист. Каждый день ожидание мучительнее и каждый день — разочарование; приносят и письма, и телеграммы, но не мне. Ах, Зоя, что ты со мной делаешь? Зачем мне выздоровление и жизнь, если... Но ты должна сказать. Ты не

в праве так мучить, если даже... если даже больше не любишь! А если ты так долго колеблешься, значит — не любишь. Не любишь, нет, не любишь!.. Но тогда зачем мне ехать в Крым! Никуда не надо ехать. Никуда!..

— Отойди от окна.

— Ах, оставь меня, мама!.. Не всё ли равно?.. Не сегодня, так завтра...

— Что «не сегодня, так завтра»?

— Умирать.

— Вот тебе раз! То — жениться, то — умирать. Не поймешь вас.

— Наша жизнь, мама, только крохотный кусочек, одно мгновение в вечности. Если посмотреть на тысячи лет, которые прошли до появления на свет, и на тысячи, а может-быть и миллионы лет, которые пройдут после нашей смерти, — так не стоит и думать о жизни...

— Чепуха какая!

— Сегодня есть, а завтра тебя нет. И ничто не изменится с твоим исчезновением. Всё так же будет день, и будет ночь, зима и весна, радость и горе...

— А ты хотел бы, чтобы после нас ничего

не было?

— Мне всё равно... Суета сует, мама. И так же люди будут говорить, что любят и никогда не разлюбят, а сами...

— Вон телеграфист идет.

— Где? Да, да!..

— Куда же ты побежал?.. Ах, наказание Божие!

Я выбежал в коридор, потом на лестницу. Стою, свесив голову в пролет лестницы, жду и прислушиваюсь, что делается в конторе больницы. Мешают проклятые часы: стучат, словно рубят дрова. Стукнула дверь. Кто-то идет. Куда? Наверх!..

— Сестрица, вы что несете?..

— Телеграмма... вам!

— Мне!

— Вам. Вот извольте...

— Спасибо, спасибо! Вы такая милая...

Сестрица вскинула на меня удивленные взоры и, повернувшись, пошла обратно, а я зажал в руке телеграмму и побежал в свою палату.

— Мама! Телеграмма.

Смотрю на телеграмму и боюсь ее распеча-

тать: ведь там — моя судьба, моя жизнь. Трясутся руки и замирает сердце. Опять трудно дышать.

— Мама!.. Распечатай телеграмму и сперва посмотри, откуда и от кого, но не говори содержания.

— Что за фокусы? Ну давай!.. «Распечатай», а сам не дает.

— На! Сперва — откуда?

— Из Ялты. От Зои.

— Знаю, знаю!.. Погоди, ничего не говори.

— Что ты дуришь, Геннадий!

— Скажи, как подписана. — «Твоя Зоя».

— Не может быть!.. Ты лжешь, мама...

— Ей-Богу, «твоя»! На, читай сам! «Прощаю, люблю, жду. Твоя Зоя».

— Мама! Я спасен! Мама, мама... милая, родимая старушка!..

— Да погоди ты, сумасшедший!.. Я упаду, оставь меня, Генька! Что ты, словно сбесился...

— Сбесился, мамочка... Ей-Богу, сбесился!.. Зойка! Зойка! Милая, добрая Зойка!

— Ничего не понимаю...

— И не надо, мамочка. Завтра я еду, еду,

еду...

— Погоди, что скажет доктор...

— Не желаю. Не слушаю. Ничего знать не хочу! Еду, еду, еду...

И я громко запел:

*«Отворите мне темницу, дайте
мне сиянье дня...»*

— Не ори! Здесь больница.

*«Сине-окую девицу, черногривого
коня...»*

— Не ори, тебе говорят!

— Ничего, мамочка...

*«Я кра-савицу младую прежде
сладко поцелую...»*

— Не пойте. Здесь неудобно.

— Простите, милая сестрица. Не буду... Ей-Богу, не буду!..

— Допелся... Говорила тебе... Точно гимназист... А еще жениться...

— Ничего, мамуся... Я — шопотом... «Я кра-са-вицу младую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер, полечу»...

— Расскажся...

— А где, мама, корзинка с теми вещами, которые тебе отдали в жандармском управлении?..

— В конторе. Сюда не позволили.

— Экая досада! Надо бы кое-что взять с собой. Завтра я еду. Это решено и подписано. Может быть, ты — со мной... Всё равно уж там есть один родитель, будет еще одна родительница.

— Ты знаешь, что мне нельзя. Я и без того не знаю, как там без меня... Тетки хворают, кругом обворовывают, приказчик запил.

На вечернем обходе долго торговался с доктором. Уперся: раньше, как через три дня, не пускает. Что такое три дня? Просто придирка, упрямство, желание покуражиться. Ну, черт с тобой, бери у меня эти три дня, пей мою кровь и мое счастье! Слава тебе Господи... Слава долготерпению твоему, Господи, слава...

— Значит, не едешь со мной?

— Да нельзя, Геня... И денег в обрез... Как я жалею, что отправила Калерии тысячу-то! Потом уж рассчитались бы. Осенью она собира-

ется к нам погостить...

— К нам? С какой стати?

— И опять с ребенком притащится, помяни мое слово.

— С какой стати! Ты же потом будешь сердиться и каяться, что...

— Неудобно: дала денег на твой выкуп и пишет, что горит нетерпением повидать политического преступника... Никогда, говорит, не случилось их видеть.

— Подлая!

— Ну уж это, Геннадий Николаевич, нехорошо и неблагодарно... Пусть поживет... Она думает, что ты попрежнему будешь бегать за ее хвостом...

— Я видеть ее не хочу. Я ее ненавижу всеми фибрами души...

— А тогда горой стоял... Чуть на мать с ружьем не полез... Эх ты!

— Она меня одурманила... Опоила зельем каким-то... А теперь прошло. Теперь я ее, поганую, из ружья убью... гадину!

— Перестань! Постыдись! Побойся Бога-то...

— Так и знайте: либо она, либо мы с Зоей.

Мы одного часа не пробудем, если заявится Калерия... А впрочем, я забыл: осенью я буду гарантирован от этого свидания: опять в тюремное заведение для полного окончания курса... Наплевать! Мы проживем в Крыму до сентября, а там видно будет.

— Пишет, что тоскует... Не нахожу, говорит, места. Мыкается по границам. С ребеночком-то! Ему всего около трех месяцев, а она его уж чуть не всей Европе показала. А теперь хочет показать ему свое отечество. И смешно, и жалко. Кукушка! Хорошо, что вовремя тогда мы ее спровадили, а то закружила бы тебя около своей юбки. Опять сошлась с мужем. Сперва бросила, а потом опять... Несчастливая какая-то.

— Ну, будет, мама! Я не желаю ничего знать про нее и... замолчи!

Перекладывая в десятый раз вещи, собранные в дорогу, я вытащил из альбома портрет Калерии. Взглянул, вздрогнул от бесстыжих глаз и бесстыжих губ, которые смотрели и целовали меня, и швырнул портрет на стол к маме.

— На, возьми твою прекрасную Калерию.

Мне она не нужна.

Мать взяла портрет и стала рассматривать. Вздохнула.

— А есть в ней цыганская кровь. Красивая бродяга, ей-Богу! Вот ведь и деньги, и красота, и всё, что угодно, а счастья нет. Возьму себе. Нехорошо бросать подаренные карточки. Карточка не виновата.

На другой день мы с мамой ходили по магазинам: покупали мне новое летнее пальто, шляпу, палку, перчатки и легкую летнюю пару, белье, чемодан, ботинки. Это отняло весь день и сократило время ожидания. На третий день тоже было не мало хлопот: ходил в цирюльню подстричься, мылся в ванне, еще раз укладывался. Мама ушла в церковь отслужить напутственный молебен, а я, чистый и подстриженный, воспользовался одиночеством: захотел посмотреть, каков я буду видом, если надену новую пару. Облекшись в новое белье, я надел новую светлую пару и новые ботинки с пуговицами, накрыл голову новой шляпой и посмотрелся в зеркало:

— Ничего, недурен мужчина!.. А ну-ка, в пору ли пальто?..

Надел и пальто, а кстати взял из угла и новую палку. Опять подошел к зеркалу.

— Ей-Богу, я очень и очень недурен!

Стал прохаживаться по комнате и мимоходом заглядывать в зеркало; помахиваю палкой и раскланиваюсь с кем-то. С кем? Ну, конечно, с Зоей! С кем же больше мне раскланиваться? Воображаю, как ахнет мой белый голубок при виде такого франта. А крахмаленной рубашки не надену: фантази с «желябовским галстуком» придает более поэтический вид.

— Эге, вы уж, кажется, на «венец» собрались!

— Я... я... нет, доктор, я собственно пройтись маленько.

— Теперь другое дело. Теперь жених, как следует. А ваша матушка?

— Н... не знаю. За покупками пошла.

Почему я не сказал, что она ушла в церковь? Как это глупо: стыдиться, что мать пошла молиться Богу за мой благополучный отъезд... Ведь я же верю в Бога... В Бога... Ммм... не знаю. Не особенно что-то... Сходил в сад, поглядел на Волгу, послушал, как при-

зывно гудят свистки пароходов на городских пристанях, словно зовут меня поскорее сесть и уехать вон туда, в голубую дымку сказочного царства, где царствует моя нареченная Принцесса. Ах, какая смешная: «желаю, чтобы на нашей свадьбе непременно пел хор певчих». Ну, скажите пожалуйста, разве это не чепуха! Ну, не всё ли равно: с певчими или без певчих? Чудачка эта Зойка, ей-Богу! Много в ней еще предрассудков.

Пришла мать. Глаза красные.

— Ты что, мама... плакала?

— Да, Генечка, немного поплакала.

— О чем, старушка?

— Так, грустно что-то стало. Уедешь и останешься одна. Дай тебе Бог счастья... Отца-то нет, не дожил! Я уж заодно панихидку по нем отслужила: в одной церкви — молебен, а в другой — панихидку. А ты уж нарядился!

— Примеряю.

— Вот даже приятно посмотреть. Вырос ты, совсем взрослым глядишь. Ну, и мне собираться надо в дорогу. До Самары вместе, а там...

Мать постояла среди комнаты с опущен-

ными руками, потом стала суетиться и бегать то в контору, то в докторскую; звенела деньгами, отвернувшись в уголок лицом, охала и опять куда-то скрывалась.

— Телеграмма тебе.

— Давай скорей!

«Остановилась в Гранд-Отеле, жду, тоскую, телеграфируй выезде. Зоя».

— От Зои?

— Да! Тоскует очень, невыносимо тоскует, не может больше ждать...

— Завтра поедем. Не умрет.

— Всё, мамочка, возможно!.. Надо успокоить.

Сажусь к столу, тороплюсь, перо старое, ржавое; злюсь на больничные порядки, делаю кляксы, рву бумагу, капнул на новый пиджак...

«Ялта. Экстренная. Завтра выезжаю, успокойся. Твой Геннадий».

Выбегаю за ворота, отчаянно кричу извозчика.

— На телеграф!

А на телеграфе опять недоразумение:

— Кому?

— А вам какое дело?

— В таком случае не принимаем.

— Не имеете права...

Шум и крик, с обеих сторон угрозы. Вмешивается какой-то господин и кротко-заискивающе объясняет, в чем дело:

— Вы написали: в Ялту, а кому — неизвестно.

— Ах, вот в чем дело!.. Ведь я не понял... В таком случае извините.

— Подождите, потрудитесь встать в очередь!

Все на меня смотрят, одни — со злобой, другие — с усмешечкой. Так бы и растерзал телеграфиста, да он — за решеткой. И вот этого, толстого!..

— У меня телеграмма экстренная.

— А уж это, господин, не наше дело. Я тоже жду, у меня там жена помирает. Кабы деньги были, так и я послал бы экстренную.

Жена помирает, а он, прохвост, торгуется из-за пятака, не соглашаясь, что «не задержусь» пишется в два слова. Только время идет.

— Напишите «не замедлю», — советует ря-

дом стоящая барыня.

— Не замедлю — тоже два слова.

— У вас всё — два слова!

— Не я грамматику сочинял.

— Ну, нате еще пятак... Вас не переспоришь...

— Экстренная! У кого экстренная?

С гордостью пролезаю вперед.

Только сдавши телеграмму чувствую, что теперь всё устроено. Куда бы сходить? Некуда. Брожу по улицам, помахиваю палкой и тихо напеваю:

— Тра-там, тарам, та-та...

Увидал выставку фотографии, стал рассматривать обывательские физиономии.

— А что, не сняться ли?

Зашел и зачем-то снялся в анфас и в профиль, в шляпе и без шляпы, в пальто и без пальто. Дал три рубля задатку. А когда вышел из фотографии, то подумал:

— Ну кой чорт я снимался, когда завтра уеду и неизвестно, когда вернусь! Ну, наплевать, пусть пропадает моя трешница...

Попадались навстречу барышни, но совершенно не интересовали меня; раньше бросил

бы мимолетный взгляд, заметил бы, которая красивее, может быть, поправил бы шляпу на своей голове. Теперь — просто не существуют. Ни на минуту не перестаю чувствовать, что вся моя жизнь отдана безраздельно и бесповоротно одной, далекой, лучшей к миру девушке, перед которой я глубоко виноват. Тоже косы у одной из трех большие, но перед Зонными косами они ничего не стоят. Одна сделала «глазки». Ах, скверная девчонка! Ведь, наверное, соображает, что краше всех на свете. Какое, подумаешь, самомнение! Напрасно, милостивая государыня, стараетесь: неуязвим! Не оглядывайтесь: застрахован!

Вернулся в больницу и застал маму в слезах.

— Что такое, мама?

— На, прочитай!

Взял телеграмму: «Тетя Маша сейчас скончалась. Тетя Саша».

Бедная тетя Маша: всю жизнь ждала, что придет какой-то благородный рыцарь и похитит ее из старого дома, берегла для него целомудрие, гадала на святках с зеркалом, — каждый год выходило, что рыцарь близко... Вот

он рыцарь, пришел и похитил тетю Машу!..
Черный рыцарь...

— Ведь ей всего сорок два! — всхлипывая, шептала мама...

А мне было не жалко тетю Машу. Мама плакала, а я думал о том, что завтра я поеду к своей невесте, и, отвернувшись к окну, я радостно улыбался и мысленно говорил:

— Зойка, Зойка!.. Какая ты красивая, милая, добрая...

— Надо опять идти — отслужить панихиду по тете Маше. Пойдем!

— Пойдемте.

Не хотелось идти, но нельзя: обидишь маму. Пошел, стоял с понурой головой, с восковой свечой в пучке. Священник жалобно вытягивал:

— Еще молимся о упокоении души усопшей рабы Твоей Марии, и о еже проститися ей всякому прегрешению, вольному же и невольному!

А я слушал, как за раскрытым окном храма, на ограде, пели птицы и как на Волге гудел пароход; крестился, а сам думал о том, как встречу Зою и буду целовать ей руки, глаза,

губы, волосы... золотые волосы, похожие на солнечные лучи, золотым столбом падающие из-под свода купола в холодный полумрак церкви!..

XXXIX

«Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах» — стучит, гремит и, как птица, несется под уклон скорый поезд, позванивает, полязгивает сцепами и плавно покачивается на закруглениях. Я стою у раскрытого окна и подставляю встречному ветру лицо. Треплет ветер волосы, рвет с головы широкополую шляпу; бегут мимо столбы с проволоками и белыми фарфоровыми чашечками; как бесконечная лента, разворачивается желтый откос железнодорожной насыпи и пугают встречные поезда птицы, вихрем проносящиеся в глазах; зеленеют луга, сверкают серебристыми ленточками луговые речки, уплывают назад кучки белых домиков-мазанок с вишневыми и желтыми подсолнухами; мелькают на переездах пузатые бабы в повойниках, с зелеными флагами в руках; иногда гонятся с лаем злые собаки...

А поезд летит, как птица, и визгливо кричит:

— Эй, эй, берегись!

Неизъяснимую благодарность чувствую я к поезду: он мчит меня на благодатный юг, в неведомый еще для меня край, туда, где и днем и ночью ждет меня прекрасная Принцесса...

— Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах...

Спасибо тебе, милый поезд, спасибо тому, давно сгнившему человеку, который придумал эту чудную птицу: на ней можно, как на ковре-самолете или на Коньке-Горбунке, в три дня перелететь с севера на юг моей милой, необъятной отчизны...

По целым часам стою у окна вагона, и на моих глазах совершается чудо превращения севера в юг. Вместо грустных плакучих берез и угрюмых сосен всё чаще возносятся к небесам пирамидальные тополи, вместо низкорослых пропыленных желтых акаций — высокие ажурные белые, вместо печальных подслеповатых изб — белые мазанки с вишневыми и желтыми подсолнухами, вместо красивых лошадок лениво ползут рогатые быки... Появляются на крышах длинноногие

аисты... А наши задумчивые меланхолические ночи, с грустно мерцающими в далеких небесах звездами, сменяются темными, почти черными ночами, с небесами из темно-синего бархата, смотрящими на землю огромными удивленными глазами бесчисленных моргающих звезд.

Ах, эти черные ночи с огромными любопытными глазами-звездами, с горячим дыханием ласкового ветерка, с трепетными вздрагиваниями приветливых и таинственных огоньков в скрытых темнотой жилищах, с пряным ароматом полей и садов! Кружится от них голова и мерещатся горящие во мраке глаза, шопот и поцелуи... Скорей! Скорей, поезд!..

— Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах...

Свистки, остановки, суетня и говор. Опять свистки, рожок стрелочника, вздох паровоза, толчок и снова:

— Трах, тарарах, тах-тах-тах-тах...

Буфет, беготня, звон посуды, ножей, тарелок, жадное и торопливое пожирание пищи и снова:

— Трах, тарарах, тах-тах-тах-тах...

— Севастополь.

— Как, уже Севастополь?..

Ослепительное солнце, смеющиеся дома, распаренные люди, белые костюмы, белые извозчики, бронзовые лица, запах роз, акаций, апельсинов, лимонов, а во рту — соленая пыль... Так вот он, знаменитый город, о котором слышал еще в далеком детстве! Тихий и радостный, даже ленивый. А когда здесь рекою лилась человеческая кровь, и люди как разъяренные дикие звери, катались на земле в предсмертных схватках. Даже не верится. Надо бы посмотреть исторические достопримечательности этого города, да что-то не хочется. Теперь мною владеет только одна достопримечательность в мире: она находится в Ялте, и зовут ее Зоей...

— Зоя! Скоро, скоро...

Морской пароход. Заревела сирена, закатал черный дым над трубой, забегали по бортам матросы, и медленно поплыл огромный дом из суетливой бухты в спокойно-величавое, голубое и зеленое море... Бегаю по палубе, по каютам и лестницам: не нахожу места от нетерпеливой радости, которая кло-

кочет в груди: от изумрудного моря, в манящих пенящихся глубинах которого, за кормой, кувыркаются игривые дельфины, от влажного соленоватого воздуха морских равнин, от размашистого плавного баюкания коварной волны, а всего больше от близкой встречи с белым ангелом моей души...

Какой симпатичный капитан! И какие все милые пассажиры: точно родные. Заботятся и помогают:

— Съешьте кусок лимона!

— А всего лучше выпейте рюмку коньяку.

А скверно?

— Нет, только немного кружится голова.

— Не смотрите на воду!

— Не могу: тянет меня эта зеленая прозрачная пропасть...

— Вы бледнеете. Лучше бы пошли в каюту да и залегли.

— Да, пожалуй лучше лечь.

.....

— Ялта! Видно Ялту...

— Кто это сказал про Ялту?

Сразу очнулся и все прошло. А было так скверно, что желал поскорее умереть, и про-

сил кого-то сбросить меня в море. Спасибо, что не бросили!..

Качки нет, а меня покачивает из стороны в сторону. Придерживаясь, как пьяный, за перила, поднимаюсь по лестнице на палубу и застываю в восхищенном изумлении...

Темно-синяя ночь, огромные звезды на небе, фосфорические огни в морских хлябях и рой золотых пчел в изгибе темнеющих гор...

— Это что там в горах?

— Ялта...

Ялта, Ялта!.. Точно Господь собрал с бархатных небес много-много лишних звезд и бросил их на землю, в горы, на берег моря...

Как сказка, волшебная, несбыточная сказка... Дрожат огни на небе, в море и на горах... Прекрасны огни неба, но меня больше притягивают огни земли. Там, среди этих огней, есть один, который мигает мне... Я хочу отыскать его... Красавица Ялта, не гордись своей красотой: в одном из твоих сокрытых синими сумерками ночи жилищ скрывается Принцесса, моя Принцесса!.. Она прекраснее тебя. Она — моя невеста. Ее зовут — Зоя. Огни ее глаз ярче твоих, потому что в них — земля и

небо, солнце и звезды, в них счастье, огромное, безграничное, как это черное, сверкающее таинственными сияниями море!..

Ревет морская сирена, кричит в горы:
— Зоя! Я приехал...

XL

Разве можно здесь спать ночью? Нельзя. В раскрытое окно моего маленького номера ничего не видно: кусок крыши, труба и над ними — черное небо с огромными звездами; но мне всё-всё слышно: море то шепчет что-то, то вдруг взметнет волну, ударится в камень и с шумом, подобным проливному дождю, упадет и смолкнет. А потом снова зашепчет и снова кинется и разобьется; слышно, как ходят по улицам люди, которым не спится, весело разговаривают, напевают... Вот доносится радостный женский смех. Даже вздрогнул и сел в постели от смеха: какой-то странный смех, словно знакомый, уже когда-то слышанный. Вот стучат кованными ногами верховые лошади, а кто скачет — неизвестно! Ну, где-то играют «Лунную сонату»... Разве здесь можно

спать? И в номерах еще не все спят: кто-то у самых дверей вполголоса ссорится. Мужчина и женщина:

— Где ты была?

— А тебе какое дело!

— Я тебя спрашиваю, где ты...

— Тише! Или я уйду...

Завели роман под самыми дверями: любовь, ревность, измена... Разве тут уснешь! Громко кашлянул, и роман оборвался: две пары ног торопливо и мягко, вдогонку друг за другом, простучали по коврику коридора и растаяли в шопоте моря...

— Уснешь тут...

Вскочил и стал одеваться. Пойду побродить по набережной, посмотреть и послушать морской прибой. Может быть, отыщу «Гранд-Отель», где живет моя Зоя, похожу мимо... Вот если бы вызвать Зою и посидеть с ней около моря!.. Поздно: папенька не выпустит или увяжется за нами. А сколько времени? Всего двенадцать с четвертью. Уж не так поздно, папенька!..

— Человек! Скажите пожалуйста, где находится «Гранд-Отель»?

— На набережной. Выйдете и налево.

Вышел на набережную. Ах, красота, сказочная красота «некоторого царства, некоторого государства», в котором небеса из черного бархата с синим отливом, а на черном бархате, — звезды из чиста золота, а город из бе-ла мрамора, а море из синей парчи, серебром расшитой... Загляделся на море. Тихо шевелятся черно-синие хляби морские; потом, как домчатся до каменной стены черные кони, в мыле и в пене, с бешеной яростью они поднимутся на дыбы и заржат, скатившись в море, а поднятый ими водяной столб, взвившись высоко к небу, дождем и водяной пылью упадет на камни и плеснет на панель набережной. И шум от этого похож на могучие вздохи скованного великана... Душа переполнена восторгом. Не знаю, что сделать: не знаю — побежать вдоль набережной, не знаю — закричать в море: «Эй, кто там? Я — здесь!», не знаю — куда смотреть, пойти, кому что-то сказать, кого-то крепко расцеловать... Почему я один? Почему со мной нет Зои?..

Огляделся по сторонам, глубоко так вздохнул и быстро зашагал налево, оглядывая вы-

сокие дома с огнями в окнах... Да вот он, «Гранд-Отель»!.. Гм... Да, вот и на подъезде вывеска: «Гранд-Отель». Так вот где моя Принцесса! Что же дальше делать? Идти, пожалуй, поздновато: папенька битком набит предрассудками. Ага, прекрасная идея: напишу записку, два слова и пошлю с швейцаром в номер, к ним в номер. Оглядев еще раз фасад «Гранд-Отеля», перебираюсь через улицу и вхожу в подъезд. Осведомляюсь, действительно ли это «Гранд-Отель». Он. Живут ли такие-то? Живут. Спят? Неизвестно, можно справиться.

— Нет, нет... Я напишу записочку, а вы суньте им в дверь.

— Уж не знаю как. Барин там серьезный...

— Вот вам за труды!

— Благодарствую... Надо попробовать... Вы будете ждать?..

— Нет, там всё написано...

Передал швейцару записку на листе записной книжки: «Приехал, сейчас гуляю по набережной мимо Гранд-Отеля», — а сам поскорее вон. Вышел и прохаживаюсь по панели набережной, озирая светящийся фасад таинствен-

ного «Гранд-Отеля». Вдруг в одном из светящихся окон второго этажа стукнула створка, обрисовалась темная человеческая фигура, и густой бас произнес:

— Господин Тарханов!.. Где вы?

Отец, ее отец... Чего я, однако, испугался? Что он мне сделает?..

— Я здесь!

— Мы ложимся спать, придется до завтра... Правильный образ жизни требует по ночам...

— Ну, спокойной ночи, — произнес я обиженным тоном, приподнимая шляпу, и направился было прочь от «Гранд-Отеля», но в этот момент раздался тревожно-радостный голосок:

— Геннадий! Я сейчас выйду.

Я поднял вверх голову и поймал мелькнувшую в окне белую тень позади черной. Окно сердито стукнуло: папенька, очевидно, разгневались. Ничего с нами не поделаешь. Уж, видно, придется, папенька, благословить. отошел от полосы света, бросаемого окнами «Гранд-Отеля» в тень черной ночи, повернулся и не свожу глаз с подъезда гостиницы. Минуты казались часами. Вздохнет море, вздох-

ну и я. Темная женская фигура, тонкая и изящная, проворно стучая по панели каблучками, торопливо прошла мимо, испуганно отшатнувшись от меня в сторону, пахнуло ландышем, в ушах прошумел шелест шелковых юбок, и всё исчезло в шопоте моря. Потом крупным догоняющим шагом, постукивая тросточкой, прошел мужчина. Знакомая фигура, где-то и когда-то я его видел. Кто б он был? А впрочем не в нем дело. И, поглядывая на подъезд «Гранд-Отеля», я потихоньку запел романс Тамары:

«Ночь тиха и ясна, не могу я заснуть...»

И оборвал: золотой арфой прозвучал слабый зовущий голосок:

— Геня!

— Здесь!

Легкая белая тень скользнула во мраке и поплыла мне навстречу.

— Зоя!

— Я...

— Голубка!..

— Милый, милый... Как я соскучилась!..

— Слезы?.. Я хочу выпить твои слезы...

— Боюсь, увидят... Не надо!.. Вон идут...

Пойдем.

Подхватила меня под-руку, и мы почти побежали, не зная зачем и куда. В темноте мы плохо видели друг друга, и всякий раз, когда попадали в ореол света от электрических фонарей, торопились перегляднуться. Она наскоро оделась, не успела сделать настоящей прически, вообще выглядела «простенькой», но от этого она была еще интереснее: в этой внешней простоте, в небрежно накинутом на голову белом газовом шарфе, была бездна загадочности и тайны, интимной близости и сердечной теплоты отношений. Опять молнией пронеслась мимо темная стройная и загадочная женщина, оставляя за собой шелест шелка и запах ландыша, а за нею тот же постукивающий тросточкой мужчина. Мы переглянулись и весело расхохотались.

— Как нахально этот фронт посмотрел на меня, — сказала Зоя и стала оправлять готовые рассыпаться волосы: — Погоди... все шпильки растеряла... Должно-быть, этот господин принял меня за... за горничную или...

вообще...

И опять громко и весело расхохоталась.

— Ты тоже франтом!.. Я могу тебя скомпрометировать... Смотри: городской сад еще не заперт. Хочешь?.. — спросила Зоя и сжала мою руку.

— Пойдем, пойдем...

Темно-синяя мгла ночи. Таинственная аллея из неведомых растений. Под ногами — влажный морской песок, придающий нашим шагам странную звучность. Одурающие ароматы цветов, таинственные шорохи в зелени. Жутко, безлюдно. Дрожат нервы, как тронутые струны, и стучит сердце. Ах, как стучит сердце, словно чувствует, что сейчас оборвется наше напряженное жуткое ожидание.

— Никого... Пусто... Ах, как я по тебе соскучилась!

Рванулись друг к другу и замерли в долгом молчаливом объятии.

— Ты меня простила? Да?

— Не говори... Не вспоминай!.. Не надо сейчас об этом.

— Ты... Святая... Я хочу молиться на тебя...

— Тише! Идут.

— Нет, это море вздыхает...

— Будет... Идем...

Вдали свет, синеватые огни одиноких электрических фонарей. Там — дом, в котором даже здесь, в этом волшебном царстве, люди играют в карты всю ночь напролет. Большая площадь и несколько окружающих клуб аллей освещены редкими фонарями. Черная ночь и освещенные электрическим светом деревья и кусты создают фантастическую картину. Положительно сказочный сад волшебницы Альцины, где горел в огне любовных страстей Неистовый Роланд... Кипарисы, мирты, белые акации, пирамидальные тополи, олеандры, освещенные электрическим огнем, на фоне черного бархата небес кажутся кружевными, ажурными, неземными... Сказка! Заколдованное царство. Замок Черномора, где томится Людмила... А Людмила со мной, и зовут ее Зоей. А Руслан превратился в Геннадия...

— Боже, как невероятно всё это!..

— Что, милый?

— Да вот то, что это — настоящий, а не сказочный сад, что ты — со мной, что ты моя

невеста и скоро... будешь... моей женой... Что вот эта рука, которую я целую, будет моей... Верю и боюсь, что всё это — только сказка.

— Наяву... Ой, Генек, как хорошо! Хочется заплакать от счастья...

— А давно ли между нами была каменная стена... Помнишь, как мы...

— Пас!

— Бубны!

— Червы!

Ах вы, несчастные! На что вы тратите жизнь? Она так прекрасна, так драгоценна и так быстро уходит от нас, а вы...

— Пойдем, Зоя... «Бубны» и «червы» мешают мне любить тебя... Идем к морю!

Когда, выходя из сада, шли темной таинственной аллеей, украли у сада еще один долгий, туманящий сознание поцелуй и, растерянные, опьяневшие, вышли на набережную. Остановились и, прижавшись друг к другу, застыли в молчаливом созерцании. Смотрели в темно-синюю бездну морских хлябей, в бархатное небо с огромными звездами, на далекий красный огонек невидимого парохода. Не хотелось говорить: казалось, что звук голоса

оскорбит то тайное и великое, что молчит в природе и в нас...

— У-у-ух! — вздохнуло море и, взметнувшись высоким столбом в высоту, обдало нас холодной соленой пылью.

Чьи-то шаги гулко стучали в темноте.

— Надо домой... — шепнула Зоя и, вздрагивая всем телом, вздыхала, но не шла.

— Зоя! Ты?

— А, папа!.. Ты еще не спишь?.. Вот, позволь тебя познакомить...

— Это твой жених, если я не ошибаюсь?.. Очень рад, очень!.. — сердито забасил тучный господин с одышкой и вяло подержал мою руку.

— Где вы пропадали? Я уже целый час хожу по набережной...

— Почему же ты не лег? Ведь ты хотел спать!

— Разгулялся. Надо большую привычку, чтобы спать под это безобразие...

— Какое, папочка?..

— А вот под этот шум и грохот моря... Я уже закрывался с головой и всё-таки слышно. Пора домой.

— А мы с Зоей Сергеевной думали дождаться восхода солнца...

— В другой раз, молодой человек. Солнце восходит каждый день.

Море взметнуло волну и всех нас облило дождем и пылью. Зоя отпрыгнула и звонко расхохоталась, а папочка стал ворчать и ругать море:

— Безобразие! Весь мокрый... Экая гадость!..

— И меня облило... У-у, всё платье мокрое!.. Придется домой...

— Тут не поправишься, а только ревматизм свой разбередишь!..

Кончилась сказка... Словно проснулся и жалею, что меня разбудили и не дали досмотреть волшебного сна...

— Ну, прощайте, Зоя Сергеевна!..

— Да папа знает, что мы — на «ты»!.. Приходи завтра пораньше к нам.

— Милости прошу, — сказал басом папочка, и я остался один у подъезда «Гранд-Отеля». Постоял, послушал, как смолкли шаги Зои, перешел на набережную и долго смотрел на свет в окнах второго этажа. Которое окно

Зои? Не узнаешь... Как узнать? Да очень просто: одно из светящихся окон второго этажа должно скоро погаснуть, одно или два. Жду. Ну, вот, так и есть: одно потухло... С молитвенным благоговением посмотрел на потухшее окно и пошел в свой номер. Очень долго не мог заснуть: всё чудился сказочный сон наяву, сад волшебницы Альцины, ажурные кипарисы и акации, милые глаза и горячие губы. Лежал, прислушивался к вздохам моря и сам вздыхал... А когда начал забываться, рядом в номере заплакал грудной ребенок и закрипела покачиваемая колясочка, а сонный голос, вероятно няни или кормилицы, стал монотонно-надоедливо вытягивать:

— О-ооо-ой, баю, баю деточку мою...

Всё это очень глухо, словно под землей, но спать мешало; приносило мысли о том времени, когда и у нас с Зоей будет ребенок, маленький, похожий на Зою или на меня ребенок, и вот так же мы будем его баюкать: «О-ооо, бай-бай деточку мою»... Фу, какая чепуха в голову лезет! Душно и жарко. Некуда девать руки... А в окне, на занавеси, уже дрожат золотисто-розовые отблески зачинающегося

утра...

Встал с постели, отдернул занавес и распахнул окно. Тишина изумительная. Только море не спит и еще яростнее кидается на каменную ограду, шумно охая и вздыхая...

Не спим мы с морем... И оба возимся и беспокойно вздыхаем... А небеса румянятся, и где-то уже просыпаются птицы. Сильно пахнет морем и апельсиновыми корками.

— Какое счастье жить на свете!.. Зоя! Ты спишь крепко и сладко, а я не могу уснуть от радости, что дышу одним воздухом с тобой...

XLI

Ах, эти черные ночи с огнями на небесах и с фосфорическими сияниями в морских пучинах, с шопотом волны и с горячими дыханиями ласкового ветерка! Чьи-то глаза сверкают во мраке и с чьих-то ароматных губ льется на щеку теплота, и греховные мысли всё кто-то нашептывает на ухо...

— Уйди!.. Ты — нехороший...

— Ах, Зоя... Почему ты такая холодная и спокойная.

— Если ты будешь такой, я...

— Я, Зоя, теряю голову... Ты святая, а я... меня туманит страсть...

— Но я тебя целую...

— Прости... Не буду.

— Ах, ты... зверюшка!.. А помнишь, что ты мне говорил?

— Что?

— Пока ты мне брат, а я тебе сестра...

— Да, да...

И долго мы сидели молча и смотрели в синюю темноту морских хлябей. Звездное сияние играло на лице Зои; устремленный неподвижный взор ее широко раскрытых глаз был холоден и далек от меня, и мне чудилось, что я люблю русалку, которая иногда ночью выплывает ко мне на берег и дразнит меня своей холодной, бесстрастной красотой.

— О чем ты думаешь, Зоя?

— Не знаю... Море навевает на меня какую-то грусть о чем-то далеком и невозможном... Мы, люди, такие маленькие-маленькие... как букашки...

— Уйдем отсюда!

— Почему?

— Я не люблю, когда ты грустишь: тогда мне кажется, что ты мало любишь меня.

— Нет, я хочу смотреть на море и думать... Не правда ли, как это странно: мы с тобой умрем, а море всё так же, как сейчас, будет шуметь — шуметь и всё так же светиться синими огнями. Грустно, что нельзя жить и любить вечно!..

Я слушал эту тихую элегию нежно и кротко любящей женской души и сердился: я ревновал Зою к морю. Это оно, море, мешает ей отвечать на мои страстные ласки, на мои туманенные взгляды и вздохи.

— Я хочу смотреть на тебя и...

— погоди! оставь! мне не хочется сейчас ласкаться. Хорошее и страшное море! Можно до утра сидеть и смотреть и думать, думать, думать...

— Ты — русалка... В тебе холодная кровь... Зоя обиделась.

— Ты думаешь? Тогда люби ту, черную, которая... И клянись ей, как и мне, что будешь любить ее вечно, как вечно шумит это море...

— Ты обещала никогда не напоминать мне...

— Это не я: море. И сам ты напоминаешь...

— Я?.. Странно!

— Ты... начинаешь видеть во мне... только женщину.

— Неправда. А, впрочем, разве это так обидно?

— Да, обидно. Я не хочу быть для тебя тем, чем была та, черная...

— Я любил ее не такой, какой она потом оказалась.

— А кто знает: может быть, и теперь ты любишь не такую, какая я есть...

— Что с тобой? Я не узнаю тебя.

— Так, прости... Не придавай значения... Я сама не знаю, что говорю.

Что нашептало ей это безбрежное, вечно шумящее море в сумраке ночи? Что она подслушала в его беспокойном движении и звенящем камешками, гальками и ракушками ритмичном плеске набегающих и убегающих волн? Законы непреложной вечности, в силу которых любовь, как и сама жизнь, имеет начало и конец?.. Философия для младшего возраста!

Молча мы возвращались домой, словно

оба в чем-то разочаровались, но таили друг от друга. А когда я проводил ее до подъезда номеров, она подала мне руку и сказала:

— Нет. Всё по-прежнему... Я люблю и прощаю тебя...

И скрылась за дверями. Я в недоумении постоял у подъезда и тихо побрел прочь с опущенной головою. «Так вот что нашептало тебе море!» думал я и злобно посматривал на черную коварную зыбь за стенами набережной. Какая-то обида, как змея, шевелилась в моей душе, и мне хотелось сделать Зое больно, отомстить за что-то. За что? Не знаю... Мало любит, мало дорожит моей любовью, сомневается в моей и своей верности.

— Какая это любовь! Очень уж осторожная, пугливая, вялая... Любить, так любить, без сомнений и колебаний, без оглядки... Всё или ничего! — рассуждал я вполголоса, размахивая тростью. — Завтра я спрошу тебя: всё или ничего? Я — не нищий. Мне не нужно подаяния. Да, папашенька, вы таки успели привить своей дочке мещанскую осторожность.... Да, мещанскую!.. Кто-то играет ироническую песенку Мефистофеля: «Мой совет — до обру-

ченья не целуй его». Да, опасно, г. Мефистофель. А в сущности и вы, г. Мефистофель, порядочный мещанин: тоже советуете сперва сочетаться законным браком, а потом уж... И папенька разделяет ваше мнение... Да и моя Зоя тоже, кажется, довольно рассудительна на этот счет...

— Фу, какой я пошляк! Зою, мою чистую, святую невесту, я оскорбляю, не зная сам, за что... Подлость! Мерзость! Гадость! Вы, Геннадий Николаевич, забываете, что это не Калерия...

Ах, зачем с моих губ сорвалось это имя! Теперь я не могу выгнать его из памяти, и рядом с моей чистой белой девушкой неотступно стоит Калерия. Стоит и иронически спрашивает:

— Разве не лучше любить недолго, но сильно, без оглядок, как умею я?

— Уйди, Калерия, я не хочу о тебе думать.

— Чья любовь красивее: Маргариты или Кармен?

— Уйди, Калерия, я не хочу о тебе вспоминать.

— Не хочешь — и будешь! Помнишь грозу

в старом бору?

— Ну, так что же... Только красиво...

— И эту красоту ты понял только через меня.

— Неправда! Ложь!.. Оставь меня, ради Бога!

— Разве ты в Него веришь?

— Верю... Хочу верить...

— Хорошо молиться, но хорошо и грешить.

Со мной хорошо грешить, а с Зоей молиться. Неужели ты такой богомольный?

Я присел на скамье набережной и под звучные всплески набегающей волны мысленно разговаривал с Калерией, а когда поднимал голову и смотрел в темную сверкающую даль моря, то чьи-то черные глаза смотрели на меня из мрака ночи и чей-то голос задышающимся шопотом спрашивал:

— Хочешь, я расскажу тебе сказку?..

— Нет, нет...

Я испуганно встал со скамьи и пошел к дому. Гулко раздавались мои шаги во мраке ночи, и мне казалось, что кто-то еще идет следом за мной, торопится догнать меня. Я оглянулся, но никого не было. Дошел до дому и

остановился. Не хочется домой, в маленькую одинокую клетку. И не хочется спать. Словно кто-то властный толкает на улицу и заставляет ходить и искать что-то. Снова пошел бродить. Вернулся к «Гранд-Отелю», посмотрел в темные окна второго этажа.

— Спит... Как она может спать в такую волнующую ночь? Эх, ты, русалка!..

Посвистал, покрутил тростью и вздохнул:

— Спокойной ночи, Зоя Сергеевна!..

Грустно потихоньку запел: «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно» — и прошел дальше. Оборвавши песенку, обернулся к «Гранд-Отелю» и с насмешливой иронией произнес:

— Пррравильный образ жизни!..

Побывал в пустынном саду волшебницы Альцины. Забрался, где потемнее и погуще, уселся на скрытой навесом зелени скамье и притих: смотрел на нахальные звезды, которые не грустят, а подмигивают, как красивые кафешантанные певицы, послушал шорохи и шелесты в листве, напоминающие затаенный греховный шопот мужчины с женщиной. Сладко потянулся и подумал: «здесь так густа

стена листвы и крыша из ветвей, что можно прийти с Зоей и поласкаться... Завтра ночью мы непременно посидим на этом месте». Легкий скрип шагов по песчаной дорожке заставил меня насторожиться: должно-быть там, за моей спиной, проходит такая же глухая дорожка...

Тихий, осторожный разговор... Парочка... Уселись за моей спиной и притихли. И в шелесте вздрагивающих под горячим ветерком листочков прячется страстный шопот и плески поцелуев. Не понимаю, почему я так рассердился. Вскочил с лавочки и, уходя прочь, громко произнес:

— Однако!.. Это уж слишком...

Эхе, эхе... Пойдем-ка, Геннадий Николаевич, домой! Пришел в номер и стал решительно раздеваться. Сердито сдернул и метнул на диванчик свою новую пару, которую раньше хранил, швырнул в дальний угол башмаки, погасил огонь и растянулся. Ну, опять за стеной музыка: плачет грудной младенец. Недоволен чем-то маленький человек Божий, не унимается, хотя его усовещивают в два голоса, должно-быть мать и нянька. Ужасно знако-

мый голос!.. Какая чушь!.. Можно подумать, что это говорит Калерия... Ей-Богу! Смеется. Ну, ей-Богу, вылитая Калерия!.. Соскочил с постели и, как некогда в тюрьме, прижал ухо к холодной стене: прямо удивительно. Если бы я не знал, что Калерия в Ницце, я стал бы держать пари, что это она, Калерия... Смешно! Так и хочется постучать в стену и крикнуть:

— Здравствуй, Калерия!

Не могу спать. Положительно не могу. Тянет к себе эта проклятая стена. Знаю, что всё это встревоженное южной ночью, бесстыдными звездами и чьими-то неосторожными поцелуями в саду — воображение, а не могу спать... В моей одинокой комнатке невидимо воцарилась Калерия и не хочет уходить. Странно! Но ведь я люблю Зою, это не подлежит никакому сомнению? Да, да, конечно, Зою! Так почему же я... Ничего не понимаю. Ничего!.. Надо узнать, кто там, за стеной, эта женщина, голос которой так напоминает Калерию... Непременно надо узнать. Это прямо удивительно. Особенно смех. Только у одной Калерии был такой волнующий смех. А вдруг это — она, Калерия? Радостно и страшно,

больше страшно, чем радостно. Холодно что-то. Лихорадит. Поджал ноги, натянул на голову одеяло и застучал зубами. Что это, неужели нагулял лихорадку? Не буду шляться по ночам. Доктор велел поберечься. Схватишь опять воспаление легких и умрешь. Не хочется умирать...

— Ну, Зоя... Прости меня за всё... Спокойной ночи! Я был сегодня, как ты говоришь, нехорошим. Завтра буду хорошим..

— О-оо-баю, баюшки, бай-баю, — глухо, точно под полом, слышится монотонный голос за стеной и убаюкивает меня, нехорошего... Вспоминается детство, голубая комнатка, «божий глазок» перед иконой, кровать с веревочным переплетом, мама, наклоняющаяся над кроватью... «Надо написать маме... непременно написать», шепчу под одеялом и снова начинаю дремать, прислушиваясь к монотонному баюканию за стеной...

XLII

Что-то отравило нашу радость любви. Ничего не случилось, всё осталось попрежнему,

но что-то молчаливое, тайное встало между нашей близостью. А может-быть это мне кажется только. Не знаю, не понимаю. Раньше не опускались в землю глаза мои, когда Зоя пристально смотрела мне в лицо, и не было тягостным наше молчание. Что случилось? Что-то знает Зоя и что-то скрывает от меня, или стесняется заговорить... Смотрит часто куда-то далеко, мимо меня, задумывается, а иногда говорит так, словно хочет занять меня разговорами. Иногда украдкой взглядывает на меня и быстро опускает взор. Что-то есть у нее на душе. Ну, а я? Почему я чувствую себя в чем-то виноватым перед Зоей?.. Разве я виноват, что по ночам думаю о Калерии? Можно подумать, что она знает об этом, что оба мы знаем об этом и молчим. Да, да, она это чувствует и от этого же я чувствую себя виноватым перед ней. Опять черный дьявол встает между нами и омрачает нашу радость и искренность. Днем я думаю только о тебе, моя светлая девушка, а ночью, когда остаюсь одиноким и лежу с раскрытыми глазами в постели, черная ночь приносит на своих крыльях воспоминания о Калерии и гонит прочь свет-

лый образ в ореоле золотых волос...

— Почему ты сегодня молчалива и печальна, Зоя?

— Я... Нет, нет! О чем мне печалиться?.. Как всегда.

— О чем ты всё думаешь? Помолчала и сказала:

— Напиши матери: она беспокоится.

— Ты получила от нее письмо?

— Да. Она не знает твоего адреса и просит... поцеловать и побранить тебя за то, что не пишешь.

— Ну, а еще что она пишет? Ты с ней переписываешься?

— Еще...

Потупилась и смутилась.

— Она... Впрочем, это глупости!

— Скажи!

— Нет, нет... Пустяки.

— Я прошу тебя: скажи! В чем дело?..

Смутилась еще более, потупилась, загорелись щеки и уши, чертит на песке что-то зонтиком.

— Она велит побережь тебя от...

— Меня? Побережь! От чего?

— От кого, а не от чего...

— Не понимаю...

Показала на песок зонтиком. Я посмотрел и растерялся: на песке было написано зонтиком: «Калерия»... Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, но притворно расхохотался, и в этом смехе спрятал свой страх и смущение. Зоя помолчала, потом стерла концом зонта написанное на песке имя и, с оскорбленной ноткой в голосе, произнесла:

— Это она, та самая...

— Да, но... не понимаю, почему так беспокоится мама.

— Она... эта женщина будет здесь... а быть может уже здесь....

— Это мне неприятно.

— Боишься?

— Нет, но согласись, что такая встреча для меня...

— Разве она сделала тебе худо?

— Не станем, Зоя, говорить о ней... Я не хочу.

— А может-быть она любит тебя?.. Ты не думаешь?

— Мне всё равно. Надо уехать, куда-нибудь

уехать. Уедем из Ялты!

— Нет. Я хочу увидеть хотя один только раз эту женщину... Хотя издали!

— Зачем это тебе?

— Так. Не знаю... Хочется... Она очень красива?

Это была пытка. Меня бросало то в жар, то в холод. А Зоя совершенно оправилась от смущения, улыбнулась и продолжала терзать мою душу. Она снова чертила зонтом на песке имя своей соперницы и говорила:

— Красивое имя... Тебе оно нравится?

— Да, нравится, — сердито прошептал я и отвернулся в сторону.

— Лучше, если бы меня звали Калерией...

Я молчал, а она еще что-то говорила, и голос ее ровно вибрировал. Было радостное солнечное утро. Мы сидели в саду волшебницы Альцины, на той самой скамье, где я сидел на-днях ночью в одиночестве и услышал чьи-то поцелуи за спиной. Сюда я привел Зою, надеясь посидеть с ней в укромном уголке и, как прежде, молчаливо поласкаться взорами и нечаянными прикосновениями. А вместо этого мы сидим и боимся не только коснуть-

ся, но даже смотреть в глаза друг другу. Звонкие голоса детей доносятся до нас с песчаной площадки, веселые такие голоса-колокольчики, и от этой детской беспечной радости еще сильнее чувствуется горечь, обида и тоска. Словно порвалось что-то между нами, струна какая-то, и грустно звенит в веселом хоре детских голосов и смеха. Тяжелое напряженное молчание, и нет ему конца и нет выхода. Скрип попискивающей колесами детской колясочки, которую медленно катила мимо нас разряженная кормилица, вывел нас из тоскливого упорного молчания. Зоя вздохнула, подняла голову и сказала:

— Какая прелесть! Посмотри: словно живая кукла!..

Она встала и подошла к колясочке, в которой возлежал на шелковых подушках, как султан в гареме, ребенок в красной феске, с черными глазенками и с гуттаперчевой соской в губах. Он возлежал очень важно, смотрел строго, и соска в его губах напоминала сигару...

— Ах, какой уморительный!..

Кормилица почувствовала гордость и при-

остановилась. Зоя наклонилась над колясочкой и стала разговаривать с важным султаном. Я тоже подошел ближе и тоскливо улыбался. Султан схватил ручонкой золотую цепочку от часов, болтавшуюся на груди Зои, и начал оживленно разговаривать на турецком языке, норовя притянуть цепочку ко рту.

— Девочка?

— Мальчик, — обиженно ответила кормилица.

— А как зовут? — спросила Зоя.

— Геннадием...

— Геннадий!.. И он Геннадий!.. Твой тезка! Слышишь: его зовут Геннадием! — Зоя обрадовалась этой случайности, засмеялась и захотела во что бы то ни стало поцеловать важного султана с сигарой во рту.

— У нас, барышня, мама не любят, когда целуют ребенка... Не велят.

— Почему?.. А мне так хочется поцеловать тебя... Ну, отдай мою цепочку! Вот какой! Не отдает... Геня, отдай же мою цепочку! Генек!

Кормилица стала отнимать у ребенка цепочку, и султан вдруг горько расплакался и выронил изо рта сигару.

— Почему он плачет?.. — неожиданно прозвучал женский голос и заскрипел песок на невидимой дорожке, за нашими спинами.

Как от сильного электрического удара, я весь содрогнулся от этого неожиданного голоса, и в тумане блеснула мысль бежать куда-то... Но было поздно: появилась из зелени стройная, тонкая, нарядная женщина, которая, к моему ужасу, оказалась действительно Калерией...

— Вот и мамочка наша...

— Геня!

— Здравствуйте!

Калерия рванулась было ко мне, но сразу остановилась, протянула руку и весело расхохоталась...

— Вот приятная неожиданность!.. А это... это твоя невеста? Да?

— Да.

— Познакомь же нас! Какой ты... недогадливый...

И, не дожидаясь моей рекомендации, Калерия протянула руку Зое и назвала свое имя и фамилию, а потом стала восторгаться моей невестой и хвалить мой вкус, говорить ком-

плименты Зое...

— Геня!.. Вы простите, что я так называю вашего жениха: мы старые друзья. Геня! Почему ты такой?.. Ты не рад нашей встрече? Мы так давно не видались... Ты успел сделаться политическим преступником... Дай поглядеть! Я в первый раз вижу политического преступника... Сядем!.. Зоя... Зоя... а дальше?

— Сергеевна!

— Зоя Сергеевна... Я с вами знакома... И давно уже... По портрету...

— Я тоже о вас слыхала, — сказала Зоя, вычерчивая на песке зонтиком замысловатые фигуры.

— Дурное или хорошее?..

Зоя перебрасывалась словами с Калерией, а я потерял способность речи и растерянно улыбался, не желая улыбаться, и стоял около Калерии, не желая стоять, и смотрел на нее, не желая смотреть. Оживленная, порывистая, говорливая, находчивая и хитрая, она так рада за наше счастье и так завидует нам обоим, потому что мы такие юные, чистые и так подходим друг к другу. «Словно созданы Богом

один для другого!..» Зоя с каким-то изумлением смотрит на Калерию, качает головой, благодарит, изредка на ее губах скользит неопределенная улыбка, какой я раньше не замечал на ее лице, хвалит ее ребенка.

— А вы уже успели с ним познакомиться!.. Знаешь, Геня, я назвала его Геннадием... В твою честь... Доволен?..

Я кивнул головой, встретился глазами с Калерией и почувствовал, как загорелись стыдом мои щеки и как мутится мое сознание...

— Посмотри, похож он... на меня?

— У него ваши глаза, — сказала Зоя.

— Да, твои глаза, Калерия... Владимировна...

— А невеста разрешает нам попрежнему говорить на «ты»?

— Да, да, конечно!.. Мне всё равно.

— Ах, какая вы милая!.. Так бы и расцеловала вас. Я уже влюбилась, Геня, в твою невесту!.. Что ты молчишь? Можно подумать, что политические преступники очень горды...

— Преступники не бывают разговорчивы, — произнес я через силу и не узнал своего

голоса: глухой, сухой, не мой голос.

— Ну, мы с Зоей Сергеевной развеселим тебя.

— Я не умею, — вздохнув, тихо сказала Зоя, встала, нагнулась к султану и стала с ним разговаривать.

— Вот его я поцеловала бы!..

— Вы?.. Что же... вам можно...

— А я им не дозволила... Не знала, кто они...

Калерия вытащила из колясочки султана, поправила на нем феску, прижала его пухленькую щеку к губам и потом протянула к Зое:

— Так и быть, целуйте!..

Зоя поцеловала султана и прошептала: «какая прелесть!», а Калерия протянула руки с султаном ко мне и, подражая детскому лепету, попросила:

— Поцелуйте уж и вы нас!.. Ну же, целуй скорее!..

Я повиновался. И когда я склонялся над ребенком и моя голова была близка к лицу Калерии, она прошептала:

— От него пахнет травой и земляникой...

...Не помню, как мы расстались с Калерией, и как ушли из сада, из проклятого сада злой красивой волшебницы Альцины... И не помню, о чем мы говорили с Зоей, когда я провожал ее до «Гранд-Отеля». Может быть, мы не говорили вовсе... Не знаю, ничего не знаю...

XLIII

Надо уехать, скорее уехать. Куда? Не знаю, но скорее, как можно скорее! Я боюсь вас обеих. Не знаю, которую больше. Я боюсь грустных, синих, как небо, глаз и боюсь черных, как эти южные ночи, и бесстыжих, как эти звезды, глаз. В одних — муки моей совести и печаль по светлой радости, в других — мой черный, омут, который ужасает и притягивает к себе всё сильнее и сильнее. Я хотел бы упасть пред тобою на колени, Зоя, и, рыдая, умолять тебя: приди и спаси! Скажи мне: «Милый, уедем, скорее, сейчас же уедем отсюда!..»

И я ни секунды не колебался бы, ни одной секунды. Клянусь тебе в этом! Я сказал бы те-

бе:

— Светлый ангел моей жизни! Ты еще раз спас меня от... да, может быть, от смерти! Я не знаю, что будет дальше...

Но ты не придешь, и напрасно я вздрагиваю всякий раз, когда слышу легкие шаги по коридору, и бегу к двери, чтобы отпереть ее тебе, только тебе! Уже трижды стучала ко мне в дверь Калерия, и я ей не отпер. Ты уже знала от меня всю правду о том, что было между мной и этой женщиной. Знала и простила. А теперь, когда я сказал тебе еще новое, о чем и сам я узнал только здесь, ты замолчала и не хочешь, хотя на клочке бумаги, сказать мне: «прощай»... Я пошел бы к тебе и вымолил бы у тебя прощение, но я боюсь смотреть в твои чистые опечаленные глаза. Неужели же всё-всё разлетелось вдребезги и ничего не осталось для меня в твоём сердце?!.. Явился на свет новый маленький-маленький человек, с гуттаперчевой соской во рту, и, не умея говорить, сказал нам: «вы не можете любить друг друга»... Ты лжешь, Калерия: я не верю, что этот маленький человек — наш с тобой и что он... что от него пахнет тра-

вой и земляникой старого бора. Как узнать правду? Не узнаешь, никогда не узнаешь!.. Скажи мне правду, черное красивое животное, иначе я...

Плачет за стеной маленький человек, и его глухой плач наполняет всю мою душу и всё тело и страхом, и какой-то незнакомой странной радостью, и глупой гордостью, и тревожным беспокойством. Припав к стене, я слушаю, слушаю, слушаю и всё спрашиваю кого-то шопотом:

— Неужели это — мой сын? Неужели это — наш сын?..

О чем он плачет, кормилица, мой сын? Не надо, чтобы он плакал. И почему около него нет матери? Мать? Разве это мать? Она живет в отдельном номере и только заходит посмотреть на ребенка. Где ты, мать? Или не слышишь, как плачет рожденный тобою маленький человек? Быть может, ты не вернулась еще с твоих верховых прогулок с каким-нибудь потерявшим голову болваном, которому, как и мне, суждено сделаться папенькой... У-у, красивое животное, тебя можно убить и не раскаиваться... Как я тебя ненавижу и как

презираю!.. Уж, конечно, никто другой, как ты с своим новым любовником, не давали мне спать в первый день приезда, играя в любовь и ревность под самыми дверями моей комнаты... С кем ты теперь... Если я увижу, что ты и здесь продолжаешь свои романы без конца и без начала, я тебе... я не мальчик, которого можно не стесняться. Берегись, Калерия!..

Всё плачет. Не могу слушать равнодушно, словно кто-то дергает за душу. А кормилица бранится. Она, пожалуй, еще и поколотит маленького беспомощного человека. Ведь он никому не пожалуется... Только посмей! Посмотреть бы, что там делается, да боюсь натолкнуться на Калерию.

Тихо отомкнул замок двери, прислушался, выглянул в коридор... Никого. Вышел на цыпочках и, оглядываясь, как вор, приблизился к соседней двери. Щелка, виден свет.

— У, ты... Нет на тебя угомону... Спи, а не то... вот тебе!..

Не вытерпел, раскрыл дверь, дрожу от негодования.

— Как вы смеете колотить ребенка! Как вы

смеете!..

— Что ты, я ведь так, потихоньку, в шутку, постращать...

— А где мать?

— Они уехали на какую-то гору... На Петрову гору, что ли...

— С кем?

— С мужем, да еще с каким-то... Надо бы вот мне отлучиться ненадолго, а как от него уйдешь?..

— Идите, я посижу... А они сами в каком номере?

— Они вверху, у них свои апартаменты... Так я в одну минуту...

— Давай его мне на руки.

— А не уроните?

— Ну, вот еще!

Кормилица сунула ребенка и ушла. Я прижал щеку ребенка к своей и стал ходить по комнате, весь наполненный какой-то особенной к нему нежностью и умиленной ласковостью...

— Миленький султан!.. Не плачь же, Христа ради, мой черноглазенький, мой хорошенький! Дай поцелую...

Я ходил, покачиваясь корпусом, и целовал горяченькую мягкую щечку.

— Где у тебя болит, где, цыпленочек, болит? О-оо, баю, баю, деточку мою... О-оо, баю...

Султан притих, закрыл глазки и нахмурил лобик. Я ходил и не отрывал глаз от маленького человечка... Ай, какой хмурый и недовольный! Ужасно смешной и милый... Хотел бы не отрывать своих губ от твоей щечки, да боюсь, что разбужу, и ты снова будешь терзать мое сердце своим жалобным плачем... Боже мой, как я люблю тебя, беспомощный цыпленок! За что? Не знаю. Неужели ты — мой сын?.. Странно, невероятно, непонятно. Но мне хочется утащить тебя, детка, в свою комнату, тихонько положить на свою постель, запереть дверь и никому не отдавать тебя. Никому! Даже Калерии... Я весь ушел в созерцание спящего султана и в свои странные новые переживания и позабыл обо всем на свете. Вдруг раскрылась дверь, и на пороге появилась стройная фигура гибкой, одетой в амазонку женщины...

— Вот тебе раз! Новая кормилица!.. Трогательно... Какой ты милый...

— Не смейся: он только что успокоился...
Разбудишь...

Калерия швырнула на пол хлыст, подошла ко мне, нагнулась над султаном, потом подняла на меня лукавые глаза и, воспользовавшись моей беспомощностью — на руках спал ребенок, — поцеловала меня в щеку и прошептала:

— Это по старой памяти.

— Оставь. Я выроню ребенка... У тебя муж...

— А у тебя — невеста.

— А, барыня!.. Я на минутку вышла, а их попросила поняньчиться...

— Если ты будешь, милая, заниматься амурами с лакеем, я должна буду...

— Что вы, барыня, какие тут амуры!..

— Не забывай, что ты кормишь ребенка...

— Я это хорошо помню... Не забывала... Барин спрашивает ключ от вашего номера.

— Нечего ему там делать... Возьмите ребенка!

Я осторожно передал кормилице султана и направился к двери.

— Геннадий!..

— Что?

Калерия подошла к двери.

— Мне надо сказать тебе несколько слов. Почему ты не отпираешь мне двери, когда я прошу тебя?

Мы медленно шли по коридору и тихо говорили.

— Ты чего-то боишься... Я хочу сказать тебе, что глупо бояться и бегать от меня. Я ничего дурного тебе не сделала. А если ты воображаешь, что подвергаешься опасности с моей стороны, то ты, голубчик, ошибаешься.

— Я ничего не воображаю...

— Что было, то прошло... Ты позволишь?

— Войди.

Вошли в мою маленькую комнатку. Калерия посмотрелась в зеркало и сказала:

— Что прошло, то будет мило...

— А если... не прошло? Тогда как?

Калерия расхохоталась и укоризненно покачала головой.

— Вот тебе раз... Это говоришь ты, жених!..

— Да, я... Не смей хохотать!..

— Ого, как строго!.. Ты и с невестой так же строг?.. Или там...

— Брось шутки, Калерия...

Она под села ко мне на кровать, изобразила напуганную девочку и плаксиво пропищала:

— Не бу-уду...

Потом приблизила свое лицо к моему и, закрывая глаза, загадочно спросила:

— Помнишь?

— погоди... Я хочу говорить серьезно. Убери с моего плеча руку.

— К вашим услугам... Только это, должно быть, очень длинно и скучно.

Кто-то боязливо стукнул три раза в нашу дверь и робко произнес:

— Калерия! Ты здесь?

Калерия встряхнула головой, словно к ней приставала муха, шагнула к двери и раздраженно и насмешливо сказала в щелку двери:

— Здесь.

— Ты скоро?

— Не знаю.

— Мне тебя надо.

— А мне вас — нет.

И, спокойно прихлопнув дверь, звонко щелкнула замочной пружиной.

— Кто?

— Муж... Ну, говори, что хотел... это... серьезное...

— Но тебя ждет муж. Быть может, оставим до завтра.

— Нет, говори. Пусть ждет... Я могу заставить его ждать до завтра.

Тяжело было начать и не подвертывалось слов, нужных слов...

— Я хочу... Мне необходимо знать, правда или ты лжешь, что... ребенок мой...

— Не твой, а — наш...

— Ну, это всё равно... Ты понимаешь о чем я говорю.

— Ну, дальше!.. Уж не думаешь ли ты, что я должна подарить тебе этого ребенка?

Улыбается и показывает кончик языка. Я теряю нить мыслей...

— Об этом не заботься: женишься — тебе Зоя подарит...

— Ах, Калерия, у тебя нет ничего святого...

— Да, у меня всё — грешное... Что же, однако, тебе от меня надо? Предупреждаю, что ничего святого дать тебе не могу. Быть может, ты хочешь, чтобы мы не были даже знако-

мы?.. Быть может, это знакомство не нравится твоей невесте?.. Сделай одолжение!..

— Нет, не то... Не говори о невесте... Нет ее у меня...

— Что ты говоришь? Я не понимаю тебя, голубчик...

— Нет. Понимаешь: нет, нет!.. Ты пришла и... нет ее, нет!

— Я?

— Да, ты! и еще *он*... там, за стеной... наш ребенок!..

— Ты ей сказал про *него* и про наши отношения...

— Да, сказал.

— Ты не мог этого делать, ты не имел права называть ей мое имя!.. Ты мог признаться, в чем тебе угодно, но выдавать меня ты...

— Ты можешь говорить мужу, что ребенок от него, а я...

— Нет, это другое... Я, если найду это нужным, скажу ему, что ребенок не его, но я не скажу без твоего разрешения, что он — наш с тобой.

— Я тебе разрешаю!.. Мне всё равно... Ты его не любишь, мужа?

— Зачем тебе это знать?

Я запутывался в собственных мыслях, всё больше переставал понимать, о чем и зачем я хотел говорить с Калерией, и только чувствовал, как палят меня черные огни глаз, как смеются мне красные губы, и как дразнит меня порывистое дыхание скрытой легким покровом груди...

— Я один, Калерия... Один!.. Меня никто не любит... Никто... — прошептал я и уронил голову на ее колени.

Она положила мне на голову руку и стала нежно скользить по волосам. И мне хотелось забыть всё на свете и лежать так на ее теплых коленях долго-долго... всю жизнь! Что-то шептала она ласковое, успокаивающее, я не разбирал слов и не хотел их понимать, а только хотел слушать тихий, ласковый, вкрадчивый бархатный голос... Так уже было когда-то давно, в старом бору, когда я рыдал от невозможности взять ее всю, овладеть ее душой, слиться с ней в одну трепещущую душу...

— Разве ты разлюбил уже свою невесту?..

— Не знаю... Пропало прежнее... Она сама... Она сама... Я не знаю... Не спрашивай!

Вон опять плачет наш мальчик... Иди к нему!..

— Ты его любишь?

— Да. Должно быть, люблю... Если бы ты принесла его сюда и положила на мою постель!.. Я... Что же нам, Калерия, делать теперь?.. А ты всё такая же красивая!.. Как прежде... Зачем мы встретились?..

— Тук, тук, тук!..

— Кто там?

— Барыня!

— Ну!

— Барин просит наверх.

— Что ему надо?

— Они просят вас вместе с знакомым наверх... пить шампанское.

— Какой добрый!

— Муж? Да, очень... Чересчур...

— Ты уходишь, Калерия?.. Какие у тебя красивые руки!.. Когда же...

Калерия наклонилась к моему уху, повеяла горячим дыханием и, прошептав: «сегодня... не надо запирать двери», встряхнула головой и, щелкнув замком, вышла из комнаты. А я так и остался на месте, как сидел, с

опущенной головой и руками...

— Не знаю... кого из вас я люблю больше... Сам не знаю. О чем ты, родной мальчик, плачешь?.. Перестань, не терзай мне сердца!.. Я тебя люблю очень, очень люблю. Больше всех...

XLIV

...Медленно-медленно стучат в коридоре часы, а ночь бежит быстро... Время тянется так лениво, а ночь уходит. Уже белеет занавес окна... Скоро из моря выкатится солнце и разбудит птиц и людей. Скоро в коридоре начнут ходить заспанные лакеи... Каких-нибудь два часа — и растают под пурпуром зари все волшебные сказки страстной южной ночи. Не придет. Обманула... Приподнимаю голову, прислушиваюсь и тяжело вздыхаю; опять не нахожу места рукам и ногам; горит лицо от горячей подушки: поворачиваю ее с одной стороны на другую, то поднимаю выше, то спускаю... Всё неудобно голове. Хочется пить, пересохло во рту, душно от собственного дыхания... Не придет! Не стоит ждать. Быть может,

она даже забыла, что обещала сегодня ночью... Можно и днем выбрать часок, чтобы наедине переговорить обо всем. Ты, Калерия, пожалуйста, не думай, что мне важно, чтобы ты пришла сейчас, ночью... Но я должен знать, я потребую от тебя кончить всё сразу: теперь наша жизнь связана маленьким человеком. Мы не собаки. Я хочу, чтобы ты, Калерия, окончательно порвала с мужем, чтобы ты сказала ему, что ребенок, которого муж считает вашим, — не ваш, а наш, чтобы ты, Калерия, оставила всякие похождения и была моей женой, женой и матерью нашего ребенка. Я не могу мириться с мыслью, что ты, мать нашего ребенка, будешь принадлежать еще кому-то... Всё, или ничего!..

— Нет, не придет... Ух, как жарко!.. Как странно бьют часы в коридоре... Словно я опять в тюрьме и слушаю в форточку, как бьют часы на городской башне... Три часа... Не придет...

— Кто там?

— Тсс!

Неслышно ступает по полу, держит палец у губ и крадется, как белая мохнатая сибир-

ская кошка. В легком, похожем на морскую пену, кружевном матинэ, в ярко-красном шелковом шафре на непослушных черных волнах волос, как ты прекрасна в сумерках перед рассветом!

— Ты похожа на волшебницу Альцину...

— Тсс! Вот так...

Она заперла замок двери, сбросила шарф и прошептала:

— Шла к маленькому Гене и зашла к большему... На полчаса, не больше.

— А я ждал, ждал, ждал...

— И теперь хочешь спать?

— Нет! Сядь сюда, ближе! Я хочу посмотреть в твои глаза и спросить тебя...

Скользнула и стала ласкаться, как прежде.

— погоди!.. Скажи мне: можешь ты быть моей, только моей? Уйти от мужа и...

— Почему я знаю...

— Пусти руки! Сперва ответь... Я хочу, чтобы не было никакой лжи...

— Сейчас я тебя люблю. Очень. Довольно?

— Нет. Я хочу, чтобы мы были только втроем и всегда вместе: ты, я и наш ребенок... Ах, какая ты!.. Зачем ты так смотришь в мои гла-

за?.. От тебя пахнет шампанским, Калерия...

— Генек... Милый!.. Помнишь грозу в избушке на курьих ножках?.. Помнишь траву, от которой пахло земляникой?..

— Калерия... Какая ты... ты как пьяная!.. У тебя пьяные глаза...

— Да... Они опьянели от воспоминаний..

.....

Заря пламенеет на небе. Потухли звезды. В раскрытое окно тянет прохладный и мокрый соленый ветерок. Слышно, как вздыхает море, взметывая зеленую волну к розовым огням восходящего солнца...

Я прилег на подоконник, опустил голову на руки и дремлю под шум морского прибора. А за стеной слышится голос Калерии, разговаривающей с проснувшимся султаном...

— Султан, милый маленький мой султан! Ты — мой... Ты этого не знаешь, что ты наш... Когда-нибудь ты... Завтра всё решится... Смотри, султан, когда я осенью буду сидеть в тюрьме, приходи чаще ко мне на свидание! С твоей мамой, вместе с мамой! А то я умру с тоски... Завтра я заставлю тебя, Калерия, сделать решительный шаг... Всё или ничего!.. Я не от-

кажусь от дуэли, если это понадобится. Пан или пропал.

Уже поют в садах птицы... Уже просыпаются на берегу люди...

XLV

«Милостивый государь, Павел Игнатьевич! Считаю долгом честного человека сказать вам, что я люблю вашу жену, Калерию Владимировну: насколько мне известно, она вас не любит и совершенно чужда вам. Сын, которого вы, милостивый государь, считаете своим, в действительности принадлежит нам с Калерией Владимировной, что она, конечно, подтвердит вам в глаза. Надеюсь на вашу порядочность, милостивый государь, предлагаю вам дать Калерии Владимировне развод. Я с своей стороны имею честь предложить вам, милостивый государь, удовлетворение, в какой вам захочется форме. Оружие безразлично и предоставляется вашему выбору. В том случае, если вы, не согласившись дать Калерии Владимировне развод, уклонитесь от дуэли, имею честь предупредить вас, что первая

же наша встреча разрешится кровью. Ваш слуга Геннадий Тарханов. P. S. Живу в тех же номерах, где пребываете и вы. Неполучение ответа в течение трех суток сочту за отрицательный ответ на все мои предложения, после чего предоставляю себе полную свободу действий».

Да, хорошо. Другого исхода нет. Всё, что я пишу этому толстому Павлу Игнатьевичу, для него не будет новостью: он знает и сам видит, что всё это — правда, печальная для него правда. Он, как страус в минуту опасности, прячет под крыло неведения свои оловянные глаза, пьет с нами шампанское и мирится с тем, что Калерия почти каждый день возвращается на рассвете. Но если ты миришься с этой дьявольской ложью, так знай, что я не могу больше мириться! У меня нет больше сил. И я вытаскиваю твою глупую голову из-под крыла: вот тебе правда, от которой ты уже не отвертишься. Если любишь Калерию, — на, убей меня!.. А не любишь, так вон, к чорту!..

— Человек! Отнесите это письмо наверх в пятый номер и отдайте в руки барину.

— Слушаю-с.

— Лично ему, а не Калерии Владимировне...

— Понимаю-с...

Ну, теперь всё кончено. Как гора с плеч свалилась и перестала давить тело и душу.

— Уф, как я устал от этой лжи, от ежеминутной грязной лжи...

Я быстро ходил по комнате и гладил себя по голове. Наконец-то я восстановил пошатнувшееся самоуважение! Будем ждать. Через три дня всё выяснится. Ну-с, что же теперь делать?.. Лучше бы нам с ним пока не встречаться, а впрочем, какого чорта! Я вовсе не намерен прятаться... Посвистывая, не торопясь, я переоделся в новую пару, смело поглядел на себя в зеркало, захватил трость и отправился фланировать по набережной. Пропала пришибленность на душе, вернулось бодрое настроение, даже веселость какая-то вспыхивала и заставляла улыбаться встречным людям. Проходя мимо «Гранд-Отеля», захотел убедиться, что Зоя, уезжая из Крыма, не оставила мне никакой записки.

— Никак нет, никакой записки не оставля-

ли.

— А куда уехали?

— Не могу знать.

— В Ниццу, — подсказал чей-то голос из-под лестницы.

Ну, что ж, дай ей Бог счастья. Сама отвернулась. Насильно мил не будешь, говорят.

Влез на ялтинские горы, окинул бирюзовые морские равнины и почувствовал себя так, словно всё это: и горы, и безграничные морские равнины, и белеющие паруса судов на горизонтах, — всё-всё подвластно мне. Широко повел рукой и запел: «На воздушном океане, без руля и без ветрил»... На обратном пути забрел в сад. Здесь уже играла музыка. Пестрая толпа колыхалась на главных аллеях, такая нарядная, жизнерадостная толпа. Все рады и счастливы. А может-быть притворяются, что счастливы. Оркестр играл из «Кармен» мое любимое: «Любовь свободна», и я невольно подпевал игривой песенке и покачивал тростью. От этой песенки вспоминалась гибкая, красивая Калерия и хотелось простить ей все ее любовные прегрешения. Всё это — в прошлом; теперь она будет только

наша: моя и маленького султана. А ведь по натуре она прекрасная женщина, яркая, живая, жизнерадостная, умная. Всё пугает несоответствием наших возрастов. Чепуха какая! Мне двадцать-два скоро, а ей — двадцать-пять... Вспомнил, как заставил Калерию хохотать по этому поводу остроумным примером, не мной, впрочем, придуманным:

— Мужу двадцать, жене шестьдесят лет. Во сколько раз жена старше?

— Ну, в три раза.

— Пройдет двадцать лет, сколько будет той и другому?

— Мм... мужу — сорок, а жене — восемьдесят.

— Во сколько раз жена стала старше мужа?

— В два.

— Вот видишь: сперва была старше в три, а потом стала только в два раза, и чем дальше, тем жена будет моложе...

— Постой, постой!.. Как же так?..

И Калерия хохотала до слез и всё не могла понять, как же это выходит, что жена молодеет с годами.

Оркестр заиграл «Тореадора», и я вспомнил, что возможна дуэль между мной и мужем Калерии. Ну, что ж, умирать, так умирать, по крайней мере, так или иначе, а наступит конец всей этой комедии...

— То-реадор, смеле-ей-е, тореадор, тореадор!.. Помни, что в час...

Пробыл в саду до поздней ночи, ушел последним, и когда возвращался в номера, то сильно билось сердце: быть может, там, на моем столе, уже лежит письмо, в котором решается наша судьба. Письма не оказалось. Вспомнил, что голоден, и стал шарить по углам, отыскивая хотя бы ломтик хлеба. Ничего не нашел. Пососал апельсинную корку. Находился, устал, но по-прежнему, ложась спать, не запер двери: наверно, придет и расскажет о результатах моего письма, о своем объяснении с мужем... Лег, но долго не мог отдаться сну: всё чудилось, что отворяется осторожно дверь и кто-то шепчет: «Тсс!»...

А потом утомился ждать и не помню, как заснул... Снилось, что дуэль состоялась и была очень похожа на дуэль из лермонтовского «Героя нашего времени»: поединок происхо-

дил на «Ай-Петри», я был ранен и стремглав полетел с «Ай-Петри» в пропасть, но только не разбился насмерть; надо мной склонялась золотоволосая Зоя и шептала:

— Ты не умер... Сейчас я подниму тебя с камней и мы улетим далеко-далеко, за синее море, на край света, и там обвенчаемся...

Но из темной расщелины гор вышла Калерия, с султаном на руках, и, отстранив Зою, повелительно закричала:

— Не ты, а я буду с ним венчаться, потому что у нас есть ребенок!

Мне было жаль их обеих, и я терзался необходимостью выбрать одну из них. Но жалобно заплакал маленький султан и я сказал Зое:

— Прощай!.. Я не могу лететь с тобой на край света...

Когда я проснулся, моя подушка была мокра от слез и на душе было такое ощущение, словно я потерял что-то самое дорогое мне на свете. Должно быть, было уже поздно: на занавеси окна играло солнышко, а в номерах уже началась обычная жизнь: ходили, стучали дверями, разговаривали, суетились. Кто-то

приехал или уезжает, таскают вещи и кричат:

— Осторожней!

Долго лежал в постели и вспоминал вещей сон. Калерия рисовалась ярко, красочно, а образ Зои испугался пробуждения и улетел из сонной памяти: что-то похожее на ангела в золотисто-розовой дымке... Странный сон. Что-то предвещает он мне: смерть или... Испуганно вздрогнул: ведь если я не буду убит, так, значит, я — убью. Я убью человека? Непостижимо! За что? За то, что я люблю его жену, за то, что обманывал его и за то, что он считает моего сына своим. Хаос! Непонятно, странно, глупо, но неизбежно... Когда-то я сам называл дуэль варварством, а теперь... Поздно рассуждать: жребий брошен... Еще день, другой и — кончено... Ну, а что делать, если тот, толстый, с оловянными глазами, откажется от дуэли? Убить его?.. Хаос, из которого не вылезешь... Голова идет кругом. Есть еще выход — сказать Калерии:

— Или разорви с прошлым и иди со мной, или я должен покончить счеты с землей. Решай сама!..

Во всяком случае надо приготовить письмо матери. Измучил я бедную старушку. Знать, что, быть может, уже стоишь у своей раскрытой могилы, и не сказать матери несколько теплых слов — это жестоко...

— Человек! Дайте стакан кофе и конверт... три конверта...

Походил, подумал, отпил кофе и сел к столу.

«Дорогая мамочка, моя добрая бедная старушка! Быть может, нам уже не суждено более увидаться на этом свете... Прости, что я не писал тебе. Моя жизнь попала в такой тупик, из которого есть только один выход: быть убитым, или самому убить человека. Хочу сказать тебе, милая мамочка, всю правду. Я люблю Калерию, хотя знаю, что она — скверная. Не могу, мамочка, не любить и не могу разлюбить. Видно, такая уж судьба. У нас есть ребенок, которого зовут тоже Геней. Может быть, от этого меня и тянет к ней какая-то непонятная сила. Но любить и лгать, обманывать мужа и быть тайным любовником я не могу и не хочу. И пришлось, родная, предоставить судьбе развязать этот узел: дуэль поло-

жит конец невыносимому положению, в котором мы очутились все. Быть может, мамуся, я живу последний день, и мне хочется сказать тебе: прости меня, родная, прости за всё горе, которое я принес тебе своими поступками! Помни, что в последнюю минуту жизни я буду глубоко страдать от того, что уйду из жизни, не поцеловавши тебя крепко и не зная, что ты простила. Ты добрая, простишь. Я не виноват. Должно быть, такая уж моя судьба. Скажу еще тебе, что если я буду убит, то хотел бы лечь в родную землю: увези меня, родная, домой! Есть в старом бору лесная сторожка на высоком берегу озера — наш Степан знает! — вот там ты и схорони меня. Это место было мне дорого по воспоминаниям. Ну, благослови и прости! Твой сын Геннадий. P. S. Мое ружье и Джальму подари на память старику-леснику, с которым мы часто охотились на озере».

Было тяжело писать это письмо, спазмы сдавливали горло и слезы прыгали на бумагу. И было жаль себя словно я уже умер. Вставал в памяти старый шумящий бор, склон над оврагом и одинокий крест на моей могиле.

Заклеил письмо и написал на конверте: «В случае моей смерти переслать моей матери» и указал подробный адрес. Потом допил кофе и заходил по комнате, грустно насвистывая арию Ленского «Что день грядущий мне готовит»... Вспомнил Зою и захотелось ей тоже сказать что-то на прощание. Написал: «Уходя из жизни, посылаю тебе, чистая, святая девушка, свой последний привет. Благодарю тебя за те лучшие часы в жизни, которые ты подарила мне своей любовью. Быть может, я люблю тебя, только тебя, но что-то ворвалось в мою жизнь темное, непобедимое и разбило наше счастье. Прости меня! В эти последние часы жизни твой светлый образ стоит в моих глазах. Прощай! Геннадий Тарханов». Потом написал студенту Касьянову: «Прощай, брат Касьянов! Не поминай лихом и не сдавайся жизни, как сделал я. Геннадий Тарханов». Всё приготовил сложил всё письма в кучу, завернул в одну пачку, перевязал веревочкой и сделал надпись: «Вскрыть после моей смерти».

Всё! Теперь всё... Тоскливо и так одиноко. Словно один на всем белом свете. Хочется по-

говорить с кем-то ласково-ласково, кому-то хочется сказать, что я — обречен на смерть, а жить так хочется, безумно хочется... Скорее вон из этой одинокой комнаты, где уже веет холодом смерти! Туда, к людям, на солнце, к морю!.. С какой-то непонятной торопливостью, словно у меня было спешное, неотложное дело, оделся и выскочил на улицу. Ярким светом, шумом моря, его влажным дыханием и звонкими голосами жизни всколыхнуло всю душу и пересталось верить в неизбежность смерти, даже вообще в смерть... Жизнь, жизнь, как ты прекрасна и как я люблю тебя! Здравствуй, солнце! Здравствуй, море!.. Я жив, жив, жив... Увидел детишек с нянькой и вспомнил султана. Смешной! Миленький!.. Наверно, он преважно разъезжает себе теперь в коляске, с сигарою в зубах... или роется в песке. Надо посмотреть: пойду в сад.

Как птицы, кричат в саду дети. Как цветы, пестрые, красочные, качают головками на песке. А султана нет, моего султана нет... Обошел все дорожки и закоулки — нет султана. А так захотелось вдруг посмотреть на маленького человечка и подумать: «ты — мой сын».

Сидел, ходил и всё надеялся, что султан появится... Захотелось есть: сел на террасе клуба и заказал себе завтрак; ел, а сам всё поглядывал на аллею, идущую от входа. Нет!.. Стал беспокоиться, торопиться. Что-то случилось там, иначе султан был бы здесь. Словно кто-то тайно звал домой. Бросил завтрак и быстро направился к дому. Прошел по коридору — тихо. Подошел к номеру султана — тихо. Оглянулся — никто не увидит: приоткрыл дверь и заглянул в номер... Пусто!..

— Человек! Соседний номер свободен?

— Так точно.

— А куда же... тут была женщина с ребенком...

— Уехали.

— Когда?

— Сегодня утром. Все. И барин с барыней.

— Куда?

— За границу...

— Мне *должно* быть письмо от... барыни.

— Не знаю... Мне не передавали...

— Вы что-нибудь напутали... Я спрашиваю про Калерию Владимировну!..

— Ну вот, я про них и говорю... Как я понял

из разговора между ними, они поехали в Ниццу-с...

— Куда?

— Ницца... Город такой...

— В Ниццу... В Ниццу... Да... Это странно.

Я вбежал в свой номер и начал рвать в клочки все письма, над которыми только что плакал. Рвал и хохотал, громко хохотал и плакал. А потом сел к столу и написал: «В Ниццу, до востребования».

«Шлю тебе, подлое красивое животное, вдогонку всю ненависть и презрение, которыми ты отравила мою душу»...

...Надо уехать, надо как можно скорее уехать. Мамочка! надо как можно скорее уехать... Родная моя, спаси меня!..